КНИГА В СПИСКАХ "100 ВЕЛИКИХ РОМАНОВ" (THE ATLANTIC),
"100 ЛУЧШИХ КНИГ XXI ВЕКА" (NEW YORK TIMES BOOK REVIEW)



ПЕРСИВАЛЬ ЭВЕРЕТТ

СТИРАНИЕ

РОМАН

CORPUS



18+

ФИЛЬМ
"АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО",
СНЯТЫЙ ПО ЭТОМУ РОМАНУ,
ПОЛУЧИЛ В 2024 ГОДУ
ПРЕМИИ "ОСКАР" И BAFTA

Стирание
Персиваль Эверетт

Аннотация
Персиваль Эверетт. Стирание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Критики обращали некоторое внимание на романы Телониуса Эллиота, но писательская карьера застопорилась. Его последний роман отвергли 17 издательств, ему никак не пробиться в высшие эшелоны писательского сообщества. И он с раздражением и обидой наблюдает за тем, как роман о жизни афроамериканцев, написанный женщиной, которая однажды посетила на пару деньков родственников в Гарлеме, становится бестселлером. Эллиот как бы в отместку пишет свой роман о гетто, который и публиковать-то не собирается, однако издательство его покупает, и эта книга становится супербестселлером. “Стирание” легло в основу сюжета фильма “Американское чтиво”, получившего

в 2024 году премии “Оскар” и BAFTA.

Содержит нецензурную лексику

Персиваль Эверетт
Стирание

Russian translation rights arranged with Melanie Jackson Agency, LLC through AJA Anna Jarota Agency

© Percival Everett, 2001

© В. Арканов, перевод на русский язык, 2026

© Michael Avedon, фото на обложке

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2026

© ООО “Издательство АСТ”, 2026

Издательство CORPUS ®

* * *

Еще не было случая, чтобы кто-нибудь усомнился в правдивости моих выдумок, но моим правдивым рассказам почему-то никто не верит.

Марк Твен “По Экватору”

1

Мой дневник не для чужих глаз, но поскольку точный час моей смерти мне неизвестен, а к самоубийству я, к счастью или к несчастью, не склонен, боюсь, что рано или поздно записи эти прочтут. Впрочем, мертвому мне будет уже все равно, кто их прочтет и когда. Меня зовут Телониус Эллисон. Я литератор. Представляюсь так не без некоторого смущения, но исключительно из сочувствия к тем, кому выпадет найти и прочесть эти мои излияния: сам я терпеть не могу истории, в которых главный герой — писатель. Поэтому рискну утверждать, что сочинительством дело не ограничивается, и с тем же (если не с большим) правом в дополнение к литератору я мог бы назвать себя сыном, братом, рыбаком, любителем живописи и плотником. Последнюю огрубляющую руки профессию включаю сюда исключительно из-за матери: она так стыдилась моих мозолей, что годами называла мой неказистый пикап не иначе как универсалом. По паспорту я Телониус Эллисон. Но все зовут меня Монк.

* * *

У меня темно-коричневая кожа, курчавые волосы, широкий нос, некоторые из моих предков были рабами, а в Нью-Хэмпшире, Аризоне и Джорджии меня не раз задерживали белые, как смерть, полицейские — словом, общество, в котором я живу, считает меня черным; такова моя раса. При сравнительно неплохих физических данных баскетболист из меня никакой. Слушаю Малера, Аретту Франклин, Чарли Паркера и Рая Кудера на виниловых пластинках и компакт-дисках. Окончил с отличием Гарвардский университет, не испытывая к нему ничего, кроме отвращения. Люблю математику. Не умею танцевать. Не вырос ни в гетто, ни на плантациях Юга. У родителей был небольшой летний дом в Аннаполисе. Дед работал врачом. Отец тоже. Брат и сестра — врачи.

В студенческие годы я вступил в партию “Черных пантер”, от которой к тому времени осталось одно название; вступил, стремясь доказать, что я до мозга костей *черный*. Среди тех, кого общество, в котором я живу, называет черными, есть люди, считающие меня недостаточно *черным*. Некоторые из тех, кого общество называет бе-

лыми, тоже так думают. Я это слышал главным образом в адрес своих романов от издателей, отказавших мне в публикации, и от рецензентов, которых я, очевидно, сбиваю с толку. А еще пару раз на баскетбольной площадке, когда после неудачного броска цедил сквозь зубы: “О, боги!” Из рецензии:

В этом мастерски выстроенном романе герои прописаны выпукло, язык сочен, знакомый сюжет приобретает новое звучание, но остается загадкой, какое отношение эта переработка эсхиловских “Персов” имеет к афроамериканской истории и культуре.

Как-то вечером на одной из тех утомительных нью-йоркских тусовок, где люди, которые уже что-нибудь написали, оказываются в одной компании с теми, кто еще только жаждет что-нибудь написать, и теми, кто может помочь и первым, и вторым начать или продолжить писать, длинный и тощий литературный агент с малосимпатичным лицом сказал, что я мог бы стать неплохо продаваемым автором, если бы вместо переложений Еврипида и пародий на французских постструктуралистов писал настоящие истории из жизни черных во всей их

неприглядной простоте. Я ответил, что жизнь *черных* — это моя жизнь, и она чернее самых черных его фантазий, и что я этой жизнью жил, живу и буду жить. Агент тут же потерял ко мне интерес и переключился на подающую надежды писательницу-перформансистку, которая недавно простояла семнадцать часов подряд в образе садовой статуэтки жокея-негритенка у ворот губернаторской резиденции. Он фамильярно поправил одну из ее накладных афрокосичек и не оборачиваясь, через плечо ткнул в мою сторону оттопыренным большим пальцем.

Горькая правда *во всей ее неприглядной простоте* заключается в том, что я практически никогда не думаю о своей расе. В прошлом думал довольно много, но только чтобы избавиться от чувства вины за то, что недостаточно о ней думаю. Я не делю людей по цвету кожи. А другие делят, и поэтому меня могут застрелить, повесить, обмануть или попытаться остановить уже за одно темно-коричневое лицо, за курчавые волосы, за широкий нос и за то, что мои предки были рабами. С этим ничего не поделаешь.

* * *

Пилы режут древесину. Распускают вдоль волокон или вгрызаются поперек. Пила для продольного распила скользит по волокнам легко и ровно, но, стоит пустить ее поперек, начинает заедать. Все дело в геометрии зубьев — в их форме, размере, частоте и в том, под каким углом они отведены от полотна. У поперечных пил зубья, как правило, мельче, чем у продольных. Крупные зубья продольных пил быстро срезают стружку, а глубокие зазоры между зубьями позволяют этой стружке свободно выпадать, не давая пиле застрять. Зубья поперечной пилы скошены назад, заточены под углом и делают пропил шире. Такие зубья аккуратно надрезают волокна и свободно скользят, даже углубившись в пропил.

* * *

Я приехал в Вашингтон выступить с докладом, к которому относился весьма прохладно, на кон-

ференции членов общества *“Nouveau Roman”*[1]. Приехал не потому, что ассоциировал себя с этой организацией, или ее членами, или ее целями и задачами, а из-за матери и сестры. Они по-прежнему жили в Вашингтоне, и я их уже три года не навещал.

Мать хотела встретить меня в аэропорту, но я сказал, что не помню номера рейса. Где остановлюсь, тоже не стал уточнять. Сестра встретить не предложила. Неприязни ко мне Лиза, скорее всего, не испытывала, но довольно рано стало понятно (и это с годами не изменилось), что ей в общем-то все равно, есть у нее младший брат или нет. Я ей казался слишком беспечным, вечно погруженным в абстракции, оторванным от *реальной* жизни. Взять хотя бы учебу: по ее версии выходило, что она сумела закончить медицинский только благодаря усидчивости и упорству, в то время как я за четыре года в колледже не открыл ни одной книги и при этом выпустился с отличием. Бред, конечно, но поди переубеди. Или возьмем работу: она рисковала жизнью, еже-

---

[1] Примечания: 1

“Новый роман”, или “антироман” — название литературного направления постмодерна во французской прозе, сложившегося в середине XX века и противопоставившего свои произведения социально-критическому, с разветвленным сюжетом и множеством персонажей, роману бальзаковского типа.

дневно пробиваясь сквозь толпу протестующих ради того, чтобы женщины из бедных районов, которые хотели прервать беременность, имели возможность сделать это в клинике под контролем врача, в то время как я беззаботно удил рыбу, строгал доски, сочинял сложные для понимания романы и вел семинар по русскому формализму для горстки высоколобых калифорнийских юнцов. Но если ко мне она была безразлична, то моего старшего брата, ставшего преуспевающим пластическим хирургом в Скоттсдейле (штат Аризона), откровенно презирала. У Билла была семья — жена и двое детей, хотя все мы знали, что он гей. Лиза презирала его не потому, что он жил двойной жизнью, а потому, что занимался медициной исключительно ради денег.

Иногда мне казалось, что брат с сестрой все-таки гордятся тем, что я стал писателем, хоть и не в состоянии продраться сквозь мои книги, считают их скучными и заумными. Лет сто назад, когда родители очередной раз расхваливали меня перед своими друзьями, брат заметил: “Если бы ты им подсунул дерьмо на палочке вместо эскимо, они бы все равно восхищались”. Я и сам это понимал, но все равно обиделся. Потом он добавил: “Ну и пусть гордятся, имеют право”. Подразумевая,

конечно, что право у них есть, а вот повода нет. Видимо, тогда мне это не было безразлично, потому что я долго на него злился. Теперь я и к Биллу, и к тому его замечанию относился иначе, хотя мы уже четыре года не виделись.

Конференция проходила в отеле “Мэйфлауэр”, но поскольку я не большой любитель такого рода мероприятий и предпочитаю как можно меньше сталкиваться с их участниками, я снял номер с включенным завтраком в небольшой уютной гостинице “Таббард инн” неподалеку от Дюпон-серкл. Больше всего в этом добропорядочном заведении меня привлекло то, что в номере не было телефона. Я заселился, распаковал вещи и принял душ. Потом спустился в лобби, где телефон был, и позвонил сестре в клинику.

— Приехал-таки, — сказала Лиза.

Я с трудом удержался, чтобы не заметить, насколько приятнее было бы услышать “Вот ты и приехал”, и просто сказал:

— Ага.

— Матери уже позвонил?

— Нет. Она ведь сейчас, наверное, дремлет после обеда.

Лиза что-то буркнула, соглашаясь.

— Так что, заскочу за тобой, захватим старушку

и пойдем ужинать?

— Давай. Я в “Таббард инн”.

— Знаю. Буду там через час.

Она так стремительно повесила трубку, что я даже не успел сказать ни “Пока”, ни “До встречи”, ни “Да пошла ты, сам доберусь”. Впрочем, Лизу я бы все равно не послал. Очень ее уважал и во многом хотел быть на нее похожим. Свою жизнь она посвятила помощи людям, хотя, по-моему, особой любви к человечеству не питала. Идею служения она унаследовала от отца, который продолжал лечить половину пациентов бесплатно даже после того, как открыл частную практику.

Похороны отца стали настоящим событием для всего северо-западного Вашингтона, но при этом запомнились какой-то простотой и естественностью. Улица перед Епископальной церковью, которую родители никогда не посещали, была запружена народом: у всех слезы на глазах, все уверяли, что в свое время сам великий доктор Эллисон принял их в этот мир из материнской утробы, хотя многие были еще совсем молоды и, без сомнения, родились уже после того, как отец перестал практиковать. Я и по сей день не могу до конца осмыслить это зрелище или хотя бы найти ему внятное объяснение.

* * *

Ровно через час приехала Лиза. Мы как всегда неловко обнялись и вышли на улицу. Я сел в ее роскошное авто, утонув в кожаном кресле, и сказал:

— Впечатляет.

— Подкалываешь? — спросила она.

— И в мыслях нет, — сказал я. — Удобно, мягко, куча примочек, на ходу не разваливается, не то что моя.

Лиза повернула ключ зажигания.

— Надеюсь, ты внутренне подготовился.

Я посмотрел на нее. Проследил, как она переводит рычаг автоматической коробки передач в режим “драйв”.

— Мать не всегда ведет себя адекватно, — сказала Лиза.

— По телефону не скажешь, — сказал я, понимая, что это глупо, но внутренне оправдываясь тем, что отодвигаю момент, когда мелкие жалобы сменятся объявлением о надвигающейся катастрофе.

— Ты всерьез думаешь, что можно что-то понять за пять минут вашего телефонного трепа? Когда вы в последний раз по-настоящему разго-

варивали?

Я-то считал, что мы все время разговариваем по-настоящему, но теперь понял, что ошибался.

— Она все забывает; забывает даже то, о чем ты ей минуту назад напомнил.

— Возраст.

— Я тебе об этом и говорю.

Лиза вдруг резко всей ладонью надавила на клаксон, затем опустила стекло.

— Чтоб ты сдох, полип аденоматозный! — завопила она водителю впереди из-за того, что ей не понравилось, как он остановился.

— Будь осторожней, — сказал я. — Мало ли, на кого нарвешься.

— В гробу я его видала, — сказала она. — Четыре месяца назад мать все счета оплатила дважды. Все до единого. Догадайся, кто теперь чеки выписывает?

Лиза повернулась ко мне в ожидании ответа.

— Ты.

— Бинго! Ты в Калифорнии прохлаждаешься, Красавчик Флойд людей уродует в своем Пердидейле, все на мне.

— А Лоррейн?

— Лоррейн на месте. Куда она денется? Как всегда, подворовывает, где может. Думаешь, воз-

ражала, когда ей два раза зарплату заплатили? Сил моих больше нет.

— Прости, Лиза, это действительно несправедливо.

Я не знал, что еще сказать. Разве что предложить переехать в Вашингтон и жить с матерью.

— Мать даже не помнит, что я в разводе. Все помнит про Барри, все до последней мелочи. Кроме того, что он сбежал от меня со своей секретаршей. Увидишь. Первое, что она спросит, когда мы войдем: "Вы с Барри наконец забеременели?" Полный финиш!

— Может, я могу чем-то помочь по дому? — спросил я.

— Ага, щас! Починишь какую-нибудь батарею и уедешь, а мне потом дырку в голове сделают. "Монкси сделал так, чтобы дверь не скрипела. А ты почему ничего не умеешь? С твоим-то образованием". Не трогай ничего в доме, понял?

Хотя рука Лизы не потянулась к пачке "Мальборо", не выудила из нее сигарету и не поднесла ее ко рту, я понял, что Лиза мысленно проделала именно это. Она щелкнула воображаемой зажигалкой и выпустила клуб дыма. Потом снова повернулась ко мне.

— Ну, а ты-то как, братишечка?

— Да вроде нормально.

— По делам сюда?

— На конференцию общества *“Nouveau Roman”*. Выступаю с докладом.

Повисшую паузу я расценил как ожидание более развернутого ответа.

— Я работаю над романом (пожалуй, по жанру это все-таки роман), герой которого разбирает эссе Ролана Барта “S/Z”, пользуясь тем же методом, каким в “S/Z” Барт пользуется для анализа бальзаковского “Сарразина”[2].

Лиза что-то буркнула, слов я не разобрал, но позвуку вполне дружелюбное.

— Все-таки заумь, которую ты сочиняешь, я читать не могу.

— Извини.

— Тупая, наверное.

— Как у тебя на работе?

Лиза покачала головой.

— Ненавижу эту страну. Всех этих упырей, протестующих против абортов. Видел бы ты их рожи. Каждый день митингуют у входа в клинику со своими плакатами. Жуть. Слышал, наверное, что они устроили в Мэриленде.

---

[2] Примечания: 2

Выдержки из эссе Ролана Барта в следующей главе приводятся (иногда с незначительными изменениями) в переводе Г. Косикова и В. Мурата.

Я кивнул, потому что читал про снайпера, который застрелил медсестру через окно клиники.

Лиза нервно забарабанила по рулю указательными пальцами. Как всегда, сестра казалась мне намного более цельной, чем я сам, а ее проблемы — намного более значимыми, чем мои собственные. И не мог я ей предложить ни совета, ни решения, ни хотя бы сочувствия. Даже в машине, несмотря на невысокий рост и мягкие черты лица, она словно бы возвышалась надо мной.

— Знаешь, за что я тебя люблю, Монк? — вдруг сказала она после долгой паузы. — За то, что ты умный. Понимаешь такие вещи, которые мне никогда не понять, а тебе ради них даже напрягаться не надо. Такой ты у нас особенный. — Комплимент был сделан не без горечи. — Билл — мясник. Может, скальпель он и освоил, но хирургом от этого не стал. И единственное, к чему он стремится, это орудовать скальпелем и получать хорошие бабки. А ты… Тебе ведь никто не платит, чтобы ты думал про всякую хрень, а ты все равно про нее думаешь. — Лиза затушила воображаемую сигарету. — Написал бы хоть раз что-нибудь такое, что я бы смогла прочитать.

— Буду работать над этим.

* * *

Я всегда рыбачу на небольших водоемах — ручьях, протоках и малых реках. Но еще ни разу мне не удалось вернуться к машине засветло. Как бы рано ни вышел, обратно бреду уже в темноте. Заброшу в эту ямку, потом в ту, там перекат, здесь омут под подмытым берегом, дальше излучина с обратным течением, и каждое следующее место кажется заманчивее предыдущего, и так незаметно уходишь на многие километры. Когда понимаю, что день на исходе, разворачиваюсь и иду назад, забрасывая удочку в каждое лакомое местечко, и все они выглядят еще более многообещающими в новом ракурсе, и не дает покоя мысль о том, что на закате клев лучше.

* * *

Когда мы приехали в родительский дом на Ундервуд, мать только встала после дневного сна, но, как всегда, одета была так, будто собиралась на светский раут. Румяна она носила по старой моде, и они отчетливо выделялись на светло-коричневых щеках, что в ее возрасте выглядело даже мило. Мне показалось, что с прошлого раза

она еще уменьшилась в росте. Мать обняла меня чуть менее формально, чем сестра и сказала: “Мой маленький Монкси дома”.

Я слегка приподнял ее, оторвав от пола (ей это всегда нравилось), и поцеловал в щеку. Потом мать повернулась к Лизе, но та уже была наготове.

— Ну, что, Лиза, вы с Барри наконец забеременели?

— Барри забеременел, — сказала Лиза.

Лицо матери приняло озадаченное выражение. Лиза пояснила:

— Мы с Барри в разводе, мама. Этот идиот сбежал от меня с другой.

— Искренне тебе сочувствую, дорогая. — Мать похлопала Лизу по плечу. — В жизни всякое бывает, дружочек. Не переживай. Все образуется. Как говорил твой отец, “не так, так эдак”.

— Спасибо, мама.

— Мы приглашаем вас в ресторан, мадам, — сказал я. — Как вы на это смотрите?

— Это восхитительно, просто восхитительно. Мне только надо попудриться и взять сумочку.

Она ушла, а мы с Лизой остались в гостиной. Я подошел к каминной полке и осмотрел фотографии, которые там никогда не менялись.

* * *

Мой отец был значительно старше матери. В июне, когда заканчивался учебный год, мы все набивались в машину и ехали в Хайленд-Бич (штат Мэриленд), в наш летний дом на берегу залива, пустовавший зимой. Мы распахивали окна, выметали мусор, снимали паутину и разгоняли приблудных котов. Все лето мы проводили у океана, а отец наезжал по выходным. Помню, как он всегда уставал после первой уборки и, когда перед ужином все играли в софтбол или крокет, садился на веранде в шезлонг и наблюдал за игрой. Он подбадривал мать, когда та брала биту, советовал, как лучше ударить, потом в изнеможении откидывался назад, словно не только игра, но даже мысль о ней его утомляла. С утра у него было больше энергии, и как-то так вышло, что мы стали вместе ходить на утренние прогулки. Шли к пляжу, выходили на пирс, потом обратно на пляж, мимо дома Дугласов, к приливной заводи, где садились и наблюдали за крабами, ползущими по течению. Иногда мы брали с собой ведро и сачок, и под руководством отца я отлавливал на обед пару десятков крабов.

Однажды он как-то странно, всей тяжестью

осел на песок и сказал:

— Ты хороший парень, Телониус.

Я оглянулся на него, стоя по щиколотку в воде.

— Не такой, как твои брат и сестра. Они, конечно, тоже разные. Но между ними больше общего, чем они готовы признать. А ты совсем другой.

— Это хорошо, папа? — спросил я.

— Да, — сказал он так, словно только что это понял. Потом указал рукой на воду. — Вон отличный какой, приготовился панцирь сбрасывать. Его лучше издалека накрыть.

Я так и сделал, подцепив краба сачком.

— Молодчина. Ты и мыслишь незаурядно. И видишь все по-особенному. Если бы у меня хватало терпения вникать в то, что ты иногда говоришь, я бы у тебя многому научился.

Я не до конца понимал, о чем он, но считывал хвалебную интонацию и млел от удовольствия.

— И ты такой невозмутимый. Сохрани это качество, сынок. В жизни оно тебе может больше всего пригодиться.

— Да, папа.

— Особенно когда захочешь позлить брата с сестрой.

Затем он откинулся на спину, и у него случился сердечный приступ.

Я подбежал к нему. Он стиснул мое плечо и сказал:

— Теперь пойди и позови кого-нибудь на помощь. Только не суетись.

Это оказался первый из четырех инфарктов, которые он перенес до того, как вышел из дома и застрелился в один не по-февральски теплый вечер, когда мать уехала к подруге играть в бридж. По всей видимости, его самоубийство не явилось для нее неожиданностью — она обзвонила нас по старшинству и каждому повторила одну и ту же фразу: “Тебе следует приехать домой на похороны отца”.

* * *

Ужин был заурядный, ни рыба ни мясо. Мать говорила вещи, от которых сестра закатывала глаза, каждый раз затягиваясь воображаемой сигаретой, так что к концу вечера мысленно выкурила целую пачку. Мать рассказала, как хвасталась моими книгами перед подругами, с которыми играет в бридж, и, как всегда, спросила, неужели в английском языке нельзя найти адекватной замены слову “блять”. Затем сестра высадила меня у гостиницы, без всякого энтузиазма согласившись встретиться завтра на ланч.

* * *

Мой доклад был назначен на 9 утра, поэтому я собирался пораньше лечь и по возможности выспаться. Однако, войдя в номер, обнаружил подсунутую под дверь записку с просьбой перезвонить Линде Мэллори в отель “Мэйфлауэр”. Пришлось опять идти в лобби.

— Я надеялась, что увижу тебя на конференции, — сказала Линда. — Позвонила на вашу кафедру — секретарша сказала, где ты остановился.

— Как ты, Линда?

— Бывало и лучше. Знаешь, мы с Ларсом расстались.

— Я даже не знал, что вы были вместе. Наверное, спрашивать о том, кто такой Ларс, теперь уже глупо.

— Ты устал? В смысле и так еще рано, а в Калифорнии вообще детское время. Мы-то с тобой живем по калифорнийским часам.

— Так вы теперь живете в вашем Сан-Франциско? По часам, а не по времени? — Я посмотрел на свои часы. 20.20. — У меня завтра доклад в девять.

— Но сейчас только восемь, — сказала Линда. —

Значит, для нас с тобой пять. Никогда не поверю, что ты уже собрался на боковую. Пятнадцать минут — и я у тебя.

— Давай лучше я приеду, — сказал я, опасаясь, что, если ей просто отказать, она все равно нагрянет. — Встретимся внизу в баре.

— У меня в номере тоже есть мини-бар.

— В гостиничном баре. В восемь сорок пять.

Я повесил трубку.

С Линдой мы провели вместе три ночи, две из которых занимались сексом. Две ночи в Беркли, когда я приезжал на встречу с читателями, и одну в Лос-Анджелесе, когда на встречу с читателями приезжала она. Линда была высокой, худой, но при этом довольно нескладной — с икс-образными ногами, слабо очерченным подбородком и бойким умом (бойким, по крайней мере, в тех случаях, когда дело не касалось мужчин и секса). Почуяв малейшую заинтересованность к себе со стороны противоположного пола, она вцеплялась в свою жертву такой же мертвой хваткой, какой ротвейлер вцепляется в отбивную, и с той минуты все остальное отступало для нее на второй план. Собственно, до того как ее ноздри улавливали феромон мужского внимания, Линду можно было даже назвать привлекательной:

темные глаза, густые волосы, стройная фигура, располагающая улыбка. Она говорила, что любит трахаться, но, по-моему, эффект, производимый на собеседников этой фразой, доставлял ей больше удовольствия, чем сам процесс. Добиваться своего она умела. И была напрочь лишена литературного дарования, что одновременно и раздражало, и странным образом тонизировало. Линда была автором одного-единственного сборника предсказуемо странных и стереотипно *новаторских* "коротких литературных опусов" (как она их называла). Ей повезло оказаться в кругу писателей-*авангардистов*, которые выжили в шестидесятые исключительно благодаря тому, что печатали рассказы друг друга в своих студенческих журналах и издавали книги в складчину, накопив таким образом достаточно публикаций для получения профессорских мест на кафедрах различных университетов и создания подобия репутации в так называемом литературном мире. К сожалению, эти люди составляли основной костяк общества *"Nouveau Roman"*. Все они меня ненавидели. По двум причинам: во-первых, за то, что какое-то время назад я написал реалистический роман, который был не только издан, но даже пользовался определенным успехом;

и во-вторых, за то, что в интервью печатным изданиям и на радио я не скрывал своего мнения об их творчестве. Наконец, ненависть подогревалась еще и тем, что французы, которых они так обожали, судя по всему, были довольно высокого мнения о моих книгах. Для меня — не более чем забавный факт в моей незаметной и очень тихой литературной биографии. Для них, очевидно, пощечина.

* * *

Когда я приехал, Линда уже была в баре. Она стиснула меня в объятьях, и я сразу вспомнил, что секс с ней больше всего был похож на езду на велосипеде.

— Вот ведь, — сказала Линда с интонацией человека, собравшегося говорить обиняками, — живем в одном штате, а повидаться летим на другой конец страны.

— Жизнь забавно устроена.

Мы сели за столик, и я заказал скотч. Линда попросила повторить “гибсон”. Какое-то время ее внимание занимала луковица, оставшаяся в пустом бокале, которую она пыталась проткнуть красной пластмассовой шпажкой.

— Когда твой доклад? — спросил я. В списке

выступающих ее имени не было, но, с другой стороны, я не особенно вчитывался.

— Я только участвую в панельной дискуссии с Дэвисом Гимбелом, Уиллисом Ллойдом и Луисом Розенталем.

— Что собираетесь обсуждать?

— Место Берроуза в американской художественной литературе.

Я издал сдавленный стон.

— Прелесть какая.

— Я видела название твоего доклада. Какая-то китайская грамота. — Она съела луковицу, стянув ее губами со шпажки в тот самый момент, когда принесли наши напитки. — О чем он?

— Завтра узнаешь. Меня от него тошнит. В одном можно не сомневаться: друзей после доклада у меня явно поубавится.

Я окинул бар взглядом и не увидел ни одного знакомого лица.

— До чего же малосимпатичное место.

— Зачем было приезжать? — резонно спросила Линда.

— Раз дорогу оплачивают, почему бы не съездить? — Я отпил скотч и пожалел, что не попросил к нему воды. — Как видишь, интерес исключительно шкурный — конференция меня волнует в

последнюю очередь.

– Ну и правильно. — Линда проглотила вторую луковицу. — Хочешь подняться ко мне в номер?

— Изящный переход, — сказал я. — А что если мы не будем заниматься сексом, а потом скажем, что занимались?

После неловкой паузы я спросил:

— Как тебе в Беркли?

— Нормально. В этом году буду подавать на пожизненный контракт.

— Думаешь, получишь? — спросил я, прекрасно зная, что шансы у нее нулевые.

— Здесь у тебя семья, — сказала она.

— Мать с сестрой.

Я допил скотч и с болезненной ясностью осознал, что сказать Линде мне больше нечего. Про ее личную жизнь не спросишь — деталей я не знал, а выяснять, почему она рассталась с Ларсом, не хотелось, поэтому я глядел в свой бокал.

Подошла официантка и спросила, не повторить ли скотч. Я сказал “нет” и протянул ей деньги — за один скотч и два “гибсона”. Линда следила за моими руками.

— Все-таки лучше мне отдохнуть, — сказал я. — Увидимся завтра.

— Вероятно.

2

В центре ствола находится ядровая древесина, или ядро. Ядро не пропускает питательные вещества, необходимые для жизни дерева, но является его несущей опорой. Питает дерево заболонь, которая менее прочна и подвержена поражению грибками и насекомыми. По виду заболонь и ядро неотличимы. Но нам необходимо ядро. Нам всегда необходимо ядро.

* * *

Я позавтракал в одиночестве в уютной гостиничной столовой и направился вниз по Коннектикут-авеню к отелю “Мэйфлауэр”. Утро было прохладным и серым, и это накладывало отпечаток на мое настроение. Вдобавок я чувствовал себя потерянным, перестал понимать, что я вообще тут делаю. На конференцию мне было плевать, а вчерашнего общения с матерью и сестрой более чем хватило. В аудитории, где проходило заседание моей секции, собралось довольно много людей, и меня охватил легкий мандраж. Это же не экзамен, убеждал я себя,

доклад написан, прочту — и все. Но я понимал, что не все, что будут последствия и кто-то обязательно почувствует себя оскорбленным, хотя и не сразу — до них все доходит с задержкой.

Первый зачитанный доклад воспринимался на слух на удивление легко, хотя докладчик скучно и путано рассуждал о том, что бы написал Беккет, если бы прожил дольше и остался непризнанным. Потом вышел я, вызвав многозначительные покашливания и приглушенное бормотание — лучшее подтверждение того, что дурная слава если и не бежала впереди меня, то уж точно не отставала. Я зачитал свой доклад:

f/v: позиционирование экспериментального романа

* * *

F/V: отрывок из романа

(1) *“S/Z”* Возможно, заглавие отвечает на любой вопрос еще до того, как он задан, тем самым являясь одновременно и антизаглавием, то есть заглавием, содержащим идею самоотрицания. Так считать ли нам это заглавие названием Произведения или того следа, которое Произведение оставило? На первый взгляд, предметом*

*анализа в “S/Z” выбран бальзаковский рассказ “Сарразин”, но заглавие наводит на мысль: а так ли это? Конечно, нет, о чем в “S/Z” так прямо и говорится; предмет бартовского исследования — смутный отблеск того, что можно было бы назвать главной идеей “Сарразина”. Давайте же вслед за Бартом называть герменевтическим кодом (для простоты обозначим его при помощи сокращения ГЕРМ.) “такую совокупность единиц, функция которых — тем или иным способом сформулировать вопрос, а затем и ответ на него, равно как и указать на различные обстоятельства, способные либо подготовить вопрос, либо отсрочить ответ; или еще так: сформулировать загадку и дать ее разгадку”. ** S и Z — парные согласные, глухая и звонкая, это лежит на поверхности, а вот в разделяющей их косой черте кроется настоящая загадка. Знак «/» одновременно и объединяет согласные, превращая их в единое заглавие/антизаглавие, и разделяет их, вроде бы строго посередине, но не совсем, поскольку S стоит впереди, а Z — сзади. Кроме того, знак «/» — это та самая разграничительная линия, в которой мы привыкли видеть зыбкую, вечно меняющуюся границу между означающим и означаемым. Рассеченный текст несет в себе и*

другую коннотацию — коннотацию рассыпанного текста, раздробленного текста, а то и просто расчлененного текста (необходимого как для создания литературной игры в тексте-письме, так и для лучшего понимания текста-чтения). Разделенные буквы держатся вместе, символизируя контекстуально вынужденный союз противоположностей, иллюстрируя невозможность индивидуального рассмотрения или определения границ каждой из букв в отдельности, а косая черта (или «/») одновременно и склеивает, и вклинивается. Сам по себе знак «/» становится означающим, и в каждой ссылке на заголовок он будет скользящим, конфликтующим элементом, выполняющим функцию аналогично той, что он выполняет, будучи помещенным между S и Z, то есть ровно ту, что ему заблаго- (или зазло-) рассудится. Мы будем выделять этот элемент знака «/» в роли означаемого, или сема, или в случаях имплицитной или озвученной отсылки к тому, что он в действительности означает, с помощью аббревиатуры СЕМ всякий раз, когда понятие (слово) будет содержать в себе подразумеваемый знак «/», как например: чума (СЕМ. болезнь) или чума (СЕМ. восторг).

(2) “Говорят, что практики строгого само-

*отречения позволяют некоторым буддистам разглядеть в одном бобовом зерне целый пейзаж". * "Некоторым буддистам" — возможно, всего лишь двум, но точно не большинству и уж, конечно, не обычным и заурядным буддистам. Есть ли в этой фразе пейоративный оттенок, как в утверждении "Некоторым людям не место в этой аудитории"? Или, быть может, под "некоторыми" подразумеваются лишь те буддисты, которые по-настоящему убеждены, несгибаемы и непоколебимы в своей вере, иначе говоря, не "некоторые", а вполне определенные. Не успев добраться и до середины первого предложения, мы попадаем в семантическую ловушку. (ГЕРМ. некоторый). "Некоторый" — слово, означающее "какой-то", "точно не определенный", в связи с чем его коннотативное значение в некотором смысле точно не определено. Если, конечно, учитывая заключенные в нем смыслы, мы не выберем лишь некоторые из них.*

Сделаем паузу и посмотрим на то, что предшествует первому предложению: "I. Вынесение оценок". Является ли "I" римской цифрой I *или английским местоимением "Я"? После "I" стоит точка (ГЕРМ. точка), превращающая "I" (Я) либо в оборванное предложение, либо в законченное*

высказывание, означающее конец своего "я" (СЕМ. свое "я"), что можно расценить как попытку автора снять с себя любую ответственность за все, что будет написано далее. Что же касается следующего за "I" словосочетания "Вынесение оценок", то к чему его относить — к "I" (Я) или к остальному тексту? И если к первому, не есть ли это повторный сигнал о том, что автор стремится переложить вину за написанное на кого-то другого?

"Практики строгого самоотречения позволяют" — любопытная грамматическая конструкция, которая словно персонифицирует и превозносит практики буддистов, как если бы практики существовали сами по себе, вне всякой связи с теми, кто применяет их на практике (практиками). Само слово "практики" неразрывно связано в нашем сознании именно с буддистами, а не с католиками или мусульманами. Хотя значение его довольно расплывчато, логично предположить, что имеются в виду "некоторые (определенные) практики", и таким образом практики (СЕМ. буддисты) посредством знака «/» становятся неотделимы от тех, кого они наделяют особым видением (СЕМ. практиков) ... позволяя тем "разглядеть в одном бобовом

*зерне целый пейзаж". * Но как можно разглядеть целый пейзаж где бы то ни было, если поле нашего зрения ограничено: по бокам — периферическим зрением, вдаль — линией горизонта? В таком случае не является ли целый пейзаж всего лишь частью еще большего пейзажа? Или нам придется признать, что любой пейзаж — это лишь часть пейзажа и что каждая из частей пейзажа сама по себе есть целый пейзаж? Получается, что разглядеть целый пейзаж в бобовом зерне не так уж сложно, а значит, ничего такого особенного практики строгого самоотречения буддистам не позволяли. Но почему именно в бобовом зерне, а не в стеклянном шарике, или в отпечатке стопы, или в лице, сфотографированном крупным планом? Раз автор выбрал бобовое зерно, значит. оно что-то да означает (даже если это символ пустоты [СЕМ. дзен]), и поэтому все единицы этого символического поля мы станем обозначать буквами СИМВ. Бобовое зерно и само по себе, и как плод, конечно же, символ семени, которым оно является и которое одновременно в себе содержит. Рождая само себя гармоничным и целым, зерно прорастает из земли, а земля по-французски "pays", и поэтому изображение зерна — пейзаж (фр: paysage) — получается таким же*

гармоничным и целым. Это прорастание себя из себя есть кульминационное действие. Мы будем обозначать такого рода акциональность сокращением АКЦ., нумеруя каждое из составляющих ее действий по порядку (АКЦ. в бобовом зерне: 1*) что видит глаз;* 2*) семя как таковое;* 3*) идея как таковая…) Получается, нам следует сосредоточить наше внимание не столько на буддисте, сколько на бобовом зерне*[3].

3*) "Это в точности то, к чему стремились первые исследователи повествовательных текстов: разглядеть в одном тексте все существующие на свете тексты". * "В точности" здесь, на самом деле, вопиюще неточно, ибо "первые исследователи" пытались не столько разглядеть пейзаж в бобовом зерне, сколько найти необходимые и*

---

[3] Примечания: 3

Возьмем еще одну паузу, как ранее в основном тексте, и поясним: по сути, нам предлагается использовать пять основных кодов, по которым можно классифицировать любое означающее в разбираемом тексте. Ниже я перечислю эти коды не по степени важности, а в том порядке, как они были упомянуты. Герменевтический код охватывает такие (формальные) единицы, которые подразумевают, наводят на мысль, заключают в себе, содержат, длят, расшифровывают/разрешают какую-либо загадку. Семы существуют без привязки к персонажу, месту или предмету и приводятся для достижения некоторого подобия тематического поля: нам рекомендуется сохранять за ними право на "непостоянство и хаотичность, благодаря чему они начинают напоминать пылинки, мерцающие смыслом". (Иными словами, любая ассоциативная ахинея — неплохой способ добавить смыслы и, что более важно, пробудить интерес.) Кроме того, следует

избегать структурации символического поля, сохраняя открытость к поливалентности и обратимости. Истинный смысл текста может быть прямо противоположен тому, что лежит на поверхности, ибо любой текст, как любой позитив, несет в себе контуры своего негатива. Действия (образующие проайретический код) намечены пунктиром, поскольку любая последовательность — это “всего лишь результат читательского искусства”, чтение аккумулирует перечень общих обозначений совершаемых действий (сидение, умирание, возмущение, засыпание), и эти обозначения формируют последовательности, которые возникают лишь тогда и постольку, когда и поскольку им можно дать название, и возникают не вследствие дедуктивных или индуктивных рассуждений, а вследствие рассуждений эмпирических, ибо какая-то (нелогическая) причина для их возникновения все же имеется. И наконец, культурные коды, которым сравнительно легко дать определение, ибо они есть суть референции, отсылающие к системе знаний или к определенной области знаний (медицине, литературе, истории), опирающейся на всю совокупность знаний и не окрашенную локальным колоритом. (РЕФ. культура). *(Прим. автора.)*

достаточные условия, которые позволили бы им называть повествование рассказом. Так что "в точности" содержит в себе иронию, незаметный намек на то, что исследуемый текст был слишком сложен для понимания лишенных полета мысли первых исследователей (СЕМ. точность). Проводимая параллель между тем, чем занимались буддисты, и тем, чем занимались исследователи, позволяет уверенно утверждать, что последние не были буддистами. Вглядывавшиеся в бобовые зерна пузаны не нуждались в создании повествовательной модели, ибо они прозревали ее в бобовом зерне. И точно: ведь буддисты ищут в бобовом зерне не отвлеченный пейзаж, а конкретный — тот, который в этом зерне содержится. Они стремятся не извлечь то главное, что делает рассматриваемую вещь тем, чем она является, а разглядеть ее целиком; в этом случае сосредоточенность на конкретных деталях может легко разрушить целое, которым нам все так советуют восторгаться. Считать ли нам первым интерпретатором Аристотеля с его праксисом и проайресисом? Или стоит поразмышлять о первобытных людях, поставленных перед необходимостью решить, какое из двух описаний события является прав-

*дой, а какое — вымыслом (не забудем, что для того, чтобы сказать правду, достаточно обладать хорошей памятью, в то время как вымысел предполагает наличие четкого представления о том, как сделать его максимально правдоподобным). Или нам лучше остановить свой выбор на русских формалистах и поставить на этом точку (СИМВ. исследователи)? Ведь они пытаются (АКЦ. пытаться) замаскировать эту модель, и сама попытка доказывает, что ничего-то у них не вышло. Не будут же говорить о человеке, нашедшем золотую жилу: "Он пытается найти золото". (СЕМ. попытка)... "разглядеть все существующие на свете тексты" * Фраза подразумевает наличие некоего единого универсального нарратива (РЕФ. повествование). Дав вещи название, мы совершаем порой разрушительную, а порой созидательную работу, но ни того, ни другого уже нельзя отменить. Название порождает вещь, и пускаться на поиски того, что делает эту вещь тем, чем она является, значит не понимать, что сперва неплохо было бы убедиться в самом факте существования данной вещицы; называться еще не значит существовать (РЕФ. единорог).*

4*) ... "(а ведь их — несметное множество) в*

*одной-единственной структуре: из каждого отдельного повествования, рассуждали они, мы извлечем его модель, после чего построим из этих моделей одну большую повествовательную структуру, которую затем (в целях верификации) станем проецировать на любые конкретные повествования…" * Как будто кто-то мог всерьез спросить, глядя на камень: "Это рассказ?" (имея в виду, что он и правда не знает, рассказ ли это, а не то, что ему подсовывают камень вместо рассказа). Больше всего эта их попытка напоминает карикатуру, на которой издатель спрашивает писателя: "И это вы называете рассказом?" Впрочем, данное отступление, вскрывающее целый пласт новых идей (оставаясь при этом всего лишь фрагментом текста), выходит за рамки литературного анализа. "несметное множество" (ГЕР. множество СЕМ. множество) ** здесь слышится и ирония, и полемический задор, и даже кажущееся восхищение производительностью пишущей братии, но все это в скобках, за которые вынесена, не удостоившись упоминания, сама братия. "рассуждали они" (СЕМ. рассуждали ГЕРМ. они РЕФ. они) *** недвусмысленное указание на то, что поставленная задача осталась невыполненной. Продолжение фразы намекает*

на завышенные ожидания от бобовых зерен, которые они разглядывали, но это "рассуждали они" свидетельствует о том, что ничего-то они в этих зернах не углядели. Так мы приходим к выводу о необходимости отказаться от попытки проанализировать текст "S/Z" по образцу бартовского анализа "Сарразина", ибо "Сарразин" не выбран Бартом в качестве образца, а превращен в образец, чтобы в свою очередь сделаться образцом для разбора других текстов, как и данный текст. Когда люди лишены памяти, повторять прописные истины им не лишне.

* * *

Когда я закончил, раздались отдельные робкие аплодисменты, а затем повисла оглушающая тишина — все пытались понять, надо ли обижаться и, если да, то на что. Когда я пошел обратно к своему месту, мимо моей головы просвистела связка ключей, угодив в бархатные обои. Окинув глазами зал, я увидел Дэвиса Гимбела, редактора журнала "Бесчувственный нуар".

Гимбел потряс в воздухе кулаком и крикнул: "Иуда!"

Это прозвучало настолько театрально и неуместно, что не оставило никаких сомнений:

он ничего не понял, но очень хотел показать, будто все схватил на лету.

В зале была Линда Мэллори, и мы обменялись взглядами. Кивком она дала мне понять, что оценила мой доклад по достоинству, и беззвучно поаплодировала. Я поднял с пола ключи и бросил их Гимбелу.

— Они тебе еще наверняка пригодятся, — сказал я.

Гимбел и на это обиделся и как человек, мнивший себя современным Хемингуэем, двинулся на меня с таким видом, будто собирался затеять драку. Ему быстро преградили дорогу люди из его свиты, состоявшей из четырех молодых начинающих писателей. Свита сопровождала Гимбела повсюду, хотя состав ее постоянно менялся: эти четверо тоже со временем испарятся, и их место займут другие юные дарования.

— У меня не было цели тебя обидеть, Гимбел, — сказал я.

Можно было не сомневаться, что заседание нашей секции превратится в главную сплетню конференции, что эта сплетня заживет своей жизнью и станет тем силосом, который является главной пищей этих ослов.

— Что именно тебя так задело?

— Ты… Ты ничтожный эпигон! — прошипел Гимбел, брызжа слюной.

— Ничтожный эпигон, — повторил я за ним. — Ладно.

Переведя взгляд на дверь, я увидел, что народ уже устремился к выходу, торопясь поскорее предложить свою версию *драчки* тем, кому не посчастливилось лично при ней присутствовать. Они будут говорить: “Я сидел прямо рядом с Гимбелом, когда все это началось” или “Я просто опешила, когда Эллисон запустил в Гимбела его же ключами”. В общем, я тоже направился к двери, и все расступались передо мной, от страха или из уважения — трудно сказать.

3

Вернувшись в гостиницу, я обнаружил записку, угрожавшую мне физической расправой. Текст был накарябан на обратной стороне книжной закладки: “*Я убью тебя, жалкий подражатель!*” И подпись: “*Призрак Уиндема Льюиса*[4]». Не скажу, чтобы угроза сильно меня испугала: клоун, объявивший мне войну, был так же неспособен что-либо совершить, как и написать.

* * *

Идея рассказа. Женщина рожает яйцо. Поступает в родильное отделение, но вместо ребенка на свет появляется яйцо весом два килограмма восемьсот грамм. Врачи не знают, что делать, надевают на яйцо подгузник и кладут в инкубатор. С яйцом ничего не происходит. Тогда они сажают на яйцо мать — тоже безрезультатно.

---

[4] Примечания: 4

Уиндем Льюис (1882–1957) — английский художник, писатель и теоретик искусства. Автор “вортицистского манифеста”, утверждавшего, что только сильнейшие взрывы чувств могут быть источником художественного творчества. В романе “Праздник, который всегда с тобой” Хемингуэй отзывается о Льюисе весьма резко и нелицеприятно, называя его “человеком, гнуснее которого никогда еще не видел”.

Наконец, дают матери его подержать. Та тут же привязывается к нему, называет его “моя детка”. У яйца нет ни ручек, чтобы ими пошевелить, ни голоса, чтобы заплакать. Ну яйцо, какие к нему вопросы? Женщина забирает его домой, дает ему имя, купает, заботится. Яйцо не меняется, не растет, но для матери оно “моя детка”. Женщину бросает муж. К ней перестают приходить друзья. Она воркует с яйцом, говорит, что любит его. Яйцо трескается…

* * *

Заглянул в клинику к сестре в Юго-Восточном секторе. Ни один город мира не умеет прятать свою нищету так, как Вашингтон. Всего в паре кварталов от Национальной аллеи и Капитолия, где каждый день толкутся тысячи туристов, люди завешивают разбитые окна полотенцами, чтобы защититься от дождя, а ложась спать, заколачивают досками двери на ночь. Хотя сестра жила чуть севернее зажиточного района Адамс-Морган, женскую консультацию она открыла в Юго-Восточном секторе, населенном преимущественно чернокожей беднотой. Не знаю, чего в моей сестре больше — упорства или твердости. Рядом с ней я чувствую себя лилипутом.

Я вошел в клинику через парадную дверь, и десять женских лиц одновременно повернулись в мою сторону, словно хотели спросить: “А ты что тут делаешь?” Я подошел к стойке регистратуры.

— Меня зовут Телониус Эллисон, я брат доктора Эллисон, — сказал я.

— Да быть того не может.

Регистраторшу нельзя было назвать полной, но ее было много. Она встала, обошла стойку и заключила меня в объятья. Я утонул в них, успев подумать: так вот как обнимают по-настоящему.

— Значит, ты тот брат, который писатель, — сказала регистраторша, отступая на шаг и окидывая меня оценивающим взглядом. — И такой видный.

Она крикнула куда-то вглубь коридора:

— Элеонора! Элеонора!

— Что? — откликнулась Элеонора.

— К нам тут писатель пожаловал. Собственной персоной.

— Что?

— Брат доктора Э.

Пришла Элеонора и тоже бросилась меня обнимать. На шее у нее висел стетоскоп, растворившийся в ее большой и мягкой груди, когда она меня в эту грудь вдавила.

— Доктор Э. сейчас с пациентом.

— Да, мой сладкий, — сказала регистраторша, сияя лучезарной улыбкой. — Ты пока посиди, а я ей про тебя сообщу. А если что понадобится, вот она я, только позови. Меня Ивонн зовут. Запомнил?

Я сел в пустое кресло, обитое дешевой оранжевой тканью, рядом с молодой женщиной с накладными загнутыми ногтями синего цвета. На коленях она держала маленького мальчика с сопливым носом.

— Симпатяга, — сказал я. — Сколько ему?

— Два года, — сказала женщина.

Я кивнул. Кресло оказалось на удивление удобным (что в приемных большая редкость), и я почувствовал, как все мои кричащие утренние тревоги постепенно стихают, переходя в шепот, все менее различимый в шуме окружавшей меня реальности.

— А что ты делаешь в Вашингтоне? — спросила Ивонн из-за своей стойки.

— Приехал на конференцию, — сказал я.

— Видно, ты большой человек, если в Вашингтон на конференции ездишь, — сказала она.

Я покачал головой и засмеялся.

— Нет, это конференция общества *“Nouveau*

Roman”. Совсем не важная. Сделал утром доклад и теперь свободен.

Ивонн посмотрела на меня так, словно мои слова растворились в пространстве, не достигнув ее ушей. Кивнула, глядя куда-то мимо, и снова погрузилась в свои бумаги. Меня охватило чувство неловкости, неуместности, преследующее меня всю жизнь, чувство, будто я всегда и всюду чужой.

— Вы книги пишете? — спросила женщина с ребенком.

— Да.

— А какие?

— Романы, — сказал я. — Рассказы.

И без того чувствуя себя не в своей тарелке, я теперь не знал, как ответить, чтобы прозвучало просто и без позерства.

— Мне двоюродная сестра дала “Их глаза видели бога”[5]. Это в университете проходят. В университете округа Колумбия. Хорошая книга.

— Абсолютно с вами согласен, — сказал я.

---

[5] Примечания: 5

Роман афроамериканской писательницы Зоры Нил Херстон (189–1960), написанный в 1937 г.

— Она и “Тростник”[6] мне давала, — сказала женщина, придвигая сидящего на коленях сына поближе к себе. — “Тростник” — моя любимая книга.

— Блестящий роман.

— Разве это роман? — спросила она. — Там же не одна история, да и стихи тоже есть. Но вместе вроде как одно получается, не знаю, как это выразить.

— Вы прекрасно выразили.

— Я все про тот рассказ думаю, “Место в ложе”, думаю и прямо вижу себя в театре, вижу, как два карлика на сцене дерутся.

Она тряхнула головой, словно освобождаясь от наваждения, и вытерла ребенку нос.

— Вам бы следовало поступить в колледж.

Девушка засмеялась.

— Не смейтесь, — сказал я. — У вас большие задатки. Хотя бы попробуйте.

— Я и школу-то не закончила.

Я не знал, что на это сказать. Почесал затылок, обвел взглядом комнату, скользнув по другим лицам. Почувствовал свою ничтожность: от

---

[6] Примечания: 6

Самое известное произведение афроамериканского писателя Джина Тумера (1894–1967), вышедшее в 1923 г. Считается, что книга положила начало движению Гарлемского Возрождения в литературе.

девицы с синими ногтями как-то не ожидаешь услышать ничего, кроме примитива и глупости, а она оказалась совсем другой. Глупым был я.

— Спасибо, — сказал я девушке.

Она не ответила, и, по счастью, ее как раз пригласили пройти на прием.

Вышла Лиза в белом халате со стетоскопом на шее. Я впервые видел ее в больничной обстановке. Она казалась спокойной и раскованной, но одновременно собранной, держащей все под контролем. Я гордился ею, преклонялся перед ней. Я встал, и мы обнялись — она как всегда формально и сухо, а я искренне, так что в итоге объятье вышло вдвое теплее, чем обычно. От неожиданности она даже слегка покраснела.

— Мне еще надо посмотреть двух больных, и потом поедем, — сказала Лиза. — Ты удачно попал: пикетчиков наших нет. То ли в церковь ушли, то ли на шабаш. Тебя тут не обижают?

— Ивонн не дает, — сказал я, но регистраторша, похоже, ко мне охладела. Механически улыбнулась и помахала в воздухе карандашом с ластиком. — Я тебя жду.

* * *

Когда мне было пятнадцать, мой друг Дуг Гласс (его правда так звали) спросил, не хочу ли я поехать с ним на вечеринку. Аннаполис, лето. Дуг на год меня старше и уже разъезжает на собственной машине. Конечно, я соглашаюсь! Прикатываем. Снаружи громыхает непривычная музыка, бухают басы. Отовсюду доносятся мужские голоса, старающиеся звучать на октаву ниже, и девчачье хихиканье. Сначала мы стоим на лужайке, и я держу пластиковый стаканчик с пивом, пока пиво не становится теплым. Я пока не привык к его вкусу, но еще больше боюсь, что может стошнить. В этой части Аннаполиса я не бывал, но невдалеке виднеется знакомый шпиль Капитолия штата Мэриленд, и я приблизительно представляю, где мы.

— Йо, бро, тебя как зовут? — обращается ко мне долговязый парень, выпуская струю сигаретного дыма почти мне в лицо. — Я Клевон.

— Монк, — говорю.

— Монк? — смеется. — Это ж с какого перепоя тебя так назвали?

В этот момент я скорее готов умереть, чем признаться, что вообще-то мое настоящее имя

— Телониус.

Подходит другой парень, и долговязый ему говорит:

— Слышь, Регги, угадай, как этого перца зовут. Монк!

— Как мартышку, — фыркает Регги. — Да он и похож.

— Не, ну серьезно? — спрашивает Клевон.

— Эллисон, — говорю.

— Это имя или фамилия?

— Фамилия.

— А имя?

— Тео.

Клевон и Регги переглядываются и пожимают плечами, давая понять, что Тео — скучное имя и над ним особо не постебешься.

— А чего это тебя Монком прозвали, братишка? — спрашивает Рэгги.

Мне не нравится его интонация, особенно слово “братишка”.

— Ничего, — отвечаю. — Просто прозвище.

Подходит Дуг и говорит:

— Пойдем внутрь заглянем, Монкси.

– *Монкси,* — хором повторяют Клевон и Регги, прикрывая ладонями рты. Их чуть не разрывает от смеха.

— Давай уедем, — говорю я Дугу, плетясь за ним к дому. — Мне здесь надоело.

— Сначала внутрь зайдем. Ты же хотел на девчонок позырить.

Это точно, на девчонок я очень хотел позырить. Но что с ними делать потом, понятия не имел. Только надеялся, что они не станут обращаться ко мне “братишка” или спрашивать, как меня зовут.

Внутри полумрак, гостиная битком набита народом, а в центре извиваются танцующие. Пока мы протискиваемся сквозь толпу на другой конец, Дуг начинает пританцовывать и показывать пальцем на своих знакомых. Мы с ним дружим недавно, и я поражаюсь, скольких он тут знает. Дуг останавливается рядом с двумя девчонками. Из-за громкой музыки ему приходится чуть ли не кричать.

— Ничё так тусовка, — говорит Дуг.

— Ага, — говорит одна.

— Вы сестры? — спрашивает Дуг.

— Ага.

Потом они молча наблюдают за танцующими. Я потрясен тем, как запросто Дуг завел разговор с противоположным полом, — он еще больше вырастает в моих глазах. Потом Дуг поворачивается

к девчонке и говорит:

— Потанцуем?

— Ага.

Я остаюсь с ее сестрой. Она хорошенькая, в коротком летнем платье с открытыми плечами. Где-то под потолком вращается прожектор, и каждые несколько секунд свет мягко скользит по ее шее и бедрам. Меня завораживает нежность ее кожи. Она замечает, куда я смотрю, и я извиняюсь.

— Меня зовут Тина, — говорит она.

— Эллисон, — говорю я.

— Потанцуем?

— Окей.

В следующие три минуты меня терзают мысли, которые никогда до этого не терзали. Брызгался ли дезодорантом? Чистил ли зубы? Не слишком ли сухие у меня руки? А может, наоборот, потные? Попадаю ли в такт музыке? Хорошо ли веду ее в танце? Должна ли моя голова быть справа или слева от ее головы? Я держу Тину на расстоянии, но она притягивает меня ближе и прижимается всей грудью. Ее бедра трутся о мои бедра, а ведь лето, и на мне короткие шорты. От прикосновений ее кожи мой хрупкий гормональный баланс окончательно нарушается. Пока мы танцуем,

мой член неуклонно растет, и в какой-то момент показывается из левой штанины. Тина замечает это и что-то говорит, но я слышу только: “детка” и “все хорошо”. Потом кто-то включает свет, и до меня доносятся голоса Клевона и Регги: “Смотрите, какой у Монка монстр!” Я выскакиваю на улицу и бегу в сторону Капитолия.

Добираюсь до городского причала и вижу своего старшего брата с приятелями на нашей лодке. Брат спрашивает, все ли в порядке. Я говорю, что да, и спрашиваю, можно ли к ним. Он смотрит на остальных и нехотя кивает. Его друзьям явно не по себе в моем присутствии, они все меньше разговаривают и быстро расходятся.

— Вылезай и отвяжи швартовы, — говорит Билл. — Как ты здесь оказался?

Он заводит мотор, и мы отчаливаем.

— С Дугом приехал. На вечеринку. Мы там потерялись.

— Ясно.

— Я тебе не помешал? — спрашиваю я.

— Нет, не переживай.

Под знакомое глухое тарахтение мотора меня постепенно отпускает. Вода залива кажется мне абсолютно безмятежной. Я запрокидываю голову и смотрю на небо.

* * *

Мы с Лизой приехали в гриль-бар “Капитолий” и устроились в кабинке под головой лося.

— Почему ты ездишь на ланч именно сюда? — спросил я.

— Не знаю. Видимо, тянет поглазеть на всех этих умников, принимающих законы. — Она отпила чая. — Хочешь загадку? Ты в лодке, и глохнет мотор, но довольно мелко, а на тебе брюки за двести баксов, и при этом такси, которое ждет тебя на берегу, чтобы отвезти в аэропорт, вот-вот уедет. При чем здесь Верховный суд?

Я пожал плечами.

— Грести или идти вброд. Роу против Уэйда[7].

Давно я не видел на лице Лизы такой счастливой улыбки.

— Так себе каламбур, да?

— Сама придумала?

— Когда не спится, и не такое в голову лезет. —

---

[7] Примечания: 7

Решение Верховного суда США по делу “Роу против Уэйда”, принятое в 1973 г. (и отмененное в 2022 г.), обеспечивало гарантию на аборт со стороны федеральных властей. Со дня принятия вокруг него не утихали споры, сделав фамилии Роу (псевдоним истца) и Уэйд (фамилия прокурора) известными едва ли не каждому американцу. Загадка Лизы строится на игре омофонов (*“Roe”* — фамилия и *“raw”* — “грести”) и омонимов (*“Wade”* — фамилия и *“wade”* — “идти вброд”).

Лиза окинула взглядом зал и снова посмотрела на меня. — Рада тебя видеть, братишка.

— Спасибо. Я тоже рад тебя видеть. Знаешь, я ведь тобой горжусь. И отец бы гордился. Особенно тем, что ты делаешь в клинике.

— Не самое престижное место.

— При чем тут это?

Я заметил, что какой-то мужчина у барной стойки пристально на нас смотрит.

— Ты его знаешь? — спросил я.

Лиза обернулась — и мужчина отвел глаза.

— Нет. А что?

— По-моему, он к тебе приглядывается.

— Было бы неплохо.

— Барри, конечно, повел себя по-свински. Я всегда считал, что он ничтожество.

— Ты это еще тогда сказал, — засмеялась Лиза. — Помнишь, как я на тебя разозлилась?

Подошел официант и принял заказ. Убирая блокнот, улыбнулся Лизе.

— Как дела, док?

— Прекрасно, а твои, Чик? Это мой брат Монк. Проездом из Калифорнии.

Я пожал протянутую мне руку.

— Чик, — сказал Чик.

Я подождал, пока официант удалится, и улыб-

нулся сестре.

— Ты ему нравишься.

— Возможно, но, по-моему, Чик, который вообще-то Птенчик, раньше встречался с Биллом.

— Вот оно что.

Мы помолчали, думая о Билле, пока мне это не надоело.

— Я очень мило пообщался с одной из твоих пациенток, — сказал я, меняя тему. — Только имени не спросил. У нее синие ногти. С ней еще мальчик был.

— Я точно знаю, о ком ты. Это Тамика Джонс. У нее вообще-то двое детей. Мальчика зовут Мистер И.

— Мистер И?

— Именно. А еще есть девочка по имени Фэнтези.

— Мистер И? Фэнтези?

— Названы в честь своих отцов. Один был окутан тайной, а другого она себе нафантазировала.

— Ты меня разыгрываешь.

— Если бы.

— Чего я только за деньги ни сочинял, но такое выдумать невозможно.

Мужчина у барной стойки снова смотрел на нас, но поняв, что я это заметил, встал, распла-

тился и направился к выходу.

— Знаешь, мне иногда кажется, что я живу в какой-то иной реальности, а спускаюсь на землю — и не знаю, как с людьми разговаривать.

— А ты и не знаешь, — сказала Лиза. — И никогда не знал. Просто ты особенный.

— Чем я особенный?

— Не обижайся. В этом нет ничего плохого. Это даже здорово. Мне всегда хотелось быть такой, как ты.

* * *

Раньше я во всем искал скрытый смысл, воображал себя странствующим сыщиком, разгадывающим тайны мироздания с помощью герменевтики, но к двенадцати годам это прошло. Тогда я бы не смог объяснить почему, но теперь ясно вижу: я оставил попытки разгадать то, что принято называть субъективными или тематическими смысловыми конструкциями, и стал просто фиксировать конкретные случаи, чтобы на их основе, пусть и неосознанно, делать выводы о том, как устроен мир и как этот мир на меня влияет. Проще говоря, я научился принимать мир как он есть. А если еще проще, на все забил.

Когда мне было тринадцать, а сестре шестнадцать, она застукала меня в подвале за считавшимся постыдным занятием: я дрочил на порнографический журнал. На ее вопрос “Что ты делаешь?” ответил: “Дрочу”.

Такая прямота повергла ее в растерянность. Когда я заправлял ремень, она сказала:

— Ты извращенец.

— Возможно, — согласился я. — Я не знаю, что включает в себя это понятие.

— Смотри, чтоб родители тебя не поймали. Вот все, что могу сказать.

— Это не входило в мои планы. А если и поймают, что будет? Это, что ли, отберут? — Я кивнул на журнал, раскрытый на развороте.

— Где ты его взял? — спросила Лиза и посмотрела наверх — убедиться, что дверь в подвал закрыта.

— Купил.

И, чтобы ее успокоить, добавил:

— Отец сейчас на работе, а мать сюда не спускается — она пауков боится.

— Вообще-то это нормально, — сказала Лиза, словно вдруг испугавшись, что могла нанести мне психологическую травму.

— Что нормально?

— Мастурбировать. Все этим занимаются.

— Ты тоже?

— Нет, — сказала она, покраснела и занесла ногу, чтобы идти наверх.

— Спасибо, — сказал я.

— За что?

— Что успокоила.

— Не за что, — сказала она.

— Не заниматься этим тоже нормально, — сказал я.

* * *

Я внимательно следил за тем, как Лиза вилкой снимает со своего чизбургера колечки лука и складывает их на краю тарелки.

— Ты по-прежнему не ешь мясо? — спросила она.

— Иногда ем, — сказал я.

— От одного бургера еще никто не умирал.

Я полил свой салат оливковым маслом и уксусом и кивнул.

— Я очень ценю, что ты взяла на себя все заботы о матери, — сказал я. — И я согласен, что это несправедливо.

— Так получилось.

— Я чем-то могу помочь?

— Переехать в Вашингтон, например. — Она поймала мой взгляд и улыбнулась. — Если понадобится твоя помощь, я позвоню. Одно только…

Теперь я поймал ее взгляд, и она отложила вилку, вспомнив про сигареты.

— У матери кончаются деньги.

— Но я думал…

— Я тоже так думала, но они тем не менее кончаются.

— У меня с деньгами не очень. На книгах особо не заработаешь.

— Не бери в голову, — сказала она. — Просто хотела, чтобы ты был в курсе.

Тут мне стало по-настоящему паршиво, будто на меня рассчитывали, а я всех подвел. Живя в своем маленьком пузыре, я никогда об этом не задумывался. Теперь чувство вины засасывало меня, как трясина.

После ланча сестра предложила вместе заехать в “Бордерс”[8] — ей нужно было купить подарок сотруднице, которая на днях родила. Я спросил, почему бы ей не подарить сотруднице одну из моих книг, но Лиза ответила, что лучше купит что-нибудь, что та сможет прочесть. Потом она

---

[8] Примечания: 8

Сеть гигантских книжных магазинов, достигшая пика популярности в конце девяностых — начале двухтысячных и закрывшаяся в 2011 г.

засмеялась, и как-то само собой я тоже начал смеяться.

Лиза углубилась в секцию садоводства, а я стоял посреди огромного магазина и думал, до чего же ненавижу “Бордерс” и вообще торговые сети. Часто общаясь с владельцами маленьких уютных книжных, я наслушался немало рассказов о том, как мегамонстры выживают их с рынка. Потом мне пришло в голову посмотреть, есть ли в продаже мои книги (я был уверен, что даже если есть, мое отношение к “Бордерс” не изменится). В секции художественной литературы я их не нашел. В секции современной прозы тоже. Зато спустившись на пару ступеней вниз и попав в секцию афроамериканской литературы, увидел на одной из полок во всей своей первозданной красе (читай, нетронутыми), подобранные по алфавиту, четыре моих романа, включая “Персов”. С афроамериканской литературой их связывала разве что моя фотография на суперобложке. Я почувствовал, что закипаю: пульс участился, лоб нахмурился. Читателя, которого интересует афроамериканская тематика, мои книги вряд ли привлекут, разве что вызовут недоумение, почему они оказались в этой секции. А читатель, который ищет малоизвестную переработку

древнегреческой трагедии, в эту секцию не заглянет: с таким же успехом можно искать Эсхила в секции садоводства. И в том, и в другом случае результат один: отсутствие продаж. Этот гребаный магазин лишает меня куска хлеба.

Объяснять что-либо клонированному менеджеру себе дороже, поэтому я решил не поднимать волну. К тому же мне на глаза попался плакат, приглашавший на встречу с Хуанитой Мэй Дженкинс, автором нашумевшего бестселлера “А жывём мы в гетто”. Я взял с витрины экземпляр книги и прочел первый абзац:

Я асталась бес папки, неуспеф радица на свет, и с тех пор мы так и жывем: я, мамка и братишка Джунбой. По утрам Джунбой никада ничистит зубей, такшто мне иму нада фсе время напаминать. Паэтыму, када мамка убираит убелых, она гаварит, что я за ниво атвественна и фсе кладет на миня.

Я закрыл книгу, чувствуя, что меня сейчас вырвет. Сзади подошла сестра.

— Что с тобой? — спросила она.

— Ничего, — сказал я и брезгливо бросил книгу на полку.

— Как тебе? — спросила Лиза. — Я где-то про-

чла, что по ней скоро фильм снимут. Кажется, миллиона три за права заплатили.

— Вот как.

* * *

Массовая культура — вещь не новая. Я привык к тому, что мир ежедневно (если не ежечасно) норовит огреть меня своими “реалиями”, и приходится постоянно уворачиваться от оплеух. Но эта книга была как удар под дых. Так солнечным днем в отличном настроении бредешь по антикварной барахолке и вдруг видишь витрину с резными фигурками чернокожих — один ест арбуз, другой играет на банджо, а рядом высится пирамида из керамических банок для печенья в виде сдобной негритянки. Три миллиона долларов.

* * *

После ланча сестра предложила мне взять машину при условии, что вечером я отвезу ее домой с работы. Мы подъехали к главному входу клиники. Там уже дежурили пикетчики. Завидев сестру, они закричали: “Убийца! Убийца!” Я вышел из машины и пошел за Лизой сквозь

строй протестующих, сознавая, что изо дня в день она идет мимо них одна, что защитник из меня никакой, да и не нужна ей защита. Но Лизе было приятно мое присутствие, и мы тепло попрощались. Я двинулся обратно к машине, вглядываясь в дикие, больные, искаженные яростью лица. Один пикетчик держал огромный плакат с изображением изуродованного эмбриона и потряс передо мной кулаком. На долю секунды мне почудилось, что это тот самый человек, который пялился на нас в ресторане из-за барной стойки, но в следующий миг он исчез.

4

Идея рассказа: мужчина женится на женщине, которую зовут так же, как его первую жену. Однажды ночью, занимаясь любовью, он произносит ее имя, но женщина обвиняет его в том, что он назвал ее именем первой жены. Конечно, она права: он действительно назвал имя первой жены, но ведь нынешнюю зовут точно так же. Он уверяет, что не думал о первой жене, а она говорит, что прекрасно знает, какое имя услышала.

* * *

Я немного покатался по городу, с удивлением отмечая, что получаю удовольствие от роскошного салона. Сестра не зря услышала в моих восторгах насмешку — так оно, возможно, и было. Никогда не понимал, зачем тратить огромные деньги на железяку на колесах. Но должен признать: Лизина железяка была удобной и тихой, и мне было понятно ее желание иметь возможность открывать дверцы и включать фары с другого конца парковки. И все же за рулем этой штуковины я чувствовал себя не в своей тарелке.

В общем, ничего нового. Я проехал через Джорджтаун, потом на север по Висконсин-авеню, потом обратно по Массачусетс-авеню до Дюпон-серкл. Хотел заскочить к матери до того, как она отправится на свой послеобеденный сон. Это избавляло меня от необходимости оправдываться за краткость визита: ей пора будет отдохнуть, а мне — ехать за Лизой.

— Мой Монкси дома, — снова сказала мать.

Мы сели на кухне, и она заварила чай.

— Ты прекрасно выглядишь, мама.

— Не болтай глупости, — сказала она. — Я уже старуха. Чай, по-моему, так себе, детка. Мне его одна женщина принесла, бывшая пациентка твоего отца.

— Очень мило с ее стороны, — сказал я.

— Да, женщина действительно милая, но, боже мой, еще старше, чем я. Никак не могу ей втолковать, что твоего отца нет больше на этом свете.

Она поставила на стол чашки и блюдца.

— А где Лоррейн? — спросил я.

— Пошла за покупками.

Я посмотрел на календарь на стене. Он был прошлогодний, но открыт на правильном месяце.

— Мама, этот календарь пора выбросить.

— Лиза мне постоянно это твердит, все забываю

его сменить.

— Давай я куплю тебе новый.

Сказав это, я подумал, что, купив новый календарь, рискую отравить Лизе жизнь. Что если мать начнет без конца рассказывать, откуда он взялся? Я прямо увидел, как месяц за месяцем, переворачивая листы, мать восклицает: “Посмотри, какая чудесная фотография Большого каньона! Это мне Монкси календарь подарил. Заметил, что мой уже старый”.

— Думаю, настоялся. — Мать поставила заварочный чайник между нашими чашками и села. — Как прошла твоя конференция?

— Нормально, — сказал я. — Прочитал свой доклад и теперь свободен.

— Это хорошо, — сказала она. Встала, еще раз повернула ручку конфорки в положение “выключено” и снова села.

— Будь осторожней с камином, — сказал я. — Мы ведь никогда им не пользовались. Заслонку, наверное, наглухо заклинило.

В гостиной и правда было немного дымно.

— Больше огонь не разводи.

— Все, что мне надо было, я сожгла, — сказала она, разливая чай.

— А что ты жгла? — спросил я.

— Так, кое-какие бумаги. Твой отец попросил, когда лежал в больнице. Он сказал: “Агнес, сожги, пожалуйста, бумаги из серой коробки у меня в кабинете. Сделаешь это для меня?” Я обещала, и тогда он сказал: “Только пожалуйста, не читай”.

— И ты не прочла?

Мать покачала головой:

— Раз твой отец попросил.

Я посмотрел на разделочный стол и увидел на нем синюю коробку.

— А бумаги из этой коробки ты случайно не собираешься жечь? — спросил я.

— Я их и сожгла. Всю гостиную задымила. Не подумала про заслонку. Ты думаешь, почему мы никогда не разводили камин? Я боюсь огня.

— Я знаю, мама.

— Ой, я же не предложила тебе молока. Хочешь?

— Нет, спасибо. — Я подул на чай и сделал глоток. — А как твой бридж поживает? По-прежнему играешь с подругами?

— Очень редко. Почти все уже умерли. А молодых бридж не интересует.

— Насколько я понимаю, и для вас бридж был только поводом собраться.

— Ты так считаешь? — Мать тихо засмеялась. —

Наверное, ты прав.

Она выглядела уставшей.

— Может, тебе прилечь?

— Да, что-то я утомилась. Лоррейн приготовит ужин. Есть мы будем в семь, но ты приходи к шести на коктейли.

— Хорошо, мама.

* * *

Всякий, кто общается с членами своей семьи, знает: говоря на одном языке, вы не обязательно пользуетесь им по одним и тем же правилам. Неважно, что говорится — важно, что подразумевается. И я понимал: за чаем, даже несмотря на кажущуюся спутанность мыслей или легкую отрешенность, мать пыталась что-то мне сообщить. Тем, что дважды упомянула про дым в гостиной. Тем, что назвала синюю коробку серой. Тем, как легко согласилась, что бридж был для нее только поводом повидаться с подругами. Но поскольку я не знал ее вечно меняющихся правил, то мог лишь догадываться о намерении, а суть оставалась для меня скрытой.

* * *

Отец считал, что путь к смыслу должен быть всегда в гору и как можно труднее. К сожалению, он и меня на это настроил, когда я начал сочинять прозу. Пока я не принес рассказ, который нарочно написал путано и туманно, его моя писанина не впечатляла. А тут он сказал, улыбаясь: “Ну и головоломку ты мне задал, сынок”. Однажды, когда мы стояли перед картиной в музее и я спросил, почему подпись такая неразборчивая, он ответил: “Ты подписываешь картину не для того, чтобы все узнали, кто ее нарисовал, а потому что влюблен в нее”. Заблуждение, конечно, но заблуждение настолько прекрасное, что и сегодня мне хочется в него верить. Думаю, он пытался сказать другое (хотя, разумеется, никогда не стал бы рассуждать в таких категориях): искусство обретает форму помимо воли художника и никогда не бывает простым слепком жизни.

* * *

Лоррейн наняли домработницей еще до моего рождения. Ребенком я ей нравился. Подростком тоже. Потом она наткнулась на слово “блять” в

моей книге — и симпатию как отрезало. С тех пор она была со мной подчеркнуто вежлива: никогда не показывала, что тяготится моим присутствием, но одновременно давала понять, что, если уеду, не огорчится. Насколько я знаю, вне нашей семьи жизни у нее не было. Она брала выходные, но куда уезжала и уезжала ли вообще, неизвестно. Даже лето проводила вместе с нами на заливе. Но не в качестве няни. Если что-то случалось, мы шли к матери. Если нас нужно было куда-нибудь отвезти, мы шли к матери. Но за тарелкой супа или за чистой одеждой бежали к Лоррейн.

— Добрый вечер, мистер Монк, — сказала она, когда мы с сестрой вошли в дом.

— Как ты, Лоррейн? — спросил я.

— Старею понемногу.

— По тебе незаметно, — сказал я.

— Благодарю.

Лиза взяла у меня куртку, чтобы повесить в шкаф, будто я и вправду был гостем. Я обвел взглядом прихожую. В детстве я любил этот дом. Большой, двухэтажный, с множеством комнат, укромных уголков и жилым подвалом, часть которого была превращена в квартиру с отдельным входом, где жила Лоррейн. Теперь же дом казался холодным, хотя батареи вжаривали по полной.

Портьеры на окнах — слишком тяжелыми, перила и дверные косяки — темными и унылыми.

— Миссис Э. уже за столом, — сообщила Лоррейн и повела нас в столовую, будто мы не знали дороги.

Мать не поднялась нам навстречу. Глаза у нее были воспаленные и усталые. Мы наклонились ее поцеловать, и она похлопала нас по щекам.

— Тебя ничего не беспокоит, мама? — спросила Лиза.

— Она сегодня днем не ложилась, доктор Лиза, — сказала Лоррейн.

Мы сели по обе стороны от матери. Я разлил вино, но мать жестом показала, что пить не будет.

— Ты приняла лекарства? — спросила Лиза.

— Приняла. Все три тысячи таблеток, — ответила мать и тут же повернулась ко мне. — Как прошла твоя конференция?

Она явно забыла наш недавний разговор.

— Главное, что прошла.

— Ты делал доклад?

— Да, мама.

— О чем?

— Да ерунда всякая: о романах и литературной критике. Занудная, скучная, бессмысленная ерунда. Я и приехал-то только чтобы тебя повидать.

— Ах ты моя детка! Но почему ты остановился в гостинице, а не здесь со мной?

— Участникам конференции надо жить там, где она проходит. — Я посмотрел на сестру. — А утром я был в клинике Лизы. Вот кто занят по-настоящему важным делом.

— Вся в отца, — сказала мать, и по тону не было ясно, похвала это или нет. Потом спросила:

— Так и ездишь на универсале?

— Да, мама.

Лоррейн принесла горячее. Ростбиф был постный и суховат. Брокколи и цветная капуста переварены, а рис настолько пересушен, что осыпался с вилки. Лоррейн потом еще пару раз заглядывала проверить, все ли в порядке.

Лиза положила вилку, взяла бокал вина и какое-то время держала его, не отпивая.

— Мама, я посмотрела бухгалтерские отчеты и боюсь, тебе придется продать медицинский кабинет отца. Мы за него столько платим, что никаких денег не хватит.

— Твой отец принимал там пациентов.

— Да, мама. У тебя останется другая недвижимость, — сказала Лиза.

— Твой отец открыл этот кабинет в тысяча девятьсот пятидесятом году. Тебя еще и на свете

не было. Биллу был год.

— Увы, я выставляю его на продажу. Другого выхода нет.

Лиза теребила уголки салфетки — нервный тик, оставшийся у нее с детства.

— Твой отец принимал там пациентов, моя дорогая.

— Я знаю, мама, — сказала Лиза и посмотрела на меня.

— Мама… — позвал я.

Мать повернулась ко мне.

— Когда ты в последний раз туда заходила? — Ответа не последовало. — Ты ведь и при жизни отца там практически не бывала. Теперь там все по-другому. Даже снаружи. — Я взял ее за руку. — Лиза знает, как лучше.

— О, Монкси, — всхлипнула мать. — Сладкий мой, добрый мальчик, ты всегда таким был. И умным. Умом ты пошел в отца, ты знаешь об этом?

Я посмотрел на Лизу — она снова взялась за еду.

— Конечно, надо продать этот медицинский кабинет.

— Как все, оказывается, просто, — сказала Лиза. — Одно слово Монка — и ты на все согласна. Господи!

Лоррейн вошла в комнату ровно в тот момент, когда имя ее Господа было помянуто всуе. Она собрала тарелки и, унося их, пару раз укоризненно фыркнула.

Мать пожаловалась на головную боль, и десерт мы ели практически молча. Потом снова появилась Лоррейн и избавила нас от необходимости молчать дальше, объявив, что матери пора спать. Мы поцеловали старушку на ночь и смотрели ей вслед, пока она поднималась наверх, сопровождаемая Лоррейн.

* * *

В машине сестры уже напротив моей гостиницы я извинился за то, что за ужином влез в разговор о продаже отцовского кабинета.

— Нет, ты помог, — сказала Лиза. — Спасибо.

— Я не виноват, что она всегда так на меня реагирует.

— Монк, ты особенный. Я это говорю не потому, что мать так считает, и не потому, что отец так считал. Я сама так думаю. Просто хочу, чтобы ты знал.

Я посмотрел в окно на улицу.

— Я о тебе думаю точно так же.

— Да, я знаю.

Она улыбнулась. Ее улыбка всегда излучала спокойную уверенность — ну почему я не умею так улыбаться? Когда она улыбалась, можно было расслабиться.

* * *

Мы попрощались. Я поцеловал сестру, сказал “до скорого” и направился к гостинице. В лобби меня ждала Линда Мэллори.

— Привет, Линда.

— Весь день думаю о твоем докладе.

— Бедняга.

— Не хочешь потрахаться?

— Нет, Линда, не хочу.

— Я в жутком мраке, — сказала она. — Мне срочно нужен секс, чтобы поднять самооценку.

— Извини, Линда.

Она резко сорвалась с места и, обогнув меня, вихрем вылетела из лобби. Тут я услышал, как снаружи кто-то громко окликнул меня по имени. Обернулся, смутившись от того, что служащие гостиницы и пара гостей смотрят в мою сторону. Вышел на улицу. На узкой дорожке, ведущей через двор, стоял Дэвис Гимбел.

— “По небу раскатился вой. Такое случалось

и прежде, но теперь его не с чем сравнить”[9], — сказал он.

Его слова не произвели на меня особого впечатления, но свидетельствовали о психической неуравновешенности и предельной степени взвинченности того, кто их произнес. Гимбел явно находился в привычном для себя состоянии постмодернистского аффекта. За спиной тщедушного профессора, облаченного в кожаный бомбер, стояли Линда Мэллори, изнывавшая от сексуальной неудовлетворенности, и три интеллектуально-бездомных доцента, которым не терпелось насладиться зрелищем мордобоя.

— В чем дело, Гимбел? — спросил я.

— Теперь его не с чем сравнить, — сказал он.

— Допустим. — Я спустился с крыльца, чтобы не привлекать к этому фарсу внимания персонала и постояльцев гостиницы. — Слушай, мне очень жаль, что тебе не понравился мой доклад, но, боюсь, ты его не так понял. Я про вас, ребята, не только никогда не пишу, но, честно сказать, даже не думаю.

Это его по-настоящему взбесило. Он обошел меня вокруг, на всякий случай сохраняя дистанцию,

---

[9] Примечания: 9

Первая строка из романа Томаса Пинчона “Радуга тяготения” (пер. А. Грызуновой и М. Немцова).

и пару раз даже ударил себя кулаком в грудь.

— Значит, ты презираешь постмодернистскую литературу, да? — сказал он. — Нам не хватило времени закончить то, что мы наметили, как любому авангардному течению.

Я посмотрел на его лицо в свете фонаря и луны, и отметил, что злоба не делала его ни уродливее, ни краше.

— А что вы наметили?

— А то ты не знаешь? Ты и тебе подобные перекрыли нам кислород.

— Я и мне подобные? — Этот выпад я решил пропустить. — Кислород перекрыли? Тем, что просто не обращали на вас внимания?

— Все вы. Ваша культурная среда. Ваше стадо. Ты лишь один из баранов.

— Ну, что ты городишь? Ты пьян?

Он продолжал кружить вокруг меня. Пара случайных прохожих остановилась у ворот поглазеть.

— Конечно, авангардное движение, достигшее своей цели, перестает быть авангардным. Его задача отвергать или разрушать устоявшиеся механизмы творчества, и значит, по определению, оно обречено оставаться незаконченным. Ты хоть понимаешь, о чем я говорю? Мы вымершие

творцы вымершего искусства.

— Знаешь, в чем твоя беда, Гимбел? — сказал я, отклоняясь от него. — Ты и правда думаешь, что ахинея, которую ты несешь, исполнена смысла. Теперь, если позволишь…

Тут-то кукольный хемингуэйчик и попытался меня ударить. Я сделал шаг в сторону, увернувшись от его кулака, и, увлекаемый им, Гимбел улетел в куст азалии. Линда и другие творцы вымершего искусства бросились его поднимать. Я лишь пожал плечами, как бы извиняясь перед случайными зрителями, и направился к двери.

Привстав на колени, Гимбел, выкрикнул:

— Постмодернистская литература налетела и умчалась, как вихрь, а ты все прошляпил. И ничего-то тебе, Эллисон, не осталось, как только исходить ядом.

Я замер, пораженный тем, что этот человек пришел со мной драться из-за доклада, который едва ли был написан всерьез. Поглядев на них с высоты гостиничного крыльца, я сказал:

— Я не хочу умалять того, что ты делаешь, Гимбел. Мне глубоко плевать, что ты делаешь.

Гимбела с трудом поставили на ноги. Он расправил плечи и выпятил грудь.

— Я беру читателей за грудки и встряхиваю. Ли-

шаю комфорта. Переворачиваю представления об истории, культуре и психологии, разрушая привычную связь между словами и вещами. Сталкиваю лбами язык и реальность. И все это играючи, без усилий, хотя постмодернизм, которому я отдал жизнь, и умирает.

Клака зааплодировала.

— Тебе сексом надо заняться, и как можно скорее, — сказал я, покачал головой и скрылся за дверями гостиницы.

* * *

1933 год. Эрнст Барлах[10] похрустывает костяшками пальцев, а на столе перед ним в чашке остывает чай. “В последнее время у меня все время болят руки”, — говорит он.

Пауль Клее[11] кивает, отхлебывает из своей

---

[10] Примечания: 10

Эрнст Барлах (1870–1938) — немецкий скульптор, художник и писатель. Реалист и экспрессионист. В 1937 году его работы были изъяты из музеев, церквей и других общественных мест и осуждены как “дегенеративное искусство”.

[11] Примечания: 11

Пауль Клее (1879–1940) — немецкий и швейцарский художник, график, теоретик искусства, один из крупнейших представителей европейского авангарда. С 1931 по 1933 год преподавал в Дюссельдорфской академии художеств. С приходом к власти нацистов против Клее была развернута травля. В печати его называли “типичным галицийским евреем”.

чашки. Он тоже огорчен. Его только что уволили из Дюссельдорфской академии художеств.

— Они называют меня сибирским евреем.

— Кто? Писаки из Das Schwarze Korps[12]?

— Кто же еще? И жгут книги с нашими иллюстрациями.

— Меня они называют спятившим русским.

— В обоих случаях — в точку.

Эрнст смеется.

* * *

эккарт[13]: *Знаешь, Адольф, у меня есть роман.*

гитлер: *Не томи, Дитрих.*

эккарт: *Я назвал его “Утро”. Главный герой, по сути, я сам. Непризнанный литературный гений, морфинист, который умеет справляться со своею сладкой зависимостью.*

гитлер: *Надеюсь, это так же мощно, как твой стихотворный сборник. В твоих стихах столько муки и подлинной красоты, что они пронзают*

---

[12] Примечания: 12

“Черный корпус” *(нем.)* — официальная газета СС. Выходила в 1935–1945 гг.

[13] Примечания: 13

Дитрих Эккарт (1868–1923) — немецкий журналист, драматург, поэт и политик. Был одним из основателей Немецкой рабочей партии. Оказал ключевое влияние на Адольфа Гитлера в начальный период нацистского движения.

сердце любого читателя.

эккарт: *Меня просто бесит, что слава пришла ко мне благодаря переводу этого чертова норвежца. Я же ненавижу "Пер Гюнта".*

гитлер: *Но ты преобразил его, и теперь он отзывается в каждой немецкой душе. В этом секрет его популярности. Перевод многому тебя научил. Благодаря ему родились твои патриотические произведения, в которых ты обличаешь истинную порочную суть евреев. Я буду вместе с тобой сражаться с этими троллями.*

эккарт: *Они уничтожат немецкую культуру, если их не остановить.*

гитлер: *Значит, мы их остановим.*

* * *

эккарт: *Я ein Judenfresser*[14].

гитлер: *Я тоже.*

эккарт: *До сих пор не укладывается в голове, что мы проиграли войну. Но вот эти мои брошюры объяснят нашему народу причины поражения. Самый страшный наш враг был не в окопах.*

гитлер: *Эта как называется?*

эккарт: *Эту я назвал "Иудаизм в нас и вокруг*

---

[14] Примечания: 14
Пожиратель евреев *(нем.)*.

нас”.

гитлер: *Мне понравилась “Австрия под звездой Иуды”.*

эккарт: *Похоже, она всем нравится. А брошюру “Это еврей” я отправил одному профессору, который вернул мне ее с припиской: текст полон ненависти. Я поставил его на место. Написал: “У нас говорят, что войну* 1866 *года выиграл немецкий школьный учитель. А мировую еще в 1914-м проиграл профессор”.*

гитлер: *Это он запомнит.*

эккарт: *Я задумал газету, еженедельник. Назову ее “Auf gut Deutsh”*[15]*. И вот еще что. Тебе стоит вступить в Общество Туле*[16]*.*

гитлер: *Я уже вступил.*

эккарт: *Тогда давай вместе скажем его девиз.*

гитлер *и* эккарт: *“Помни, что ты немец. Соблюдай расовую гигиену”.*

* * *

Эти зарисовки для будущего романа пришли

---

[15] Примечания: 15

На хорошем немецком *(нем.).*

[16] Примечания: 16

Общество Туле — немецкое оккультное и политическое общество в рамках немецкого расистского националистического движения.

мне в голову в самолете на обратном пути в Лос-Анджелес. Вдохновили лица придурков у входа в клинику сестры. Хотя, должен признаться, меня давно занимало то, как Гитлер относился к художникам: он напоминал мне многих моих знакомых, отстаивавших чистоту в искусстве. Но те лица, залитые ненавистью и страхом, жаждущие контролировать других, с картофельными глазка́ми вместо глаз, с пеной у рта… В ушах все еще звучали их голоса, называвшие мою сестру убийцей. Надсаженные от крика, они скорее походили на скрежет, который издает при скручивании металл.

* * *

В самолете же то ли в “Атлантик мансли”, то ли в “Харперс” я прочитал рецензию на книгу Хуаниты Мэй Дженкинс “А жывём мы в гетто”, ставшую в одночасье бестселлером:

Хуанита Мэй Дженкинс создала шедевр афроамериканской литературы. В нем явственно слышны голоса ее соплеменников, населяющих мир, который не спутать ни с каким другим. Это Америка чернокожих.

В начале книги Шаронда Ф’ринда Джонсон —

типичный чернокожий подросток, живущий в одном из американских гетто. Шаронде пятнадцать, и она ждет третьего ребенка, при этом все ее дети от разных отцов. Она живет с матерью-наркоманкой и умственно отсталым братом по имени Джунбой, который увлечен баскетболом. Когда Джунбой гибнет на баскетбольной площадке, попав под перекрестный огонь двух противоборствующих группировок (пуля проходит сквозь его любимый баскетбольный мяч с автографом Майкла Джордана), Шаронда, видя безутешное горе матери, решает заявить о себе в культуре.

Она становится проституткой, чтобы заработать на уроки танцев в общественном центре. В классе чечетки ее физические данные привлекают внимание продюсера бродвейского шоу, и тот дает девушке шанс. Шаронда достигает вершин, покупает матери дом, но вредные привычки берут свое, и она вновь оказывается у разбитого корыта.

Сюжет, безусловно, захватывает, но главное достоинство книги — ее пугающая достоверность. Гетто изображено во всей его экзотической притягательности. Там рыщут хищники, гибнут невинные жертвы. И все же в финале

автор протягивает нам луч надежды: мы расстаемся с Шарондой в тот момент, когда она пытается скопить денег и вызволить своих детей из-под опеки государственных органов. Таким образом Шаронда превращается в олицетворение символа женской силы — чернокожую матерь всех матерей.

— Что с вами? — спросила моя соседка.

5

Когда я прилетел в Лос-Анджелес, шел дождь. Настоящий южнокалифорнийский ливень, размывший склоны и смывший дома, затопивший части Ньюпорта и Лонг-Бича и ставший причиной повсеместных заторов. Домой я ехал с камнем на сердце — не потому, что пришлось стоять в пробке, глядя на неподвижное море задних габаритных огней, и не потому, что предстояло вернуться к преподаванию (до конца семестра оставалось еще две недели), а просто смутное беспричинное беспокойство, как будто что-то было не так. Я махнул рукой — все равно ничего не изменишь. Добравшись наконец до своего дома в Санта-Монике, я почистил зубы (не слишком усердствуя по совету моего стоматолога, переданного мне гигиенистом, — сам стоматолог не удостоил меня своим вниманием), но и не шаляй-валяй, чтобы хотя бы зубной камень не разъедал меня изнутри, и лег. Заснул, едва коснувшись подушки, и увидел сон. Сначала мне приснился отец, который рассказывал про то, как

однажды Пол Робсон[17] вдруг запел в пляжном кафе мисс Мэдсен и как Пол Лоренс Данбар[18] декламировал свои стихи, расхаживая по пирсу. Потом я стоял на этом пирсе один, совсем юный, но не в том нежном возрасте, когда ночью одному страшно. Луна была полной и яркой в кольце короны. Казалось, что где-то далеко, чуть ли не в самом конце сияющей лунной дорожки я мог разглядеть, как вздрагивает поверхность воды, потревоженная стайкой луфарей. Потом рядом возникла сестра. Она хотела сказать что-то важное, но никак не решалась, ходила вокруг да около, и это было на нее не похоже. “Ты просишь у меня помощи?” — спросил я, и она стала отвечать, но слов я не понимал, только видел, что она встревожена. “Что-то с матерью?” — спросил я. Сестра снова затараторила, но теперь ее слова проваливались, как в яму — я их тут же забывал. Потом она сказала: “Ты его видел?” Я спросил: “Его — кого?” Вопрос так ее насмешил, что к разговору о важном она уже не вернулась. Потом я

[17] Примечания: 17
Пол Робсон (1898–1976) — американский певец, актер театра и кино, прославившийся как своими достижениями в области культуры, так и политической активностью.

[18] Примечания: 18
Пол Лоренс Данбар (1872–1906) — афроамериканский писатель и поэт. Считается одним из первых афроамериканских писателей, получивших широкую известность и признание.

проснулся.

* * *

Все суждения одинаково значимы[19].

* * *

На следующее утро я прошел через просторную заднюю комнату, служившую мне столярной мастерской, и наконец занялся разбором почты, зная, что меня дожидается письмо от моего литературного агента. Я уже некоторое время раздумывал, стоит ли с ним дальше сотрудничать, ибо все чаще не без горечи замечал, что он считает мои книги недостаточно коммерческими, чтобы на них зарабатывать. Так, конечно, и было, но мне казалось, что поддерживать меня в состоянии оптимистического заблуждения является частью его работы. С другой стороны, он никогда не отказывался рассылать мои рукописи, пусть и себе в убыток. Письмо литературного агента было коротким: он предлагал ознакомиться с письмом из издательства с отказом публиковать мой последний роман:

---

[19] Примечания: 19

Одно из положений “Логико-философского трактата” Людвига Витгенштейна.

Дорогой Юл,

Спасибо, что дал возможность взглянуть на очередной опус Т. Эллисона. Впрочем, кого я обманываю? На что ты рассчитывал? Проза, безусловно, интеллектуальная, этого не отнять. Много выдумки, крепко сбито, написано мастерски, но ведь чушь собачья! Рынку такое не по зубам. И вообще, для кого он пишет? Он что, в пещере живет? Сейчас все брошу — и пойду читать, как Аристофан и Еврипид убивают молодого талантливого драматурга, а потом рассуждают о смерти метафизики? Ну серьезно?

Благодарю покорно.

Всех благ,

Хокни Гувер

* * *

Иногда на рыбалке я чувствую себя настоящим криминалистом. Изучаю воду, рельеф берега, прочесываю дно сачком и рассматриваю личинки водных насекомых. Наблюдаю за поведением наземной живности. Выбираю мушку, связанную тут же на берегу, выдергиваю пару ворсинок из свитера и добавляю к даббингу, добиваясь нужного оттенка. Забрасываю мушку, прячась за камнем или в высокой траве, и терпеливо жду.

А бывает, что просто насаживаю на крючок катышки ворса из кармана и закидываю с крупного валуна. Никогда не известно, что сработает. Все зависит от форели.

* * *

Все на свете кончается, закончился и семестр, принеся приятную новость: меня наконец утвердили в должности профессора. Но даже это не улучшило настроения — отказ напечатать мой семнадцатый по счету роман вогнал меня в депрессию.

— Ты для них недостаточно черный, — сказал мой агент.

— Что это значит, Юл? Откуда они вообще знают, черный я или белый? И какая разница?

— Опять двадцать пять. В первой книге на обложке есть твое фото. Где-нибудь тебя видели. Да мало ли откуда? Или ты станешь утверждать, что это не так?

— То есть им нужно, чтобы мои персонажи расчесывали свои афро и называли друг друга “нигга”?

— Это не повредит.

Я буквально онемел.

— Посмотри на книгу Хуаниты Мэй Дженкинс.

Улетает с прилавков. Права на издание в мягкой обложке ушли за пятьсот тысяч.

Я хотел сказать: “Рад за нее”, но это было бы лицемерием.

— Она графоманка, — сказал я. — Даже хуже. Графоманы хотя бы писать умеют.

— Да, фуфло, знаю, но за него платят. Это бизнес, Телониус.

Возразить было нечего. Я опустил трубку на рычаг и уставился на телефон.

* * *

И тут телефон снова зазвонил. Это была Лоррейн. Голос очень расстроенный.

— Что-то с матерью? — спросил я. — Лоррейн?

— Нет… Доктор Лиза…

— Что с Лизой?

— Ее застрелили.

— Что?

— Доктор Лиза мертва.

От растерянности я положил трубку. Внутри все похолодело. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Я с трудом вспомнил номер брата и набрал его.

— Билл, мне только что позвонила Лоррейн.

— Да, мне тоже.

— Увидимся дома.

* * *

Я часто пилю доски без всякой цели. Мне нравится сам процесс: запах стружки, звук вгрызающейся в волокна пилы, ручной или циркулярной. Могу часами отрабатывать скосы на фрезерном станке, вести резку под разными углами, множить груду конических ножек. Тянуло включить циркулярку и распустить доску, но надо было ехать в аэропорт. Надо было добраться до Вашингтона и выяснить, что имела в виду Лоррейн, когда сказала: “Доктор Лиза мертва”. Надо было встретиться с Биллом у матери и понять, почему там нет Лизы. Садясь в самолет, я не знал практически ничего. Если бы сосед по креслу спросил, зачем я лечу, пришлось бы ответить: “Не знаю”. Или: “Лоррейн сказала, что застрелили мою сестру”, и тогда сосед по креслу знал бы столько же, сколько я.

* * *

То, что предложение вообще можно понять, само по себе невероятно. Всего лишь звуки, соединенные в определенной последовательности,

чтобы донести некий смысл. Однако смысл вовсе не обязан — и на деле не подчиняется — нашим намерениям. Эти звуки, выстроенные в особом и неповторимом порядке, никогда не меняются, но меняются постоянно. Даже если предложение безграмотно, смысл присутствует. Даже если не понимаешь слов, смысл присутствует. Даже если семантические связи самые общие или строго категориальные, смысл присутствует. Даже если язык высказывания нам незнаком, смысл присутствует. Смысл может быть внутренним, внешним, периферийным — без всякого пропозиционального содержания. Язык никогда не исчезает полностью, но способен создать иллюзию своего отсутствия, тем самым подчеркивая первенство смысла.

* * *

Парафразировать метафору невозможно.

Предположить, что Билл — гомосексуал, было нетрудно, даже если это не соответствовало действительности. Он любил проводить время в мужских компаниях, но искал в них совсем не то, что обычно ищут гетеросексуалы. Уже в школе я понял, что манерность не обязательно связа-

на с сексуальной ориентацией. Наш учитель физкультуры, который выглядел и вел себя так, будто ест на завтрак исключительно железнодорожные костыли, был гей, и знал я это не потому, что он держал руки особым образом, не потому что заигрывал со мной или задерживался у душевой, когда мы мылись, а потому что однажды поздним вечером я увидел его на улице за руку с мужчиной. Первой реакцией был шок, но он быстро прошел. И тогда я понял, что просто ему завидую. Он казался на седьмом небе от счастья: держал друга за руку, наслаждаясь вечером. Мне страшно захотелось идти так же, как эти двое — за руку, только с девочкой.

Билл встречался с девушками, но каждый раз раздраженно и неохотно. Не знаю, что думали об этом отец с матерью. Если бы что-нибудь заподозрили, скандал был бы грандиозный. Оба довольно резко отзывались о размалеванных, переодетых в женщин мужчинах, разгуливавших по улице по соседству с отцовским кабинетом, но важнее другое: никто в то время не думал, что у людей бывают “сексуальные предпочтения”, отсутствовало само понятие. Геев отец почему-то называл аями. Откуда взялось это слово, мне так и не удалось выяснить.

* * *

Как-то я ехал на рыбалку по шоссе 395 к южному рукаву реки Керн[20]. Останавливаюсь перекусить на пересечении с 178-м. Разгар лета, только-только начинает смеркаться, и атмосфера немного зловещая — время, когда отовсюду выползает всякая странная публика. Сижу в кабинке, и официантка со следами былой красоты обращается ко мне “мой сладкий”, а в кабинке за моей спиной два парня болтают друг с другом по-французски. В дороге лучше всего есть, не думая о вреде здоровью, иначе останешься голодным. Ковыряю вилкой то, что в меню называлось жаренной в панировке куриной грудкой, и не могу обнаружить ни грудки, ни панировки, хотя что-то действительно пожарено. В этот момент в ресторан с шумом вваливается пара упырей — жилистые, в сетчатых бейсбольных кепках, с лицами, не тронутыми интеллектом. Слух у обоих чуткий, и, хотя определить, какой именно язык доносится из кабинки за моей спиной, им

[20] Примечания: 20

Южный рукав реки Керн — один из притоков реки Керн в восточной Калифорнии, в Сьерра-Неваде. Популярное место для рыбалки и походов; примерно в трех часах езды к северу от Лос-Анджелеса.

не под силу, сразу понимают, что “инасраный”. Усевшись за стойкой, они недобро поглядывают в сторону французов, потом не выдерживают и подходят к ним.

— Вы че, голубцы? — спрашивает более худой и высокий из двух.

— Голубцы? — переспрашивает один из французов.

— Ну, гомики, — поясняет второй — с длинными ногтями, дремучий, ходячий рассадник бактерий.

— А, гомики, — говорит француз. — *Oui*.

— Уи, — первый упырь смотрит на второго и усмехается. — Пойдем выйдем, мы вам наваляем.

— Я не понимаю, — говорит второй француз.

Видимо, второй упырь начинает на него наступать. Я это понимаю по встревоженному лицу официантки и по тому, как она выкрикивает, что ей не нужны неприятности.

— Пошли, пидоры. Или зассали? Двое на двое. Все по чесноку.

— Вообще-то двое на трое, — говорю я. И отправляю в рот наколотый на вилке кусок.

Первый упырь идет посмотреть, кто это там вякнул, потом, смеясь, говорит приятелю:

— По-моему, мы этому черножопому не понравились.

Пока я жую, стараюсь вспомнить все психологические понты, которыми овладел, когда был щуплым подростком.

— Ты тоже пидор? — спрашивает упырь.

Жестом даю понять, что отвечу, когда дожую. Он слегка озадачен, и на сотую долю секунды в его глазах возникает испуг.

— Возможно, — говорю я.

— Тоже махаться хочешь?

Махаться я не хочу, но, по сути, мы уже машемся. Я говорю (и до сих пор вспоминаю об этом с гордостью):

— Окей, махаться так махаться. Но учти: это одно из самых важных решений в твоей жизни.

Я явно перебираю с понтами. С перепугу упырь приходит в ярость, отпрыгивает назад и требует, чтобы я встал. Теперь уже у меня сердце уходит в пятки: неужели придется делать то, в чем я никогда силен не был, — орудовать кулаками. Я встаю — не то чтобы совсем хлюпик, но явно не крупнее этих двух. “Вы тоже вставайте”, — кричит второй упырь геям.

Те встают, и мне до сих пор жаль, что не было под рукой фотоаппарата, чтобы оставить на

вечную память потомкам рожи этих заштатных олухов. Французы оказываются здоровенными, под два с лишним метра, и такие крепкие, пышущие здоровьем. Реднеки пятятся, спотыкаясь, и выскакивают из ресторана.

Французы приглашают меня за свой столик, а меня разбирает смех, но смеюсь я не над реднеками, а над собой: с какой стати я решил, что французы не справятся сами?

C'est plus qu'un crime, c'est une faute[21].

* * *

Я представил, как Лиза осматривает пациентку — маленькую девочку, имя которой сестре явно не нравится. Она заглядывает ей в уши, шутит, спрашивает, любит ли та фиолетовый цвет, потому что у нее даже горло фиолетовое. Ребенок смеется, а сестра строго обращается к матери и выписывает рецепт на антибиотики. Потом она провожает их по коридору в приемную, где при виде моей сестры испуганно ерзает на стуле другая девочка, ожидающая своей очереди. Регистраторша что-то говорит Лизе, протягивая

---

[21] Примечания: 21
Это хуже, чем преступление, это ошибка *(фр.)*.

бланк. Лиза достает из нагрудного кармана халата ручку, делает пометки и ставит подпись. В этот момент девочка дергает Лизу за юбку, и наступает полная тишина. Моя сестра смотрит вниз, вопросительно приподняв брови. Снова слышны звуки: звон разбитого стекла, крики, лязг отодвигаемых стульев. С губ сестры слетают слова, которые даже мое воображение не в силах разобрать; еще миг — и ее больше нет.

* * *

Когда в дверь позвонили полицейские, мать решила, что пришли снять показания газового счетчика. Ей сообщили о случившемся. Женщина-офицер сказала: “Она скончалась на месте”.

Мать расстегнула и застегнула застежку на ремешке наручных часов, потом сказала: “Спасибо, что поставили в известность. Не могли бы вы сказать об этом Лоррейн?” Она позвала Лоррейн в комнату.

От ужаса при виде полицейских у Лоррейн задрожали руки.

— Лоррейн, — сказала мать, — эти милые люди хотят тебе что-то сообщить. Я пойду наверх. Прилягу после обеда.

* * *

В аэропорту Рейгана я взял такси. Ехал через Потомак по мосту Четырнадцатой улицы и глядел на реку. С горечью вспомнил все Лизины детские огорчения: когда я обижал ее случайно; когда я обижал ее нарочно; когда какой-то парень не ответил на ее чувства; когда оценки оказались ниже, чем она ожидала; когда Билл не обращал на нее внимания; когда я не обращал на нее внимания; когда мать уделяла мне больше внимания, чем ей. Я восхищался сестрой, но почти не знал ее. Виноват в этом был только я, потому что она умерла, и на нее вину уже не переложишь. Это были глупые мысли, и я их от себя отогнал, задумавшись о своих семейных обязанностях.

Дверь открыл брат. Мы обнялись, ощутив себя еще более далекими, чем до встречи, хотя горе было общим и неподдельным. Разжав объятья, посмотрели друг другу в глаза.

— Как мама? — спросил я.

— Спит, — сказал Билл. — Я дал ей снотворное. Приехал пару часов назад. Лоррейн в ужасном состоянии. Ей я тоже дал снотворное.

— Может, потом и мне дашь? — сказал я. — Ты понял, что произошло?

— Кто-то выстрелил с улицы и убил Лизу, — сказал он. — Я говорил с полицейскими полчаса назад. Стреляли из винтовки.

Я прошел в гостиную и сел на диван.

— Его задержали? — спросил я. Глупый вопрос, лишний. Какая разница? Лизу это не вернет к жизни. — Установили мотив?

— Думают, фанатик. Из этих, которые против абортов.

— Прямо как в Мэриленде. Мы с Лизой об этом говорили, когда я был здесь, — сказал я. — Господи! В голове не укладывается. Думал приеду — и Лиза откроет дверь.

— Я тоже.

— Пойду поднимусь к матери, — сказал я.

— Поднимись. Она плохо соображает. Потом надо бы съездить к Лизе порыться в ее бумагах. Может, есть какие-нибудь распоряжения.

* * *

Мать и правда плохо соображала. Она подняла на меня затуманенный отсутствующий взгляд и приняла за отца.

— Это ты, Бен? Отняли нашу девочку.

— Нет, мама, это я, Монк. Отдыхай, ладно? — я помог ей опустить голову на подушку. — Поспи.

— Детка моя мертва, — сказала она. — Нет больше моей доченьки.

* * *

клее: *О чем ты думаешь?*

кольвиц[22]: *Почему садисты такие ханжи? Почему их так бесит сексуальность и обнаженное тело?*

клее: *Ты про коротышку с усиками?*

кольвиц: *Хорошо, что ты вовремя уехал. Я вот не смогла бросить дом. Но вернемся к тому, о чем говорили. Безобидные нимфетки Мюллера пугают этого людоеда и таких, как он, не меньше, чем Кирхер*[23].

клее: Ferkel Kunst[24].

кольвиц: *Что?*

клее: *Так он обозвал то, чем мы занимаемся.*

---

[22] Примечания: 22

Кете Кольвиц (1867–1945) — немецкая художница, график и скульптор, потерявшая сына Петера Кольвица на Первой мировой войне и внука Петера Кольвица на Второй.

[23] Примечания: 23

Отто Мюллер (1874–1930) и Эрнст Людвиг Кирхнер (1880–1938) — немецкие художники, представители немецкого экспрессионизма.

[24] Примечания: 24

Дословно: “поросячье искусство” *(нем.).* Такого термина в действительности не существовало. Но был другой. Дегенеративное искусство называли *Afterkunst* — “заднепроходное искусство”.

кольвиц: *Я потеряла сына в Первую мировую войну, а в эту могу потерять внука. А на убой их отправил человек, который боится собственной пипки.*

клее: *Не только собственной.*

кольвиц: *Они создали новое ведомство: Комиссию по определению ценности конфискованных произведений дегенеративного искусства. Продают наши картины иностранцам. Что смогли — продали за бесценок, остальное сожгли. Я бы хотела смешать пепел из этого костра со своими красками.*

клее: *Прекрасная мысль.*

кольвиц: *Ты только представь себе запах этого пепла.*

клее: *Вот уж действительно.*

* * *

В квартире сестры все говорило о любви к жизни. С тех пор как Лиза повзрослела, я ничего не знал о ее вкусах и предпочтениях. Ей нравились пастели. Она слушала R&B. Собирала цветные фотографии лошадей и птиц. Ее кровать была аккуратно застелена. В кухне — чистота. В ванной — сладковатый запах. Возле раковины стояла шкатулка для колец, которую я смастерил ей

четыре года назад. На крышке — инкрустация из клена с темными прожилками. Я ясно вспомнил, как вырезал узор, надеясь, что инкрустация доставит сестре столько же радости, сколько мне доставила работа над ней. Я снял крышку и рассмотрел узор. Он потемнел от времени, но все еще был заметно светлее черного дерева шкатулки. Внутри лежало одно-единственное кольцо — видимо, обручальное.

* * *

Лиза хотела, чтобы ее кремировали, и мы исполнили ее волю. Тело сестры сожгли, пепел собрали в урну, урну привезли домой и поставили на полку над тем самым камином, который никогда не топили. Мать плакала, Лоррейн плакала. Пациенты, сотрудники клиники, врачи, работавшие с Лизой, и даже ее бывший муж (правда, без новой жены) тоже плакали. Все они пришли на поминальную службу в Епископальную церковь, которую никто в нашей семье не посещал. В юности я презирал религию. Потом стал более терпим и смотрел на обряды даже с некоторым любопытством — как на спектакль, участникам которого не хватало души и воображения. Вот и на поминальной службе они обратились к Богу,

произнесли все заученные слова, и хотя бы Лоррейн полегчало. Потом мы вернулись домой и немного посидели на кухне. Точнее, посидели мы с Биллом — матери и Лоррейн он дал снотворное, и они быстро уснули.

* * *

Билл спросил, продолжаю ли я делать стулья.

Я ответил, что да. И наконец поинтересовался, почему не приехала Сэнди с детьми.

Он сказал, что они в Аризоне.

Билл спросил, когда у меня выйдет новая книга.

Я сказал, что веду переговоры с издательствами.

Он не спросил, о чем она.

Я снова спросил, почему не приехала Сэнди с детьми.

Билл сказал, что признался ей в том, что он гей, и она подала на развод. Забрала детей, дом, деньги — все. Теперь никто не хочет у него оперироваться, потому что все знают, что он гей.

Я спросил, как такое возможно.

Он сказал: “Это Аризона”.

Он сказал: “В сущности, это справедливо. Я лгал Сэнди пятнадцать лет. Подвергал ее жизнь опас-

ности. Так она, во всяком случае, думает, и судья с ней согласился. Я перевернул у детей их картину мира, и пройдут годы, прежде чем они оправятся от потрясения. А могут никогда не оправиться. Правильно, что все у меня отняли. Я не могу смотреть детям в глаза. Я должен выплачивать больше, чем зарабатываю. И живу в Аризоне".

* * *

Я сочувствовал брату. То, что он с таким пониманием отнесся к реакции жены и состоянию детей, произвело на меня сильное впечатление. Жаль только, что больше всего его угнетала не вина перед семьей, а необходимость выплачивать больше, чем он зарабатывает. Мать нуждалась в уходе, и я понял, что на помощь Билла можно не рассчитывать. Лоррейн была ненамного моложе матери, и, возможно, ей тоже скоро потребуется уход, а я что-то не припомню, чтобы у нее была другая семья. Все это ложилось на мои плечи. Я представил, как изменится моя жизнь, — и меня охватила дрожь, заныла голова, зачесалась шея. Сидя за столом напротив Билла, я уже мысленно паковал вещи у себя дома в Санта-Монике.

О, я несчастный! Безбожник, не нашедший той возвышающей *лжи*, в которую смог бы пове-

рить. Жертвую собой ради близких, люблю не по зову души, а из чувства долга и — быть может, самое важное — пытаюсь дотянуться до сестры. Возникло чувство, будто я больше не волен распоряжаться своим временем: сплю, хожу и ем с включенным секундомером. В моем воображении я уже сказал матери, что скоро вернусь, взял отпуск за свой счет в университете, отвез мебель в хранилище, сложил чемоданы, сел на Локхид L-1011[25] рядом с ровесницей матери — восьмидесятидвухлетней старухой, летевшей в Джорджию на ежегодный съезд любителей роз, и поселился у матери с Лоррейн.

В гостиной было слишком натоплено, хотелось открыть окно. Я заварил себе чай и попробовал справиться с внутренним беспокойством. Прислушался к звукам старого дома — дома моего детства, дома, в котором мы не были чужими с сестрой. Билл спал. Мать и Лоррейн давно спали. Дом поскрипывал через определенные интервалы; я наконец уловил их ритм и стал считать его вздохи, жалобы и недовольства. Я подумал, что, возможно, уговаривать себя на переезд в Вашингтон и в этот дом пока еще рано, но отогнать эти

[25] Примечания: 25

Гражданский пассажирский самолет, совершавший регулярные рейсы между Восточным и Западным побережьем США до 2001 г.

мысли не получилось. После печальной исповеди брата *de jure* я все еще продолжал уклоняться от семейных обязанностей, но *de facto* меня уже мучило чувство вины, и значит, переезжать или нет было делом решенным, делом времени.

6

Втексте между абзацами, строками и даже словами могут стоять пробелы. Белые пятна текста, его контрформы, безусловно, являются частью повествования, несут на себе смысловую нагрузку, хотя чаще всего эта нагрузка ничтожна. Но что интересно: повествование всегда движется только в одном направлении — вперед, и контрформы движутся в фарватере. Пробел никогда не возвращает нас к предыдущему отрывку и не стирает уже прочитанного.

В сложившейся ситуации самым разумным казалось взять отпуск за свой счет. Поговорив с матерью, я убедился, что она действительно плохо ориентируется в происходящем, но не настолько, чтобы помещать ее в какую-нибудь богадельню. Она привыкла к своему дому, все в нем знала, знала Лоррейн, да и с Лоррейн в этом случае непонятно что было делать. Самым печальным было то, как буднично, без всяких эмоций я рассчитал, что через год мать, скорее всего, умрет и можно будет вернуться в Калифорнию. До чего же мне стало мерзко, когда я поймал

себя на этой мысли.

* * *

Хуанита Мэй Дженкинс пришла на ток-шоу Кении Данстон. Популярная телеведущая выбрала “А жывём мы в гетто” для обсуждения в своем книжном клубе. На экране объятья, счастливые лица зрителей, потом гость и ведущая садятся рядом.

— Ниче так ты книгу накатала, подружка, — говорит ведущая.

— Спасибо, — говорит Дженкинс.

— Триста тысяч экземпляров продали, — произнося это, Кения качает головой и цокает языком.

Аплодисменты в студии.

— Я знаю, самой не верится, — говорит Дженкинс.

— Ох, и разбогатеешь, подружка! Книга — супер, но расскажи: как ты научилась вот так писать?

— Талантливая, наверное.

— Как пить дать. — Кения подмигивает в камеру, смех в студии. — Но прежде, чем мы поговорим о книге, расскажи немного о себе. Ты ведь, кажется, не из южных штатов, да?

— Нет, я из Огайо, родилась в городке Акрон. Когда мне было двенадцать, провела пару дней у

родственников в Гарлеме. Столько всего увидела, что хватило на роман.

— Все персонажи такие узнаваемые и разговаривают прямо как в жизни! Честно скажу: я обалдела — это ж твоя первая книга. Где ты училась?

— Два года в Оберлинском колледже, потом переехала в Нью-Йорк.

— Любовь-морковь?

— А что, бывает иначе?

Смех в студии.

— Но не сложилось, — продолжает Дженкинс.

— Никогда не складывается.

— Это точно. Поэтому пошла работать в издательство. Посмотрела, как из рукописей делают книги, и подумала: а где книги про нас? Где наши истории? Ну, и написала “А жывём мы в гетто”.

Аплодисменты. Лица зрителей. Умиление. Улыбки.

— И попала реально в яблочко, — говорит Кения.

— Типа того.

— На фильм права уже куплены? — Кения снова подмигивает в камеру.

Дженкинс кивает.

— За мильоны?

Дженкинс смущенно уходит от ответа.

— Короче, кучу бабок огребла, да, подружка? — Кения шлепает гостью по коленке.

— А чем мы хуже белых? Нам тоже денежки пригодятся, — говорит Дженкинс.

Овации, одобрительный свист.

— Вот маленький отрывок из книги — открываю наугад, — говорит Кения.

— Йо, Шаронда, на пажар, штоль? — спрашывает Донна, када я выбигаю из дома.

— Не твая дела. Дапустим, ваптеку.

Аглядывуюсь на дверь, нет ли мать.

— Ваптеку? Че вдрук? — спрашываит она.

— Дагадайся, — гаварю.

— Хринасе, — гаварит Донна. — Опять залителa?

— Пахожа на то.

Зрители дружно ахают.

— Ниче так разговорчик воссоздан, — говорит Кения.

— Спасибо.

— Не хочу спойлерить, но мой любимый момент — когда Шаронда первый раз выступает с чечеткой в бродвейском шоу. Это такое мимими. — Кения улыбается, глядя на Дженкинс,

потом поворачивается лицом к камере и демонстрирует обложку. — Мы говорили о книге “А жывём мы в гетто” Хуаниты Мэй Дженкинс. Спасибо, что остаетесь с нами.

— Спасибо.

* * *

У молодых врачей большие долги. Раньше я этого не знал, но теперь знаю. Учеба, расходы, связанные с организацией частной практики, оборудование. Тем более когда это целая клиника, как у моей сестры. Она зависела от государственных грантов и подрабатывала на полставки в другой больнице, чтобы сводить концы с концами. У сестры было оформлено страхование жизни, но большая часть страховых выплат ушла на погашение счетов. У матери были какие-то сбережения, но безбедной старости они не гарантировали. Хорошо хоть кредит на дом был полностью выплачен. Бывший кабинет отца требовал постоянных трат, просто какая-то бездонная бочка. И тут еще я превратился в совладельца женской консультации Юго-Восточного сектора. Хотел продать долю моей сестры, но два других совладельца — тоже молодые врачи — боялись, что они могут стать следующей мише-

нью, и не горели желанием выкупать мои акции, чтобы не оказаться еще больше привязанными к тому, от чего теперь подумывали избавиться.

* * *

врач 1: Вся эта затея с самого начала была сомнительной. По-моему, пора закрывать лавочку и уносить ноги, пока не поздно.

врач 2: Но ведь мы столько хорошего делаем.

врач 1: Да? Что, интересно? Раздаем противозачаточные таблетки и презервативы, которыми никто не пользуется? Лечим тех, кто считает, будто это нам надо, а не им? Ради чего? Думали, станем примером для беременных школьниц? А им на нас чихать.

врач 2: Никто не обещал всеобщего обожания.

врач 1: С обожанием-то как раз полный порядок! Нас обожают примерно так же, как подгулявшего родственничка. Только и ждут, когда он завалится спать, чтобы вытрясти из его карманов мелочь.

врач 2: Какая-то ты злая сегодня. Прямо как республиканка.

врач 1: Ну-ну, еще чем-нибудь пристыди. Теперь же модно стыдить. До чего дошло: знакомлюсь с кем-нибудь на вечеринке и боюсь сказать, чем

именно занимаюсь. Говорю: “Я врач в женской консультации”. А в ответ: “Аборты, что ли, делаете?” — и смотрят как на убийцу.

врач 2: Всё так.

врач 1: И ладно бы только это. Новая форма политкорректности: сказать “у женщины должно быть право на аборт” еще можно. Но сказать “я за аборты” — сразу заклюют. *(Пауза.)* Мне реально страшно.

врач 2: А как же наши пациентки?

врач 1: Разойдутся по другим клиникам.

врач 2: Что бы сказала Лиза?

врач 1: Лизы больше нет.

* * *

С деньгами было туго. Я зашел на кафедру английской литературы Американского университета и спросил, нет ли у них работы. Дал свое резюме:

РЕЗЮМЕ

Телониус Эллисон
Гражданство: США
Номер социального страхования: 271-66-6961

Адрес: ул. Ундервуд, д. 1329
Вашингтон, округ Коламбия 20009

Образование

Калифорнийский университет, Ирвин, магистр изящных искусств
Специальность: литератор, 1980

Гарвардский университет, бакалавр искусств, 1977

Публикации
(книги)

“Личный опыт”, роман, “Тауэр пресс”, Нью-Йорк, 1993.
“Персы, роман”, “Лоуренс пресс”, Нью-Йорк, 1991.
“Второй провал”, роман, Издательство “Вымирающие виды”, Чикаго, Иллинойс, 1988.
“Сбрасывая кожу”, сборник рассказов, “Лоуренс пресс”, Нью-Йорк, 1984.
“Халдейские оракулы”, роман, Издательство “Безшансов” и “Лоуренс Пресс”, 1983.
(журналы)

“Алиби Еврипида”, рассказ, “Экспериментальная литература”, Санта-Круз, Калифорния, вып. 5, № 3, 1995

“Твен: трансформация памяти”, вымысел, “Путы теории”, весна, Техасский университет, 1995.

“Дом дыма”, рассказ, “Ланьярд”, вып. 7, № 1, Новый Орлеан, Луизиана, 1994.

“Последний зной страдания”, рассказ, “Топи Алабамы”, осень, Даллас, Техас, 1994.

“Карабкаясь вниз”, рассказ, “Бесчувственный нуар” № 45, Санта-Фе, Нью-Мексико, весна 1993.

“Ночные вложения”, рассказ, “Бесчувственный нуар” № 44, Санта-Фе, Нью-Мексико, зима 1992.

“*Façon de parler*[26]”, рассказ, “Рассинхрон”, Колорадский университет, зима, 1992.

“Решение Клема”, рассказ, “Последний рубеж”, Виргинский университет, вып. 20, № 2, 1991.

“Чужая жена”, рассказ, “Эсквайр”, Нью-

---

[26] Примечания: 26
Фигура речи *(фр.).*

Йорк, Нью-Йорк, сентябрь 1990.

Опыт преподавания

Профессор английского языка и литературы, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, 1994–95.

Доцент, там же, 1988–94.

Внештатный профессор английского языка и литературы, консультант дипломников с отличием, Миннесотский университет, осень 1993.

Преподаватель, литературный мастер-класс в Беннингтоне,Беннингтон-колледж, 1992, 93.

Награды

Премия Тимсона за выдающиеся достижения в области литературы, “Персы”, 1991.

Трижды лауреат премии Пушкарта, 1990, 92, 94

Стипендия Национального фонда искусств в области художественной литературы, 1989.

Литературная стипендия имени Д. Г. Лоуренса, Университет Нью-Мексико, 1987.

Некоторые публичные выступления и лекции

1995 – Ратгерский университет
1993 – Мичиганский университет
Беннингтон-колледж
1992 – Колледж Вассара
Американский ПЕН-центр, Нью-Йорк, Нью-Йорк
1989 – Виргинский университет
1988 – Ратгерский университет

Членство

Общество *“Nouveau Roman”*
Ассоциация по изучению современного языка
Ассоциация писательских программ

* * *

Завкафедрой был дородным мужчиной с массивной головой, на которую я принялся бесстыдно таращиться. Он, конечно, заметил мой интерес к своему черепу — возможно, ему это даже польстило, но никак не повлияло на мои шансы.

— В лучшем случае смогу оформить вас на

полставки, когда все вернутся из летних отпусков. — Он посмотрел в окно и устало поскреб свой кумпол. — Нам нужен лектор для обзорного курса по американской литературе на осень.

— Какой оклад? — спросил я.

— Что-то около четырех тысяч. Три девятьсот с мелочью. Скромненько.

Он снова уставился в мое резюме.

— За весь семестр? — уточнил я.

Огромная голова качнулась.

— Спасибо.

* * *

Весной ручьевая форель покидает свои нерестилища и устанавливает ареал, где она будет искать пропитание. В отличие от радужной форели, молодые особи ручьевой предпочитают более спокойные водоемы и растут медленнее. Лишь малая часть выводка остается в верховьях ручьев; большинство мигрирует вниз по течению, оседая в реках и озерах, где больше корма. При благоприятных условиях ручьевая форель может прожить двадцать лет. Из всех видов форелей ручьевая — самая хитрая и осторожная рыба.

* * *

Лоррейн была на кухне, стояла у плиты над кастрюлей с рисом. В неизменном желтом переднике поверх темного платья — я ни разу не видел ее в другой одежде. В детстве даже воображал, что у нее в комоде целая стопка одинаковых желтых передников: один — любимый, другой — для свадеб, третий — для похорон. Я сел за стол.

— Как самочувствие, Лоррейн?

— Хорошо, мистер Монк. — Она накрыла кастрюлю крышкой и перешла к нарезке овощей. — Вы правильно сделали, что вернулись домой ухаживать за матерью.

Я ничего не ответил; следил за лезвием ножа, крошившим сельдерей.

— Извини, если некоторые слова в моих книгах тебе неприятны.

Лоррейн явно растерялась от такой прямоты, но на движениях ножа это не отразилось: теперь она нарезала перцы.

— Если мои персонажи говорят “блять”, это вовсе не значит, что я тоже так разговариваю. Это искусство.

— Да, я знаю.

— А сама-то ты ругалась хоть раз? — спросил я.

Она опустила нож и чуть не прыснула со смеху.

— Случалось, мистер Монк. Есть ситуации, когда оно само вырывается.

— Истинно так, мэм. — Я смотрел, как она снова помешивает рис. — У тебя в Вашингтоне есть родственники?

— Нет. Раньше тетушка была, но ее уж давно не стало. Вы моя единственная семья.

— Грустно, — сказал я.

— Что вы, — сказала она. — Я по своей семье не скучаю. Я их никого не знала.

— Да я не о том. Грустно, что судьба забросила тебя в нашу безумную семейку.

— Безумную? — спросила она. — Нет, вы не безумные. А что не похожи на других — это факт.

— Спасибо. Скажи, Лоррейн, а куда ты пойдешь, если этого дома не будет?

Она закрыла кастрюлю крышкой и уставилась на нее.

— Не знаю.

— У тебя есть друзья?

Она отрицательно покачала головой, но сказала: “Найдутся”.

— А сбережения? — Теперь жалованье Лоррейн платил я и точно знал, сколько она получает.

Деньги должны были оставаться, учитывая, что на еду и жилье она не тратила. — Накопила хоть что-то?

Она откашлялась, будто прочищая горло.

— Самую малость. Никогда не умела откладывать. Почему вы спрашиваете?

— Кто знает, сколько осталось матери. Что будет, когда ее не станет?

— Буду жить здесь и заботиться о вас, мистер Монк.

Я посмотрел на Лоррейн — старуху, практически ровесницу матери — и не нашелся что ответить. Поднялся из-за стола, пошел к двери, но на пороге обернулся и тихо сказал:

— Хорошо, Лоррейн.

* * *

эрнст кирхнер: *Я радуюсь, нет, горжусь, что эти молодцы в коричневых рубашках жгут мои картины.*

макс клингер[27]: *Ты серьезно?*

кирхнер: *Подумай сам: как бы я себя чувствовал, если бы мое творчество нравилось таким*

---

[27] Примечания: 27

Макс Клингер (1857–1920) — художник немецкого модерна, живописец, график и скульптор.

нелюдям.

* * *

— Ты не заболел, Монкси? — спросила мать, присаживаясь на диван рядом со мной.

— Нет, — сказал я. — А ты как себя чувствуешь? Хорошо подремала?

— Подремала.

— Сделать чайку?

— Нет, детка, посиди. Отдохни. Я и так тебя загоняла. — Она посмотрела на камин. — Спасибо.

— За что?

— За то, что решил здесь пожить, — сказала мать.

Я хотел сказать, что не мог не приехать, но сказал только:

— Я люблю тебя, мама.

— Я по Лизе соскучилась, — сказала она.

— Я тоже.

Мать разгладила юбку на коленях.

— Мне еще повезло, что сама хожу. Даже по лестнице не задыхаюсь.

— Это замечательно.

— Лиза зайдет попозже?

— Нет, мама.

— А то я соскучилась. Может, я ее чем-то обиде-

ла? Она ведь рассталась с Барри.

— Не думаю, что ты ее обидела, мама.

* * *

Я позвонил своему агенту узнать, нет ли новостей о романе, но ему нечем было меня порадовать. Еще три издательства отказались его печатать. “Слишком заумно”, — пояснили в первом. “Не наше”, — отрезали во втором. “Нет коммерческого потенциала”, — сообщили в третьем.

— Что теперь? — спросил я.

— Хороший вопрос, — вздохнул Юл. — Написал бы что-нибудь вроде “Второго провала”, проблем бы не было.

В бокале на другом конце трубки звякнул лед.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А я разве что-нибудь сказал?

* * *

“Второй провал” написан в “реалистической” манере. Он получил хорошие отзывы и неплохо продавался. Это история чернокожего парня, который не понимает, почему его мать, похожая на белую женщину, сталкивается с повсеместным

неприятием и презрением в черной среде. Когда мать совершает самоубийство, он решает бороться с дискриминацией, становясь террористом и расправляясь со всеми, кто повел себя как расист, независимо от их цвета кожи.

Мне было противно это писать. Противно это читать. Противно об этом думать.

* * *

Я пошел в бывшую комнату отца, которая по-прежнему называлась его рабочим кабинетом, но теперь там работал я. Сел и уставился на лицо Хуаниты Мэй Дженкинс на обложке журнала “Тайм”. Боль сначала свела ступни, потом поползла вверх по ногам, перекинулась на позвоночник, вскарабкалась по нему и проникла в мозг, заставив вспомнить целые куски из романа “Сын Америки”, и роман “Цвет пурпурный”, и радиошоу “Амос и Энди”[28]. У меня задрожали руки, и вокруг все словно пришло в движенье, деревья за окном зашевелили корнями, с улицы донеслось

[28] Примечания: 28

“Сын Америки” (1940) Ричарда Райта и “Цвет пурпурный” (1982) Элис Уокер — романы, считающиеся классикой афроамериканской литературы. “Амос и Энди” — комедийное радио-и телешоу о жизни чернокожих.

“йо”, “че”, “нада”, “фсе”, “никада”, — и хотелось чуть ли не вопить от обиды, что я так не говорю, и что мать так не говорит, и что отец так не говорил. Вспомнилось вдруг, как однажды я сидел на скамейке в парке, перебирая перочинные ножи из моей коллекции, и ко мне подошел какой-то дядька. Он спросил, чем я занимаюсь, и рот мой сам собой открылся и произнес: “Че нада?”

Я заправил чистый лист в отцовскую пишущую машинку. Я написал роман, точно зная, что, если он когда-нибудь станет книгой, на обложке не будет моего имени.

МОЕ ИЗВАРЩЕНИЕ

Стэгг Р. Ли

ВАН

Мать вылупилась на меня и Дебеллу и обзывает атребьем. С этого начинаица. Атребье, — орёт. — Позор рода человечискава”. Глядю на мать и гадаю чё такое “атребье”, вряд ли чё-то хорошее, паэтому встаю со стула на катором сидю, иду на кухню и хватаю здоровый нож. Она такая: “И чё ты с ним делать будиш, атребье?” Тут я её пыряю. Вгоняю нож в пузо и вытаскиваю весь

красный, а она глядит типа не врубаица: ты чё меня пырнул? Пыряю снова. Крофь на полу, на столе, кап-кап-кап ей под ноги и тут сестрёнка как завопит, а я такой: “Чё ты вопиш, сестрёнка?” Та зенки выкатила и гаварит: патамушта ты мамку зарезал. Глядю себе на руки, вижу крофь и не понимаю чё ваще происходит. Снова пыряю мать. Пыряю патамушта мне страшно. Пыряю, патамушта люблю. Пыряю, патамушта ненавижу. Патамушта люблю. Патамушта ненавижу. Патамушта вырос без папки. Потом мать ползает по линолему, собирая свои кишки, а я выхожу на улицу. Стою на тартуаре как мазафака, кровищей вокруг себя капаю. Глядю на небо: где там Иисус, не видать. Потом думаю к кому из четвырёх моих бэбис севодня наведуюсь.

Просыпаюсь в поту, мокрый как свинья. Скидувую простынь, напяливую джинсы. Затягиваю ремень, здёргиваю джинсы на жопу. Футболка вонючая — пипец, ну и хрен с ней. Весь мир воняет, а мне чё нельзя? Я так щитаю. А мне чё нельзя? Вот мой принцып. А мне чё, нельзя? Одинацать-трицать утра. Иду через кухню глянуть, нет ли на полу крови. Жесть, а не сон канешна, просто жесть. Выхожу на улицу, глядю на небо и думаю, к кому из четвырёх моих бэбис севодня нагряну.

Мать Аспирины спуталась с нигой по кличке Бешеный Пёс, к ней лучше не соваца. Кто хочет пулю в зад? Я нет. Мать Тайленолы шизанутая на всю голову, пушкой обзавелась, увидит — точно прившьёт, я ж ей денег так и не дал, хотя она три месяца клянчит. Мою старшую зовут Дексатрина, её мать по-прежнему по мне сохнет. Можно канешна зайти и разок ей вставить, но ведь потом не отвяжися. Пропадёш как кокс в молоке. Решаю двинуть к моему пацанчику Рексаллу. У нево синдроп дауна, но он норм. Нахрен ваще мозг в этом сраном мире? Без мозга лучше. Пацану уже три, но он вечно всё апракидываит. Вломил ему разок, так мать гаварит не бей — не виноват он. А кто, блять, виноват? Если мне сок на новые чиносы апракидывают, я любому вломлю, плевать что алигофренд. Навещу Рексалла, я ж его папка. Я своих бэбис не бросаю.

Зовут меня Ван Го Дженкинс, мне диветнацать, и я на всех кладу — на вас, на мать и на копов. Все на всех кладут, а мне чё нельзя? Паэтому вместо чтоб тащица на Сентрал-стрит, где на жидовском складе работаю, иду к школе ждать мамку Рексаллла. Её Клеона зовут. Вабразила себе, что в абществиный коледж после школы пойдёт, медсестрой типа станет. Вабразила и хрен с ней.

Можит и правда начнёт зашибать нормальные бабки. Только чё-то задаваца, блять, стала, типа думаит, я ей не пара. Сука. Зато к ней всегда можно подкатить и отаварица, когда её мамки нет дома. Тут она не задаёца.

Стою у школы, глядю на второй этаж и вижу таво урода, из-за каторава меня из школы попёрли. Я сидел себе на последней парте, не трогал никаво. Тут этот гавнюк подваливаит и начинаит прикапываца:

— Вас что-нибудь не устраивает, мистер Дженкинс?

Мы с Жолтым чилим, перетираем разные темы. Я глядю на Жолтого, типа не врубаюсь, чё это ваще за чел и чё он такое сказал, на каком языке, и мы с Жолтым угораем. Тут мазафака тоже угорать начинаит, чисто над нами. Замолкаю резко, глядю ему пряма в глаза.

— Чё это тя так насмешило, беложопый? — гаварю.

— Ты, дружище, — гаварит. — Ты меня насмешил. Хочешь свою жизнь в унитаз спустить — твоё право, но этих пацанов за собой не тащи. Сейчас всё при тебе, крутизна, гонор, но когда окажешься в мире, где ты всего лишь песчинка, и в двадцать, допустим, восемь останешься на

бобах, потому что не сумеешь прочитать объявление на работу, тогда у тебя гонору поубавится. Поймешь, что ты лузер с крошечным хуем.

Пока он всю эту пургу гонит — мне пох, но када до хуя доходит, слышу смешки и зверею. Блять! Да у меня хуй в два раза больше, чем у нево. Вскакиваю и врубаю ему коленом по яйцам. Он сгибаица, и я хочу заставить его прямо тут отсосать, но тока вмазываю кулаком в белое рыхлое рыло. Рассекаю костяшки пальцев об зубы, от этава еще сильнее зверею. Приежают копы, оттаскивают меня. Ему скорую вызывают. Довыступался, ублюдок, хуй у меня видишли крохотный. Я из-за этава пидора школу не закончил. Щас бы работал как человек за зарплату в офисе, а не грущиком на жидовском складе.

До звонка на большую перемену ещё минуты две, тут нигга по прозвищу Вилли Вонкак выходит из-за угла и чешет прямо ко мне. Горланит госпел, каторый ни разу не госпел, он им уже всех достал. Шатаица, как джанки под кайфом, да он и под кайфом, почти валица, а я думаю: када под кайфом, ты то валишся, то взлетаиш, то вниз, то вверх — и от этой мысли меня прям ржака разбирает. Он поёт и шатаица и молица — ветру, тратуару, проежему автобусу.

— Господи Божа, — молица, — сделай так, чтобы нигги на этих улицах от меня севодня отстали. Пожалста, Иисус. Чтобы ни один сраный мазафака не пальнул в меня из окна своей тачки. Чтобы ни один джанки не угробил, польстившись на мой джанк. Чтобы ни один белый не упёк за решетку. Чтобы сын твой, принявший смерть на кресте за мою грешную жопу, не спешил со вторым пришествием, пока я не разгребусь со всем, что наворотил. (Тут Вилли видит меня.) Эй, я тебя знаю, нигга.

— Вали отсюда, джанки — гаварю.

— Джанки? Где ты видиш джанки? Сраный мазафака. Щас впыль сотру.

— Попробуй, сука, — гаварю и глядю в его красно-жолтые глазища.

— Я тебя знаю, — гаварит. — Я тебя знаю. Ты сын Клариссы Дженкинс. Сказал же, знаю. Сколько тебе сейчас? Восемнацать? Двацать? — Он ржёт и показывает на меня пальцем. — Я её еще в семидесятые дрючил. А чё, нигга, может, я твой папка.

Меня аж на дрож прошибло, чуствую — губы трясуца.

— Ща огребёш, если не заткнёшся.

— Хуйсаси, — гаварит.

— Свойсаси, — гаварю.

— Свойсаси, — гаварит.

— Свойсаси, — гаварю.

— Что мамка-то у тебя всё такая же жопастая? — И лыбица во весь рот. — Раньше жопастая была, но не слишком, в самый раз для этава дела. — Тут он хватает невидимую тёлку и давай дрючить воздух. — Кларисса, — поёт, — Клариииисса.

Если б не звонок на перемену, дал бы в морду. А так просто отступил. “Смотри, дед, доиграишся”.

Но джанки не отстаёт. “А ты и точно на меня чучуть смахиваиш”.

— Заткнись, блять.

— Вокруг глаз и рот.

— Ща точно вломлю, богом твоим клянусь.

Отступает.

— Ладно. Мир. Мир, — и взглядом даёт понять, что типа услышал. — Мир.

Наконец выходит Клеона, стоит-болтаит с каким-то ниггамажором. Подваливаю к ней и такой: “Хей, бэби”.

Клеона глядит на меня и ржёт, потом глядит на мажора и такая: “До завтра, Тайрел”.

— Ага, — гаварю, — лови её завтра. Ты ведь в этом поднатайрел.

Нигга лыбица и отваливает, садица в ярко-крас-

ный джип. При бабле мазафака.

— Во дела, — гаварю.

— А ты ваще кто, чтоб бэби меня называть? — гаварит Клеона.

— Папка тваево бэби, — гаварю.

— И чё?

— Чилаут, бэби. Пойдём к тебе, Рексалла хочу навестить.

— Я где щас, придурок? — спрашываит.

— В школе, — гаварю.

— А мамка моя где?

— На работе, — гаварю.

— Чё думаешь, я ребёнка с сидропом дауна аднаво чтоль оставлю?

— Ну, давай просто к тебе пойдём.

— Ага, размичтался, — гаварит и башкой вертит.

— Пойдём. Хочу тебе денег дать на алигафренда.

— Не называй его так, — огрызаица.

— Оки, оки. Денег дам и чучуть потрепимся.

Ржёт, запрокинув голову на жирной шее, потом глядит на меня.

— Думаиш, я тоже алигафренд?

— Ты ж ево родила.

— Не нарывайся, нигга, — гаварит. — Гони

деньги прям тут.

— Нимагу.

— Чё так?

— Просто.

— Мне через час надо опять в школе быть, — гаварит.

— Будиш. Не парься. Зуб даю, — гаварю. — Получиш бабки, про Рексалла расскажиш — и всё.

Глядю по сторонам. Вижу тёлка какая-то щупаит меня взглядом, лыблюсь ей.

— Чё лыбишся? — гаварит Клеона.

— Сама же сказала я те никто, — гаварю.

— Пашли, кароче.

— А если мать с работы вернёца?

— Знаиш же, что её допоздна не будет.

Я люблю Клеону и ненавижу Клеону. У меня в башке два нигга размером с фигу. Нигга А и Нигга Б. Нигга А советует: остынь, бро, чё ты ей можиш дать, кроме голой жопы, пусть топаит в свою школу на матиматику, инглиш и соцуху — может, выберица из гетто. Это её шанс, риал шанс стать медсестрой — она ж правда этава хочит. А Нигга Б ржёт и подначиваит: да тащи ты эту сучку домой и всунь пару разиков. Чё за дела — с ниггой на джипе у тебя на глазах сюсюкаца. Зарвалась вконец. Она тебя поимела — теперь ты

её поимей. А потом с мазафакой на джипе разберешся. Тащи давалку домой и отдери по полной. Вспомни как тебе с ней зашло, как она верищала ой-ой-ой больно. Взорви ей там всё. Нахуй школу. Нехуй быть медсестрой. Пусть сдохнет в гетто.

Тащимся к ней и вижу: пацаны в баскет рубяца. Думаю: я хренову тучу лет не играл. А раньше жог. Вылетал из-за дуги на слэм-данк, нефиг делать. Джампшот тоже был зашибись, но блять, как попасть в колледж и накалотить бабок, если ты никто и звать никак, а эти мазафаки тебя ещё из школы попёрли. А сосать у тренера, чтоб включил в команду, не моё. Нада было ломица, пока был в форме, пробоваца в “Лейкерс”[29]. Я б классно вписался. Шоутайм[30]: я и Мэджик[31]. Без всяких там тренировок, я и так всех рвал на паркете.

Клеона отпирает дверь, мы заходим, она обора-

---

[29] Примечания: 29

“Лос-Анджелес Лейкерс” — американский профессиональный баскетбольный клуб из Лос-Анджелеса.

[30] Примечания: 30

Шоутайм — термин, описывающий период “Лос-Анджелес лейкерс” с 1979 по 1991 год, когда команда, благодаря Мэджику Джонсону, играла в зрелищном стиле “бей-беги”.

[31] Примечания: 31

Ирвин Эффей (Мэджик) Джонсон (род. 1959) — легендарный баскетболист, на протяжении всей карьеры выступавший за “Лос-Анджелес лейкерс”.

чиваица и такая:

— Гони деньги.

— Неспиши, бэби, — мурлычу. — Давай ты мне сначала покажиш, где бэби спит.

— А то ты не знаиш, где бэби спит. Бэби спит в моей комнате, но туда мы точно не пойдём. Гони деньги.

— Налей хоть водички с лёдиком, — прашу.

Тяжело вздыхает и шурует своими ножищами на кухню.

Плюхаюсь на диван, гляжу — новьё. Лапаю обифку и думаю: вот сука, откуда здесь эта хрень. Тока из магаза.

Клеона возвращаица в комнату, суёт мне стакан с водой и стоит как дура. Я такой: “Диваньчик новенький”.

А она: “Ну и чё?”

— Откуда вы с матерью бабки на него взяли?

— Тебя не касаица.

— Ваще-то, — гаварю, — если мать моего бэби на мебель жопой зарабатывает, очень даже касаица. Можит, тебе мои бабки больше не нужны.

— Ты мне раз в месяц на Рексалла давать должен.

— Должен не значит обязан, — гаварю и глазами по комнате шарю. — Нихерасе у вас тут

добра.

Отпиваю воды. Тёплая.

— А лёд где, сука?

Стоит пялица.

— Сорян, бэби, — гаварю, — С языка сорвалось. Иди ко мне, тут места вагон.

Пялица.

— Сядь уже, — велю.

Бухаица всей жопой аж диван трищит. Кладу руку ей на плечо — она вся настрёме.

— Да расслабься, Клеона, чё ты. Дома ж никаво нет.

Тычу пальцем в её сисяндру и шептю: “Тут мой бэби ужинает”.

Клеона настрёме но хихикаит.

Мну её буфера.

— Вот это сисяндра, — шептю. — Ну-ка посмотрим, чем ты кормишь маево бэби. Даш попробовать?

Она жмурица и типа такая: да. Оттягиваю её рубашку, глядю на лошадиный лифан. Пробую сзади расстигнуть, но, блять, не подлезиш. Велю: “Помогай давай”.

Клеона заводит руки назад — одну через голову под воротник, другую сбоку под рубашку — расстёгиваит мазафаку. Сисяндры вываливаюца, как

подушки, как мешки с песком. Хватаю их и давай сосать. Она стонет, а я ей херню всякую шептю, чё в голову лезет, а сам тискаю и сосю, тискаю и сосю. На стенных часах адин час. Блять, у меня же стрелка с Жолтым и Тито в бильярдной, надо ускорица. Валю Клеону наспину и расстёгивую её штаны, про сисяндры не забываю, а она стонет. С такой жопы штаны хрен стяниш, но я стягиваю и вгоняю по самые помидоры. Бэм — и я уже в ней! Клеона вижжит, а меня прёт неподецки. Долблю как дятел, а она в слёзы, глазища на меня выкатила и орёт, чтоб слез. Но я уже в полтыке от кайфа, лыблюсь.

— Слезь, сказала, — орёт. — Слезь, мразь.

Это меня бесит. Чё за дела? Вытаскиваю и заливаю кончем их сраный новенький диван. Клеона в ахуе, рот открыла как дура. Потом шурует на другой конец комнаты и пялица на меня оттуда.

— Мама меня убьёт, — гаварит.

— Надо было думать перед тем как трахаца на новом диване, — учю.

— Ненавижу тебя! — вопит. — Ненавижу! Вали нахер из моего дома!

Натягиваю штаны неспеша, заправляю ремень. Глядю на её голую тушу.

— Ну ты и жирная, — гаварю.

— Вали отсюда!

— Без тебя разбирусь, чё делать, — и влезаю в кроссы.

— Ты меня изнасилил, нигга.

Ржу в голос.

— Изнасилил? Мать моего же бэби? Ты теперь моя тёлка.

— Ничё не твоя!

— Ты бэби от меня родила.

— Рексалл не твой бэби.

Жгу её взглядом. Она такая:

— Съел? Рексалл не твой бэби.

— Ну чё ты гонишь? Кто же тада заделал этава гидроцыпала?

— Тебя не касаица, — гаварит.

— Как бабки на алигафренда давать, так касаица.

— Ты мне ещё не цента не дал! — орёт. — Одни обищанья.

— Хотел севодня дать, но хрен теперь что получиш, — гаварю.

— Вали отсюда!

Ржу и неспеша иду к двери.

— Жирная шлюха, — гаварю.

— Рексалл не твой бэби, хоть и похож.

— Да мой он, не сомнивайся, — гаварю и под-

хожу к двери. — Я в матку пуляю без промаха. Я пульнул — ты залетела. Так это работает.

— Ты меня изнасилил! — вопит.

Ржу и вываливаюсь на улицу.

ТУ

От Клеоны чешу в бильярдную встретица с Жолтым и Тито. Жолтого зовут Жолтый, патамушта он светлакожий нигга, и башка у него типа рыжая. Тёлки тащаца от его гривы. Но Жолтый норм. Он мой карифан, он и Тито. Тито мы зовём Тито, патамушта его всегда тянет ПЕТЬ, тока он неумеет. Зато шебелюра как у старшего брата Джексона. Вижу Тито торчит у входа, смолит сигу. Я ему:

— Йо, бро.

— Сап, — гаварит.

— Чё тут торчиш?

— Фэтмэн сказал смолить теперь тока снаружи. Внутри низя.

— Хуяси. Чё за пул без курива?

— Его бильярдная. А я чё, Фэтмэн норм.

— Ага, он норм, — гаварю.

Тито бросаит сигу и гасит падошвай. Заходим. Внутри полумрак и Фэтмэн сидит за стойкой на своём табурете. Кивает мне, я ему.

— Я тут, — кричит Жолтый из дальнего конца зала, где играит с высоким прикинутым ниггой в шляпе. Рядом стоит другой нигга, ногти пилкой подпиливаит.

— Сап? — бросаю Жолтому. — Чё тут у вас?

— Абуваю клиента, вот чё, — отвечаит.

— Не факт, красавчик, — гаварит прикинутый нигга, спокоен как удав.

— А помойму факт, — ржёт Жолтый.

— Мажем? — гаварит Прикинутый.

Жолтый мнёца. Ясное дело: бабок-то нет.

Прикинутый вынимаит баксы. “По двацатке?”

— Не, бро, мазать не буду.

— Значит, не факт? На понт меня брал?

Прикинутый глядит на мазафаку с пилкой. Оба ржут.

— Апустил тебя нигга, — шептит Тито Жолтому.

— Бабок нет, — шептит Жолтый. Тито ему:

— Точно его абуиш?

Жолтый гривой трясёт — типа да.

— Вот дисятка, — гаварит Тито и на меня смотрит. Я такой:

— Блять, сука, Жолтый, смотри не просади.

Сую ему тоже дисятку, глядю на стол.

— Мажем, — гаварит Жолтый Прикинутому.

— Чудьненько.

Жолтый бьёт — и мимо, но такой: “Не ссы, шестёрку он всё равно не достанет”.

Глядю на стол и вижу: дивятка чотко между битком и шестёркой. Жолтый, похожа, прав.

— Без шансов, крутыш, — гаварю Прикинутому.

— Щенок должен хвостом вилять, а не тявкать, — отвечаит.

Тито такой:

— У-у-у, нигга тебя щенком назвал.

— Канешна, — гаварю, — я мамашу его атпердолил, вот он и злица.

— А у меня на твою не встал — ладно уродина, так еще и жирная, — гаварит Прикинутый. Я ему:

— Хуйсаси.

Прикинутый ржёт, биток прыгает через дивятку, бьёт по шестёрке и она чотко уходит в боковую. Нигга раскладываит по лузам остальные шары и сгребает бабки. Глядю на Тито, и так жалко десятки, что завожусь.

— Ты катала, — гаварю.

— А ты лох, — ржёт. Нигга с пилкой тоже угорает.

— Гони назад наши бабки, — гаварю.

— Не связывайся, — гаварит Жолтый.

— Не, бро, так не пойдёт.

— Послушай рыжика, — гаварит Прикинутый.

— Со слухом хуёво, — гаварю.

— А со зрением как? — Прикинутый, достаёт из кармана пушку и тычет мазафаку мне в нос. — Это хорошо видиш?

Пятюсь.

— Бери бабки и разбежались, — гаварит Тито.

— Тебя забыли спросить, красавчик, — гаварит Прикинутый, и они с Пилкой отваливают как два пижона.

Фэтмэн орёт из-за стойки сиплым голосом: “Чё там у вас?”

— Всё норм, — орёт Жолтый.

Тито выдыхает. “Сука”. Потом бьёт Жолтого в плечо. “Дисятку мою просрал”.

Глядю на дверь, потом на Тито и Жолтого.

— Мне бы пушку, — гаварю. А Тито такой:

— И чё тогда?

— Сперва магаз карейца в молле грабанём.

— Чё тебе этот кареец?

— Мазафака глаз с меня не спускает, када там торчу. Вором щитаит.

— Ты ж у нево регулярно тыриш, — гаварит Жолтый.

Тито ржёт. Я такой:

— И чё? Хули пялица?

Жолтый мне: “Включи башку, нигга”.

— Хрен ты выживиш с включённой башкой, — отвечаю.

— Думаиш ты в кино, да, нигга? — гаварит Тито. Достаёт сникерс и разварачиваит.

— Отломи, — просит Жолтый.

— Нада же, — гаварю, — вам скока лет, чтоб торчать от сникерсов? Мы ж реальные бабки срубить можем.

— И пулю жопой словить, — гаварит Жолтый. Я ему:

— Ссыкло.

А он мне:

— Ага, у тебя мамка такая жирная, что ей отдельный почтовый индекс присвоили.

— А у твоей мамки такая вонь изо рта, что тараканы бездуста дохнут.

— А твоя мамка копия Джей Эдгар Гувер.

— А чё с ним не так? — гаварю.

— Погляди на мамку — поймёш, — гаварит Жолтый.

— Хуйсаси, — гаварю. А он мне:

— Свойсаси.

— Свойсаси.

— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Свойсаси.
— Гавно на палочке, — гаварю.
— А ты просто гавно, — гаварит Жолтый.
— Нигга тебя гавном назвал, — ржёт Тито.
— Ссыкло, — гаварю и уже готов ему врезать.
— Где пушку-то возьмёш? — интересуица Тито. — Нужна пушка, чтоб добыть бабок. Нужны бабки, чтоб добыть пушку. Закалдолбаный круг, нигга.
Забываю про Жолтого и глядю на Тито.
— Бабки на пушку я достану, — гаварю. Иду к киям, выбираю один и стучу по столу. Вижу Жолтый занервничал. — Чё с тобой, нигга?
— Ничё со мной, — отвечаит. — С тобой чё?

Иду к нему и такой:

— Я думал мы неразлейвода. Чё вдруг зассал?

— Мы неразлейвода, — гаварит.

Подхожу вплотную, башку гну набок, он аж вспотел, на Тито косит — спасай, типа. Я ему:

— В глаза мне гляди.

Он такой:

— Кончай, Го. Мир, окей?

Лыблюсь и отхожу.

— Ага, мир, — киваю. — Мир, но к карейцу со мной пойдеш.

— Чё я-то?

— А то, — гаварю. — Поможеш проучить мазафаку. Щас главное пушку достать. Вон Прикинутый — пришёл, пушку из штанов вынул и в шоколаде. — Трясу башкой, глядю на Жолтого. — Ты ж его абуть собирался. — Опять лыблюсь, чтоб Жолтый не напрягался. — Не бзди, Жолтый. Мир.

Потом мы с Тито стоим в подворотне, курим косяк.

— Где ты эту дурь взял? — спрашываю.

— Брат подогнал, — гаварит Тито. — Забористая. — Глядит на меня и суёт косяк. — Слыш спрошу. Ты чё Жолтого так прижал?

— Да херня, ничё не имел ввиду, — отвечаю.

— Он реально очканул.

— Ему же на пользу. А то ведёт себя как ссыкло. Думаишь, он ссыкло?

— Не, бро, он не ссыкло.

Затягиваюсь и отдаю косяк Тито. Мимо подворотни по улице чешут два парня, проважаю взглядом.

— Во скока мне пушка встанет, как думаиш? — гаварю.

— Хрен его знает. Ты какую хочеш?

— Дивятку.

— Не знаю. Может, в соточку.

— Твой брат дивятку подгонит?

Тито пожимаит плечами.

— Спроси ево.

— Спрошу, — гаварит.

— Хоть выяснить, скока стоит.

— Спрошу, — повторяит.

Тащусь домой, притормаживаю паглазеть на крутейший красный мустанг-кабрибалет на стоянке у супермаркета. Вещь! Потом вижу: чёткая чёрная тёлка еще издали такая би-бип — снимает мазафаку с охраны. Я думаю: во сука, отжарить бы тебя. Пока возица с ключами у дверцы, подкатываю ближе и фигею — у тёлки весь фейс размалёван, прям боевой раскрас. Тут она меня видит, шыпит как змея, в руке перцовый баллон,

ща брызнет. Сигаю в сторону.

— Остынь, куколка, — гаварю.

— Я тебе не куколка, — отвечаит.

— Я ж поглядеть тока, чё ты сразу.

— Поглядел — и хватит. Будь добр, отвали.

Ну не сука?

— Будь добр? — гаварю. — Ты откуда ваще? Из коледжа? Чем ты лучше меня?

— Ладно, — гаварит и дверцу распахивает. — Просто отвали. Без будь добр.

Пячюсь немного. Окей, типа.

Глядю, как она газует на своей крутейшей тачке и думаю: “Хуйсаси, тварь!”

Злоба такая, хоть вой. Весь мир воет. А мне чё нельзя?

ФРИ

Я вхожу, а мать сама тока припёрлась. Таскалась с сестрёнкой за продуктами. Глядю в сумку на столе, чё они там купили, а она сразу:

— Чё там забыл?

— Жрать хочу, — гаварю.

— Не начинай щас, сынок. Мне вам ужин приготовить нада, а потом ещё к сестре забежать.

— Чё теперь? — спрашывую.

— Да муж опять расходился, накостылял ей, —

гаварит.

— Пусть пулю ему в жопу всадит, — предлагаю.

— Не смей так выражаца, сынок.

Ржу. Мать такая:

— Я серьёзно, Ван. И чтоб рядом с Тито я больше тебя не видила. Это добром не кончица, — и башкой трясёт чтоб позлить.

— Тито норм, — гаварю.

— Тито ванючка, — пищит сестрёнка.

— Заткни ибало, — велю.

Мать хрясь дверцой шкафа и вылупилась, в глазах огонь.

— Что ты сказал? Я не аслышалась? Или ремня тебе всыпать?

— Ага, попробуй. Лучше и своё ибало заткни, — гаварю и глядю ей прямо в глаза. Патамушта ненавижу. Патамушта люблю. Глядю ей в глаза, чтоб видила: я уже взрослый. — Не аслышалась, грымза, — гаварю. — Не ослышалась нихуя. Нехрена мной командывать.

— Господи помилуй, — шептит, а сама прям дымица вся. Прям так и хочет скавародку схватить и по лбу мне двинуть. Но нет, тока башкой трясёт.

— Поверить не могу, — гаварит.

— А ты поверь, сука.

Люблю.

Ненавижу.

— Ван, — пищит сестрёнка.

— Я в той комнате, — гаварю. — Зави, када пажрать приготовиш.

Иду в гостиную. Но и там слышно, как мать рыдаит, а сестрёнка её успокаиваит.

Врубаю телек, падаю на диван — весь просижманый, мазафака. Хочу такой, как у Клеоны с её мамкой. Клеона — сука, тварь продажная. Обнаглела вконец — вертеть жопой перед ниггамажором. Но я её приструнил: сунул разок и диваньчик их новенький кончем своим разукрасил. Запомнит, сука.

Глядю мульты, потом щёлкаю пультом, попадаю на “Могучих рейнджеров”. Дрянь канешна, но зависаю. Потом нахожу “Шоу Снуки Кейн” — жирная сука мелет как пулимёт, сто слов в минуту. Гости сплошные лузеры, я б вписался на раз. Снимают всю эту муть в Бербанке, за участие бабки платят — проверенная инфа. И из зала лезут с советами, лишь бы чё-нить вякнуть.

Мать зовёт на кухню. Иду, плюхуюсь за стол. Глядю в тарелку и такой:

— Чё за хрень?

— Рожки с мясом, — пищит сестрёнка. — Сухая

смесь. Мы с мамкой вместе гатовили.

— Тада и в сортир спускайте вместе, — гаварю.

— Так, всё, умник хренов, пальцы веером распустил, нигга с полфига, — вскипаит мать и хватаит здоровый нож.

Сестрёнка бежит к ней, орёт: “Мама! Мама! Не нада! Пажалста, не режь Вана!”

— Пусть папробуит, — гаварю. — Ещё поглядим, кто каво зарежит.

Мать такая:

— Уйди с дороги, Дебелла.

— Нет, мама! Нет! Нет! — вапит сестрёнка.

— Всё, я пошёл, — гаварю и стул ногой атшвыривую. — Сами жрите это дерьмо, пока совсем жиром не заплывёте, мне пох.

Выхожу и дверью за собой хлоп.

Стою на улице, ночь. Копы с коптера светят лучом во дворы, и я думаю: сюда посветите, суки. Посветите своим сраным лучом, я хоть пойму чё делать. Потом думаю про мать. Я её ненавижу. Я её люблю. И про папку: хрен его знаит, где он. Может, в тюряге, а может, шлюх на панеле пасёт. Однохуйственно. Я всё равно его ненавижу. Бегу по улице типа как Форрест Гамп. Сам фильм я не видил, тока рикламу по телеку, но стока раз, что фильм можно не смотреть: как он чешет к

тачдауну, и никто не может его завалить, или как сидит на скамейке и гонит про коробку шоколадных конфет. И я думаю: эй, я ж тоже шоколадная конфета в коробке. “Вот он я, Америка! — ору коптеру над башкой. — Открой меня! Узнай, какая во мне начинка!” Ненавижу своего папку.

Перехожу улицу у спортплощадки и вижу на светофоре ниггу на джипе. Подваливаю и встаю прямо перед ним в свете фар. Нигга щурица типа “чё за херня”, потом узнаёт меня и лыбица. Я тоже лыблюсь и ни с места. Он по газам — вжии, вжии — мотор рычит.

— Чё надо, мазафака? — гаварит.

— Тебя надо, нигга, — отвечаю.

— Отсосать хочешь, мазафака? — И глядит на ниггу, каторый рядом с ним в тачке. Оба ржут.

— Доставай, поглядю, — велю.

— Отвали, сука, — просит.

— Вылазь, — гаварю.

— Отсосёш в другой раз, щас некада, — гаварит и снова по газам — вжии.

Я ни с места.

— Дай хоть жопы попробовать.

Он пытаица меня объехать — но хрен.

— Уйди, нигга!

— Уйди меня, мазафака.

Сзади подкатывает другая тачка, сигналит. Нигга в джипе тоже сигналит. Та тачка выруливает на встречку и гонит мимо. Тут он выходит и дружок за ним. Он такой: “Чё за хуйня, нигга, в чём проблема?”

Подхожу вплотную, глядю в глаза: “В тебе проблема”.

Он оглядываица на дружка, тот джип сзади обходит. Пацаны на площадке побрасали мяч, облипили ограду и пяляца. Бью его в пупок, быстро, чтоб согнулся. Дружок чешет ко мне, получает ногой по яйцам, садица. Отдохни, мазафака, ты мне не нужен. Возвращаюсь к Джипу и теперь засаживаю ему по морде, чтоб тоже присел. Бэмц! Бэмц! Вламываю еще парочку — носяра в крошево, кровища фонтаном. Вся рожа в краске. Гляжу в его смазливые глазки и бэмц, бэмц — ставлю по фингалу на каждый. Пацаны с площадки чё-то орут, но я их не слышу. Нигга уже никакой. Лёг на асфальд, поливает его кровищей. Я ему:

— Ну чё, мазафака? Больше не будиш зарица на чужое? Отвяниш от Клеоны?

Молчит.

Пинаю его в бок — кровищей харкает.

— Я вопрос задал, нигга. Отвяниш или нет?

Мычит чё-то, но рот кровищей забит, не разо-

брать. Тут слышу над башкой копокоптер и даю дёру.

Чешу домой, валюсь на кровать в одежде, костяшки пальцыв ноют — пипец. Глядю на облупленный потолок и думаю про моих бэбис. Как я их ненавижу. Как я их люблю. Ненавижу. Люблю. Ненави…

И сница мне сон, будто я на острове — карибском или типа того. Тёлок вокруг овердофига — стройняшки с попками и ходят без ничево, одни нитки на сиськах, чисто для вида. Во, думаю, заибись тут тёлочки, улётные просто. Знаю, что любая мне даст, ну и начинаю считать, скока бэбис заделаю, и имена им сразу придумываю. Будут у меня Авлагина, Бисквита, Вазелина, Галиник, Дурманита, Егазита, Ёбелинда, Желизанна, Залупина, Иканья, Клитория, Латишаник, М’янмарина, Ниггерина, Отсосинья, Пастиша, Росс, Сиялла, Тымая, Уника, Фэнтэзи, Хихиша, Цапцарапа, Чупачупс, Шлюхендра, Щедротта, Энигма, Южанна и Ядрёна. Во, думаю, скока я тут тёлок отжарю. И сижу такой в шизлонге, пялюсь на их сочные попки. А потом глаза опускаю и вижу: там, где хуй торчать должин, гладко почти, тока маленький бугорок. “Блять, — ору, — у меня не

хуй, а какой-то прыщик". Чё я буду делать с этим прыщом? Тут и тёлки это увидели, пальцами тычут, а я ладонями прекрываюсь. Одна тёлка гаварит: "У этого нигги хуй крошечный, прям-таки бэбихуйчик", — и ржут все, суки. Ржут и пальцами тычут, а я в воду бегу, прикрывшись руками. И в ледяной воде подплывает ко мне одна тёлка, хватает за руки, разводит, лапает между ног и шептит: "Ну и плевать, что без хуя". Глядю — а у неё лицо плавица, и вот она уже не стройняшка с попкой, а старая грымза, а потом не грымза, а мать. Пыряю её ножом. Пыряю, пыряю, пыряю, пыряю, пока океан не краснеет от кровищи.

Тут я вскакиваю весь мокрый.

Утром за завтраком мать типа не помнит про нашу ссору, горланит гребаные госпелы. Сестрёнка подтягивает, а потом пищит:

— Мам, это какая песня?

— "Что за друг у нас в Иисусе", — гаварит мать и зырк на меня. — Я про одну работёнку слыхала. — И подкладывает мне жареного бекона. — В Вест-Голливуде.

— Чё делать? — гаварю.

— Чё скажут. Не знаю. Вроде как машину водить.

Представляю себя за рулём, и мне это даже

нравица.

— Водилой у белава?

— А что такова? — гаварит мать.

— У меня есть работа, — гаварю. А она:

— Так ты ж на неё не ходиш.

Жую бекон. И небрежно так:

— Давай адрес.

Мать идёт к столешнице и начинаит там рыщца. “Где ж я записала? Ага, вот!” Возвращаица и суёт мне бумажку с адресом.

Убираю в карман.

— Пойдёш? — гаварит.

— Падумаю. Не дави на меня.

— Я не давлю.

— Давиш.

— Не давлю.

— Давишь.

— Не давлю, безтолоч, — гаварит.

— Ага, безтолоч, — ржу. — Весь в папку.

— Пагавари у меня.

— Кто мой папка, мам?

Отварачиваица, блять, к раковине и начинает мыть грёбаную посуду.

— Как его хоть зовут? Есть же у него имя. Как папку сестрёнки зовут, я знаю. Даже видел его. В тюряге щас, да?

А мать мне:

— Хватит молоть языком, нигга.

— Мой тоже в тюряге? — не отстаю. — Или ты даже имени не знаиш?

— Ван, — пищит сестрёнка.

— Всё, я сваливаю, — и выкатывуюсь из дома.

ФО

Подхожу к зданию склада. Олд Фредди сидит на погрузочной платформе, курит и тока башкой трясёт када меня видит. Оглядываица на склад, потом снова на меня пялица.

— Чё? — гаварю.

— Безполезно, — отвечаит.

— Чё безполезно?

— Идти туда безполезно, — гаварит. — Уж, навернае, час прошёл, как Рейнолдс о тебе спрашывал. Где, гаварит, эта безтолоч? Если, гаварит, появица, передай, чтоб катился на все читыри стороны. Так и сказал.

— Чё? Уволил?

— А гаварят туго сображаиш.

— Не может беложопый меня уволить, — гаварю.

— А беложопый взял и смог, — гаварит Фредди.

— Пойду побазарю, — гаварю и иду к дверям.

— Дело твоё.

— Падумаишь, опаздал, — бурчу.

Фредди ржет в голос.

— На три дня опаздал, нигга.

Захожу в здание, там радио, блять, орёт, грёбаное кантри. Рейнолдс стоит у погрущика, трепица с мегаздоровым ниггой, который ему с утра до вечера жопу лижит. Только и слышно: “Биг Джим, пади сюда! Биг Джим, сделай то! Биг Джим, отсоси!” Рейнолдс поднимает башку и видит, что я иду.

— Фредди сказал я уволен, — гаварю.

— Так и есть, — отвечаит.

— Но за что?

— За то, что три дня на работе отсуствавал, вот за что.

— Я занят был, — гаварю.

— Зато теперь свободен, — гаварит. — Тут тебе больше делать нечива.

Глядю на него и прям руки чешуца вмазать, но Биг Джим с погрущика слез и встал между нами. Глядю на него и спрашывую: “А ты-то чё лезешь, *домашний нигга*?”

Биг Джим замахиваица, чтоб мне вломить, а Рейнолдс такой: “Погоди пацана калечить”. Потом ко мне поварачиваица: “Дуй атсюда, задох-

лик, пока Биг Джим отбивную из тебя не сделал”.

Глядю на кулачища Биг Джима и больше не возникаю. Разворачиваюсь и ухожу от этих ублюдков.

Топаю по адресу, что мать дала, в дом к тому типу с работой. Поишачу, думаю, пару деньков, срублю бабки, куплю пушку, а там уж сорву по-крупному. Может даже в Мексику рвану, попробую ихних сеньорит.

Дом на холме, да еще с круговым подъездом. Зашибись домина, у входа пара навороченных тачек. Одна красная с белой крышей, бмвешка-кабрибалет. Ни пылинки на мазафаке. На номере одно слово: “УЛЁТ”. Подхожу к двери, ищу звонок, а дверь вдруг раз — открываица. За ней нигга в розовой рубашке и бежевых штанах.

— Чем обязан? — спрашиваит.

— Я это… к мистеру Далтону, — гаварю.

— Я мистер Далтон.

Понятно, я малость в шоке. Думал, к белому мазафаке ишачить пришёл, а этот черней меня. Слова все нахрен повылетали.

— Слушаю тебя, сынок.

— Я по поводу работы, — гаварю.

Тут к нему подходит жирнушка. Тоже чёрная и одета как горничная из кина.

— Ты сын Сэйди Дженкинс? — спрашиваит.

Я такой:

— Да мэм.

— Мистер Далтон, — журчит жирнушка, — это сын моей подруги Сэйди. Я вам про него гаварила. Вы сказали нужен кто-то бассейн чистить и траву стричь, пока Фелипе в отпуске.

— Да-да, Лоис, — гаварит Далтон. Глядит на меня, руку протягиваит и мою трясёт. — Лоис тебе всё покажет. Я сейчас тороплюсь. Вернусь поздно, Лоис, не жди к ужину.

— Да сэр, мистер Далтон, — журчит Лоис.

Мы с Лоис глядим, как Далтон укатываит на своём крутейшем мерсе. Потом Лоис паварачиваица ко мне и раз — морда кирпичом. “Мне Сэйди про тебя рассказала. Тебе здорово повезло, сынок. Мистер Далтон многое может. Я дружу с твоей мамой. Вот почему ты тут. Понял?”

Я всё еще в шоке от домины и от того, что Далтон — чёрный.

— Слышиш чё гаварю? Ван, кажица?

— Ваще-то для всех я Го.

— Проходи, Ван, — Лоис впускаит меня и закрываит дверь. — Но смотри, сынок, один раз налажаиш, пулей отсюда вылетиш.

— Чё сразу наежать-то?

Она останавливаица и киваит. “Ладно, помогу твоей мамке. Как-никак подруга. Хочешь тут поработать?”

— А чё делать-то? — спрашывую.

— Подмитать, стричь кусты и траву, мыть машины, — объясняет. — Справишся?

Глядю по сторонам: мебель, картины, вазы — ваще атас. Во, думаю, срублю бабок, куплю пушку, потом вернусь сюда и натырю барахла. “Справлюсь”, — гаварю.

— Тока не ври, что хочеш работать, если не хочеш, — предупреждаит. — Я вранья не терплю. Соврёш — пулей отсюда вылетиш. Учти это.

— Всё будит ништяк, бабуля, — мурлычу. Подмазываюсь, типа.

— Думаиш я дурой до седых волос дожила? — гаварит. — Дерзить будиш, лучше сразу проваливай.

— Окей, — гаварю.

— Грязным не приходи. Перед работой мойся, — и башку воротит.

— А смысл? Всё равно ж вспотею и буду вонять.

— Но приходи чистым. Усёк?

Киваю.

— Чё, бежать домой мыца?

— Не умничай, — гаварит. — Иди за мной, покажу, чё делать.

Тащимся через весь дом — зырю по сторонам и фигею. Проходим комнату с баром, типа тусовочную — во, думаю, сюда потом под шумок вернусь. Выходим через стеклянные двери к бассейну. Нехилая лужа. Дно в разноцветных узорах, вода синяя, аж сверкает. Всюду скамейки со стульями, типа фешемебельный парк.

Лоис суёт мне метлу.

— Мети всё, что метеца, — велит. — Потом на совок и в пластиковый мешок. Мешки вон в сарайе.

Я такой:

— Грясь с улицы в чистый мешок?

Стоит пялица.

— Чё за бред, — гаварю. — Можно ж просто по сторонам раскидать.

— Делай, как я сказала, сынок.

— Окей.

Мету всё чё метеца. Потом еще граблями орудувую. Потом эта сука заставляет мыть пол в домике у бассейна. Если я до этого не вонял, то теперь воняю канкретно. Лоис оглядываит мою работу, кивает, но морда кирпичом. Велит прийти завтра и уходит в дом вместе со своей жирной жопой.

Решаю двинуть в бильярдную, узнать, чё там у Тито с Жолтым. Может, Тито угостит тако, жрать же охота. Прихожу, а Жолтый с Тито в пул рубяца.

— Куда пропал, нигга? — гаварит Тито.

— Работал.

Тито такой:

— Не мороч яйца, работал он.

Жолтый ржёт.

Тито бьёт по битку и выпрямляица.

— Нихера не работал. Я на склад ходил. Тебя выперли.

— Ага, а я всё равно работал, — гаварю.

— Где? — лезет Жолтый. Я ему:

— В Вест-Голливуде. — Беру кий и обхожу стол. Бью по битку. Жолтый мне:

— Эй, мы ж играем.

— Всё равно ты уже продул, — бросаю.

— Хули ты там забыл? — спрашываит Тито.

— Неважно, — гаварю.

— Нигга стримаица, — ржёт Жолтый. Я им:

— В доме у алигарха работую, окей?

— И чё делаиш? — прикапываица Тито.

— Подмитаю, — шептю.

— Чё-чё? — гаварит Тито.

— Подмитаю, — гаварю, и тут их ржа разбира-

ит. — Хуй вам в жопу.

— Чё подмитаиш-то? — не отстаёт Жолтый.

— Площадку вокруг бассейна, — гаварю. — Доволен?

— Подметалой к беложопому нанялся? — гаварит Тито и сигу в зубы суёт.

Фэтмэн орёт со своево табурета: “Не кури здесь!”

— Я чё зажёг, мазафака? — Тито тоже орёт.

Фэтмен ему:

— Гляди у меня. — А потом типа себе: — Снаружи чё хотите делайте, мне насрать, но здесь я вам курить не позволю”.

— Достал уже, дед, — гаварит Тито.

— Я не подметала, — гаварю. — И он не беложопый. — Трясу башкой. — Меня со склада выперли, так? А мать как раз про одно место сказала. Пойду, думаю, гляну, мне ж на пушку бабки нужны. Припёрся, кароче, а чувак черней меня. И домина у него пипец, ахуеть можно. Картины на стенах, мерс, бмвеха. Я прифигел, если чесно.

— Чё нигга делаит? — спрашываит Тито.

Глядю на него.

— На чём разбогател?

— Без понятия. Но багатенький мазафака. Бассейн, блять, больше чем весь твой дом.

— Пушер, — влезаит Жолтый.

— Не, — гаварю. — На пушера не похож.

— Тада адвокат.

— Заткнись нахрен Жолтый, — огрызаица Тито. — Списочек накатай, — это он уже мне. — Хочу знать, чё у нево там имеица.

— Ага, жди. Тока шнурки поглажу.

Тито мне:

— Я думал мы неразлейвода.

— При чём тут это? — гаварю. — Я как бабок наколочу и пушку куплю, так сразу сдёрну отсюда.

— Не врубаишся, нигга, — гаварит Тито. — Наколотиш бабок, купиш пушку, а потом мы заявимся с твоим списочком, грабанём мазафаку и поделим всё по чесноку.

Я угораю.

— А сматываца как с грёбаной картиной подмышкой? — интересуюсь. — Не, лучше я карейца грабану и банк. Грабану и сдёрну. На бабки всё купить можно. А на картину хрен ты чё купиш.

— Мы загоним картину, дурик, — гаварит Тито и косица на Жолтого, чтоб не ржал. — Скупщику сольём.

— Где ты скупщика видел в нашем грёбаном гетто, нигга?

— А правда, где? — это Жолтый.

Тито ему:

— Заткни пасть, Жолтый. — А потом мне: “Пупок, что ль, развяжица списочек накатать?”

— Ладно, хрен с тобой, — гаварю. — Может и накатаю.

И Тито такой:

— Гаварю же, неразлейвода.

Бью кием по битку.

— Купи мне чё-нить пожрать, Тито.

— Окей, — гаварит.

Тито покупаит буррито в торговой тележке Сэмми через дорогу. Сэмми слепой, но доллар от пяти отличаит. Нипонятно как, но хрен подсуниш. Стоим жрём, тут мимо тёлочка чешет. Шорты обрезанные, обе булки наружу торчат.

Жолтый мне шептит: “Агонь жопа”.

Не отвечаю, тёлку разглядываю. Вижу, она тоже на меня пялица. Шурую следом и догоняю на углу.

— Хей, бэби, — гаварю.

— И те, бэби, хей, — отвечаит.

— Чё-то я тебя тут раньше не видел, — гаварю.

— А меня тут раньше и не было.

— Опасный районч ик.

Оглядываит меня с башки до ног и такая:

— Ну.

— Так и будиш стибаца? — гаварю.

— А кто стибёца? — спрашываит.

Тут вспоминаю, что от меня потом разит, ну и такой:

— С работы иду. Обычно-то не воняю.

Ржёт. И я ржу.

— Тебя как звать?

— Кесра, — гаварит.

Киваю. Необычное имя. Прокручиваю в башке.

— А меня звать Го, — гаварю. — Ты куда сейчас, Кесра?

— Домой.

— Тебе скока?

— А тебе зачем?

— Мамка дома?

Вертит башкой.

— Гаварю же: опасный райончик. Давай провожу. Не против?

— Неа.

Тито мне кричит:

— Асторожно, нигга! Этой шмаре от силы читырнацать.

Мы с Кесрой уже улицу переходим.

— Тебе читырнацать есть?

— Дапустим, — гаварит. — Тебе-то чё?

— Ничё, — гаварю.

Глядю на Кесру, пока мы чапаим к её дому. Читырнацать, а сиськи уже на месте. Ростом, правда, не вышла и жирновата, но если сзади воткнуть и отжарить по-собачьи, она у меня, сука, залаит. А хули. Заделаю бэби номер пять.

— У тебя бэби есть? — спрашывую.

— Неа.

— А секс был?

— Есессно.

— Раз без бэби, считай не было, — учю. — Хочиш бэби?

— Ага. Кто же бэби не хочит.

— Я тебе зделаю, — гаварю.

ФАЙФ

Вобщим, приходим к ней, а там жирный хряк на диване дрыхнет, весь пивом провонял, дядя её. Она ржёт, пака мы мима крадёмся. А я такой: харэ ржать. Дядя ж здоровый, нахрен мне приключения на жопу.

— Не бэ, — гаварит Кесра. — Он ничё не зделает, даже если проснёца.

Попадаем к ней в спальню и она пихаит язык мне в глотку. Стаскиваю с неё свитер, а сисек-то под ним типа нет.

Я ржу: “Чё за херня. Ты ж плоская как доска”.

Сучка злица: “И чё теперь — не женщина?”

Целую её. “Ага, женщина она”.

Раздиваимся, я ложусь сверху и жарю её, жарю-жарюжарю. Она, канешна, вопит, что больно и всё такое, но ей нравица. Точно знаю, что нравица, а то бы так не вопила. Ибу по первому классу. Потом встаю и штаны натягивую.

— Завтра опять придёш? — гаварит.

— Не, бэби, мне сюда никчему таскаца.

— А?

Верчу башкой.

— Подрасти сначала. Низя мне с тобой светица.

Не знаит, чё сказать и отходит к окну. Наконец, спрашываит:

— На понт берёш?

Я типа: включи мозг. А она мне:

— Нигга.

— И чё? — гаварю. — Сама тоже нихуя не женщина. Ибаца не умеиш.

Она в слёзы. Потом дядю зовёт. Мазафака в дрова, но жопу отодрал от дивана и чё-то бормочит.

— Ты кто? — типа.

— Конь в пальто, — гаварю и хочу пройти через его комнату к входной двери.

Тут этот хряк встаёт паперёк, и я вижу, что на

нём пижама с клоунами.

— Давно себя видел, нигга? — гаварю.

— Ты о чём? — гаварит.

— В таком прикиде тока в цирке работать.

Тут эта сучка встаёт в проёме двери, вся такая жалейте меня, одеялом прикрылась. Хряк ей:

— Чё случилось?

А она такая:

— Он меня изнасилил.

— Чё за хуйня?

Тут он пытаица на меня бросица, грозит замочить, но я сигаю через диван — и уже у двери. Жирный ублюдок падаит и опракидываит банку с пивом.

— Ты у меня получиш, — хрипит.

— Это ты получиш, — гаварю. И глядю на Кесру. — Подарок в виде племянничка. Я в матку без промаха пуляю.

Кесра орёт:

— Я тебя ненавижу!

— А я тебя ненавижу, — отвечаю. — И чё?

Выбегаю из дома и ржу. Сначала бегу дворами — на случай, если у дяди пушка окажица. Выскакиваю на соседнюю улицу.

Мчу в бильярдную рассказать Тито и Жолтому про тёлку с её жирным дядей. Прямо вижу, как

они угорают над моим рассказом. Уже темнеит, када сворачиваю за угол возле школы. Глядю: по дороге две фары ползут. Еле-еле. Это ищё кто, думаю, и узнаю джип. Из него нигги всей бандой выскакивают и ко мне. Я дёру. Нигги не отстают. Лезу на забор баскетбольной площадки. Кто-та хватаит за ногу. Лигаю и перемахивую через забор. Ныряю в тень, просачивуюсь сквозь дыру в стене и чешу дальше по переулку. Потом вламываюсь в пустующий дом и прячусь, прислушываюсь. Вроде отстали. Тока рядом дышыт кто-то. Я такой:

— Кто тут?

А в ответ:

— Кто тут?

И ржёт. Потом чирк — и спичку к свече подносит. Вилли-алкаш, мазафака.

— Потуш свечу, нигга, — велю.

— Да нет их уже, сынок, — гаварит. — Чё ты натворил?

— Мажор там один. Навалял ему, и он теперь с братками вернулся. Мазафака. Однаво встречу — прибью.

— Крутой ты, а?

Глядю в красные глазища за свечой.

— Ага, крутой.

— Я сам крутым был, — гаварит. Я ему:

— Ну, щас-то ты не крутой. Щас ты всмятку. — И ржу, патамушта клёвая шутка.

— Ещё и хохмач, а? Мамка-та как твоя?

— Мамку не трож.

— Родинка под сиськой на месте?

Встаю навешать ему люлей.

— Сядь, сынок, — гаварит, жостко так, точна не своим голосом.

Сажусь.

— Послушай меня, сынок, послушай чё скажу. Я свою жизнь угробил.

— В натуре.

— Заткнись и дослушай, — гаварит. — Ты хоть свою не гробь.

— Ты мне кто ваще, чтоб учить? — гаварю. — Хуй с горы.

— Неважно, — гаварит. — Просто не хочу, чтоб ты путался с кем ни попадя и огорчал мать. Ей и так несладко приходица.

— Достал уже, — гаварю. — Я пошёл. — И двигаю к двери.

— Твоя мать — хорошая женщина.

— А ты алкаш. И чё?

— Не гробь жизнь, — гаварит.

— Ага, и тебе того же, — гаварю. — И с Рожде-

ством! И с Пасхой!

В бильярдной жирная шлюха, каторая там иногда ошиваица, увела Тито в дальний конец на минет. Это мне Жолтый сказал. Охота, канешна, глянуть, но нет. Шлюха и мне отсосать захочет, а я этава не люблю. Тито другое дело, он любому даёт сосать. Жолтый на меня пялица.

— Чё вылупился? — гаварю.

— Чё так вспотел?

Хочу расказать про мазафаку на джипе, но тада придёца сказать, что драпал.

— В баскет гонял, — гаварю.

— В баскет гонял? — и ржёт.

Я такой:

— Чё смешнова?

— Представил, как ты в баскет гонял, — гаварит. — Колись, чё взмок?

— Сказал же: в баскет гонял, — гаварю. — Отыбись.

Тито недалеко, ему всё слышно. “Чё там у вас?” — спрашываит.

— Ничё, — гаварю. — Тут нигга один на нервы мне действуит.

— Ага, — гонит Жолтый. — Мне тоже кой-кто на нервы действуит.

— Не нарывайся, мазафака, — предупреждаю и

глядю сурово.

— Хуйсаси, — гаварит.

— Свойсаси, — говорю.

— Свойсаси.

— Свойсаси.

— Свойсаси.

— Свойсаси.

— Свойсаси.

— Может, вам выйти и отсосать друг дружке? — предлагаит Тито.

Жирная шлюха дефилируит мимо. Машет Тито ручкой — типа пока.

Трясу башкой. “Как ты можиш давать в рот этой уродине?” — гаварю.

— Мамки твоих бэбис ещё срашнее, — отвечаит. — Эта хоть сосёт хорошо.

— Мамок моих бэбис не трож, — гаварю.

— Они ж те похуй, нигга, — гаварит. Достаёт сигу, чиркает спичкой.

Фэтмэн орёт:

— Не кури здесь!

— Дубак на улице, Фэтмэн. Затянусь и всё.

Фэтмэну, видно, не здоровица — он не спорит.

Жолтый мелит кий и лыбица.

— Так чё у тебя с малалеткой?

Я ему:

— Отаварил по полной.

— Чё может дать зассыха взрослому мужику? — гаварит Тито.

Глядю на него.

— Думаиш, ибать детей и клепать детей значит быть мужиком?

— Ты чё? — Я в шоке. — Чё за наезд?

— Разбивай давай, — гаварит.

Теперь мне реально паршиво. Играем молча. Тито смолит четвёртую сигу, бросаит окурки на пол. Фэтмэн подходит, глядит на Тито.

— Вот почему не хочу, чтоб курили здесь. Всё засрал.

— Отыбись, Фэтмэн, — гаварит Тито. — Тебе так и так подмитать.

— Ага, — лезет Жолтый.

Фэтмэн бурчит и идёт назад к своему табурету за стойкой.

— Вы чё-нить знаите про мазафаку Вилли Вонка? — спрашывую.

Тито кладёт в лузу пятёрочку и глядит на меня.

— Ты про алкаша у баскетбольной площадки?

— Ага, — гаварю.

— Встречал, — гаварит. — А чё? Нахрена он тебе?

— Нинахрена.

— Чё тада спрашываиш? — лезет Жолтый.

— Отыбись, — гаварю.

— Хуйсаси, — гаварит.

— Доставай, мазафака.

— Я б достал, да жалко тебя. Ещё заплачиш от зависти.

— Вы себя слышите? — гаварит Тито. — Вам чё, по двинацать? Херней страдаете.

— Достали вы меня оба, — гаварю им и ухожу.

СЕКС

Утром встаю и мою подмышки, патамушта воняют после работы и вчерашней ёб-сессии. Труселя тоже чистые надеваю, потом сажусь на кровать и глядю на часы с Микки Маусом — я их во время беспорядков себе надыбал. Тада нигги надо мной угорали, пальцами на часы показывали. У самих видаки и стереосистемы, а мне, блять, часы эти грёбаные понравились. Про Диссиленд напомнили. Я всего раз там был и помню тока главную улицу и как подумал: “Вот бы где жить”. А чё, мне похер, что нигги угорали над моими часами. Пашут же. Время идёт, стрелки крутяца, типа намикают: ты тоже крутись. Ничё, две недельки повкалываю и скоплю на пушку. А потом гляди в оба. Где Ван Го? Пиф-паф, иго-го.

Был да сплыл.

Выхожу на кухню, а сестрёнка уже за столом хлопьями зафтракает.

— Вкусное гавнецо, да, сестрёнка? — спрашываю.

Мать у плиты, оборачиваица и такая:

— Не выражайся при ней, сынок.

Игнорю. Мать мне яишницу поддвигаит. Сажусь и жру.

— А чё, мяса нет? — гаварю.

— Нет, тока яйца.

Думаю встать и уйти. Тока яйца? Чё за херня? Но жрать-то охота, ну и жру.

— Как тебе новая работа? — гаварит мать.

— Ничё, — отвечаю.

— Лоис рассказывала она там как во дворце.

— Не как, — поправляю. — Это риально дворец. Нигга при бабле.

Мать такая:

— Не смей так называть мистера Далтона.

А я ей:

— Ты ж меня так называиш. Чё, если при бабле, то не нигга? А я нигга, патамушта без бабла?

— Цыц, нигга, — гаварит.

Мать на меня глядит, я на неё, и мы как заржём. Кайфова снова поржать с мамкой. Ржём несколь-

ко минут. Потом я такой: “Всё, мне на работу пора”. А она: “Окей, нигга”. И опять ржём.

Сажусь в афтобус на Голливуцкие Холмы. Внутри себя продолжаю ржать с мамкой. Она мне три доллара перед уходом сунула. Вобщем, качу в афтике, входит белая тёлка и садица напротив. Прикид деловой, сразу видно на работу преца. Я такой:

— На работу?

Кивает и в окно пялица. Я опять:

— Где работаиш?

— В магазине, — отвечаит, на меня не глядит ваще.

— Чё за магаз?

Молчит.

— Чё за магаз?

Мимо.

Наклоняюсь вперед, упираю локти в колени.

— Боишся, что завалюсь к тебе на работу и поздаровуюсь?

Трясёт башкой.

— “Здорово” скажу, а тебя босс потом спросит: “Чё за нигга?” Этава боишся?

Тёлка встаёт и уходит в конец афтика. Рядом сидит старая негритиха и пялица на меня. Я ей: “Чё вылупилась?” Глаза отводит.

После афтика шурую ещё шесть кварталов. Жесть. Видно, када бабла завались, афтики рядом с домом не по кайфу. Может, их выхлопы раздражают. А может, пассажыры. Откуда я знаю. Тащюсь вверх мимо огромных домин и вижу: садовники на меня косяца. Большинство узкоглазые, взгляд недобрый, сразу хочица поскорей купить пушку и грабануть маево карейца. Блять, мазафака.

Иду по аллее к дому. Далтон нафвстречу катит, сигналит из тачки. Машу ему как дебил. Сую руки в карманы. Подхожу к двери, а Лоис уже ждёт, на часы пялица.

— Опаздал, но несильно, — фыркаит.

— У меня часов нет, — гаварю.

— А я тут при чём? Ты теперь зарабатываиш, вот и купи.

— Нахрен они сдались? Беложопые время выдумали, пусть сами по нему и живут.

— Нигга, ты крейзи, — гаварит Лоис.

Ржу, патамушта утром мамка меня тоже ниггой обозвала. И Лоис ржёт, хоть и не знаит, о чём я ржу.

— Проходи и за работу, — велит. — Первым делом машины вымой. — И ведёт меня в комнату за кухней. — Ключи вот тут в шкафчике. Маши-

ны в большом гараже, все читыри. Выводи по одной и мой.

— Как выводить? — спрашывую.

— Сказала же: ключи в этом шкафчике, чё неясно? — гаварит.

— За руль, что ль, садица?

— Ейбогу придурок, а я думала тока с виду.

Тачками дают порулить, во круть! Я в такой эйфории, что даже не огрызаюсь за придурка. Сгребаю ключи — и в гараж. Распахиваю двери, и вот они тачечки. Неясно тока нахрена их мыть. Сверкают так, что ослепнуть можна. Адна маленькая, красная, салон у самой земли — Феррари. Сажусь за руль — полный улёт, всё в коже, жаль Тито с Жолтым меня не видят. Завожу мазафаку и очко от страха сжимаица. Вруууум! Движок мощняга, но, блять, как бархатный. Надо, думаю, када-нить обзавестись такой же. Тока чёрной. Внутри чёрной, а снаружи чёрной с красной полосой посередке. Врубаю переднюю передачу и выкатываюсь во двор, сердце ахуеть как колотица. Кабамада, кабамада, кабамада — во как колотица. Глушу мотор и вылезаю. Хлопаю дверцей, отхожу и пялюсь — хочу представить, как за рулём смотрелся.

— Кончай мечтать, нигга, мой давай, — кричит

Лоис от стеклянной двери.

Беру шланг с ведром из сарая, обливаю мазафаку водой, тут из дома выходит ахуенная сучка в бикини, и я думаю, блять, ща риально концы отдам. Сучка кладёт полотенце на один из шизлонгов вокруг бассейна и прыг в воду. Ваще без брызг. Пялюсь в ту сторону, но с таво места, где тачка, не видно нихера. Иду к живой изгороди на тёлочку глянуть. Но она видит, что я глядю, и я не глядю. Тачка сзади осталась, стою как дурак. Блять, думаю, не стой, иди домывай эту грёбаную тачку. Иду, намыливаю мазафаке бока, вдруг слышу оклик. Глядю — у изгороди сучка в бикини.

— Ты, ты, — кричит. — К тебе обращаюсь. Поди-ка сюда.

Иду и чё-то очко сжимаица. Ну и злюсь, патамушта ненавижу када мне страшно.

— Как тебя зовут? — гаварит и прям обжигает глазами.

Я такой:

— Ван Го. Ван Го Дженкинс. Для друзей просто Го.

Она такая:

— Го. Клёвое имя. А я Пенелопа. Пенелопа Далтон. Давно тебя папка нанял?

— Вчера, — гаварю. И чё-то мимо глядю, не могу

в глаза.

Она мне:

— Надеюсь, нормально платит? А то папка у меня прижимистый.

— Нормально, — отвечаю.

— Тебе сколько лет?

— А тебе зачем?

— Просто.

— Двацать.

— Мне двацать два, — гаварит. — Универ вот только закончила. Стэнфорд. А ты? Учишся?

— Нет.

— А школу закончил?

Я такой:

— Мне это… тачку мыть надо. — И прям с души воротит.

Она мне:

— Эй, я не хотела тебя обидеть. Может, еще потом поболтаим?

— Ага, — киваю.

— Слушай, а ты водить умеешь? — спрашываит.

— Само собой, — гаварю.

Она такая:

— Супер. Я мигом.

Вобщем, намыливаю тачку и думаю: чё этой

сучке от меня надо. Весь на нервах, жду и гадаю. Смываю шампунь и сажусь на бампер.

Лоис из дома орёт:

— Чё сидиш? Тебя не сидеть наняли.

— Дочь мистера Далтона подождать просила, — объясняю.

Лоис выходит из дома.

— Это ещё зачем?

— Не знаю.

— Осторожней смотри, сынок.

Я такой:

— Ты о чём, бабуля? Не догоняю.

— А ты пошевели башкой и догониш, — гаварит.

Тут из дома выходит Пенелопа Далтон. В платье как короткая комбинация.

— Ты куда это собралась? — рычит Лоис.

Пенелопа ей так небрежно:

— Я попросила этого молодого человека… — И пялица на меня. — Как там тебя?

— Ван Го.

— Во-во. Я попросила Вана свозить меня за покупками.

Лоис такая:

— Господи-помилуй!

А Пенелопа ей:

— Уверена, что помилует.

Лоис косица на меня злобно и шипит:

— Смотри без глупостей.

А я думаю: блять, я ж не маньячела. Глядю на неё недобро и лезу в тачку. Пенелопа тоже лезет, причем не назад, а рядом. Фигасе! Меня аж потом прошибло.

— Погнали, — гаварит.

— Чё, прям так? — уточняю.

— Прям так, — гаварит. — Давай, Ван, газуй.

Никто меня Ваном не зовёт. Все зовут меня Го везде и всюду. Но я молчу. Ваще-та мне даже нравица, када она зовёт меня Ваном.

— Куда ехать?

— В “Роуз”, — гаварит. — Это в Санта-Монике. Ты рули, а я дорогу буду показывать.

Последние слова она нарошна растягиваит, и я опять на нервах, гадаю, чё они значат — может, намёк.

Подыжаем к крутейшему рестику, у входа не протолкнуца. Блонды в тёмных очках, беложопые качки в рубашках нараспашку — торсами форсят. Но Пенелопе внутрь не нада, ей нада подобрать какова-то ниггу. Она выходит из тачки, находит его, они обнимаюца, потом оба плюхаюца назад.

— Всё, Ван, погнали, — велит Пенелопа.

— Куда? — спрашывую.

— Давай к тебе на раён.

Пялюсь на неё в зеркало. Потом на нигу пялюсь. Рубашка шёлковая, на цепочке темные очки болтаюца. Пенелопа такая:

— Хотим поглядеть, где ты живешь.

А нигга:

— Ага, братан.

— Ван, это Роджер. Роджер, это Ван. Он на отца работает.

— Ну, круто, — гаварит Роджер. — Прокати на раён, в баскетбол сыгранём, может, травки курнём, жареной курочки грызанём. — И ржут оба.

— Погнали, Ван, — гаварит Пенелопа.

— Не знаю. Это ж отца твоего машина, — гаварю.

— Это моя машина, Ван, — гаварит. — Давай, покатили.

Пенелопа откидываица назад и пялица на меня в зеркало. Потом такая:

— Классный у меня папочка?

— Ну, типа, — отвечаю. — Нанял меня.

— Он, между прочим, твой район мощно поддерживает, — гаварит.

— Это как? — спрашывую.

— Кредиты даёт и юридические услуги по де-

шёвке предоставляит.

Роджер ржёт в голос, потом такой:

— Кароче, наживаица на нищете и нещастьях.

Гогочут хором и Пенелопа ему:

— Фильтруй базар, Роджер. А то вдруг Ван папке на тебя настучит.

Чуствую — ща взорвусь. Надо мной угорают? Угорают надо мной, мазафаки? Хочу вдарить по тормозам и вломить обоим. Чё, Роджер, блять, крутышом себя возомнил? Гавнюк. Не крутыш ты, а грёбаный мазафака, полоснуть бы тебе по глотке.

А Рождер такой:

— Ты где-то тут живёш, Ван? Это у нас что? Комптон?

Не отвечаю. Глядю на них в зеркало. Пяляца в окна, будто мы в Джунгляндии или типа таво. В Диссиленде на подводной лодке фигачим. Нигги на улице челюсти роняют, када видят кто за рулём, и меня от этого прёт. Только эти суки сзади вид портят, из-за них я выгляжу простым водилой.

Пенелопа наклоняица вперёд и руку на плечо мне кладёт.

— Отвези нас поесть в какое-нить калоритное место.

Чуствую её руку на плече и чучуть успокаиваюсь.

— Типа чево? — гаварю.

— Типа чё-нить поприкольнее, — объясняит. — Рёбрышки там. Чё-нить такое.

— Эй, Ван, — это уже Роджер, — ты школу закончил?

Молчу.

— Ничево не потерял, если не закончил. Работы всё равно нет. — И снова в окно глядит. — Надо ж, тут дворы ухоженые.

— А ты чё ожидал? — спрашывую.

— Ну, чё: срань, трущобы.

Пенелопа ему:

— Здесь такие же люди, как мы. — Потом ловит мой взгляд в зеркале и такая: — Подумай про коледж. Папочка и стипуху мог бы устроить.

— За што ж мне стипуху дадут? — гаварю.

— Не знаю. Ты неимущий, это уже критерий.

Роджер ржёт.

— Бегаиш быстро? Если да, лехкоатлетом возьмут. В баскет играиш?

— Могу, — гаварю.

— Ну, видиш! Баскетбольная стипуха.

Роджер доволен как слон. Глядю на него в зеркало, а он на меня не глядит.

Начинаю парица: как бы меня Тито с Жолтым не увидели. Решаю заехать в рёберную в паре улиц отсюда. Тито с Жолтым там точно нет: Тито из неё вышвырнули, патамушта он официантку лапал. Но када паркуюсь, внутрь идти не хочу. Не хочу светица с этими козлами.

Пенелопа с Роджером выходят, а я сижу. Пенелопа такая:

— Ты чё, не голодный?

— Не, не голодный, — гаварю.

— Мы платим. — Это, блять, мазафака Роджер.

— Тут тачку без присмотра лучше не оставлять, — гаварю.

— Брось, — гаварит Пенелопа. — Забей на машину, страховка же. Если чё, новую купим. Пошли.

Всё, блин, попался. Как зверёк, пойманный на дороге. Злоба душит, но у них бабки, а я знаю, как это важно. Мистер Далтон в бабле купаица. А у меня ни шиша. Не хочу идти с ними, но иду. Интересно, чё они ко мне прицепились и так передо мной стелюца. Солнце палит над гетто, и я бьюсь в паутине света. Рёберная называица “Кухня Эрни”. Вхожу за ними.

Тут же кто-то знакомый издали машет, на Пенелопу с Роджером пялица. Из другова угла

Клеона меня глазами сверлит. Всё еще злица, но, блять, интересно же. Машет мне. Мы садимся, и Пенелопа такая:

— Ты её знаешь?

— Канешно, знает, — гаварит Роджер. — Он тут, наверное, всех знает. Да, Ван?

Не отвечаю.

— Пригласи её к нам, — предлагаит Пенелопа.

— Чё ей через весь зал пробираца, — гаварю.

Официантка приносит пиво и курицу. Начинаим жрать.

— Зашибись курочка, — гаварит Роджер и глядит на меня. — Гаварят тут так — “зашибись”?

— Ага, месные гаварят, — гаварю.

Они наворачивают, а в меня чё-то не лезет.

— Еш, — велит Пенелопа.

— Я не голодный, — гаварю.

— Ещё пивка? — спрашываит Роджер.

— Ага, — гаварю и глядю, как он льёт в мой бокал. Пенелопа мне:

— Чем твой отец занимаица?

— Нет у меня отца, — отвечаю.

— Умер?

— Не родившись.

— А мать кто? — влезаит Роджер. — Жива?

— Ага, жива, — гаварю. — Рабыня.

Пенелопа с Роджером переглядываюца и громко ржут.

Все на нас пяляца.

— Ну, ты отмочил, — ржёт Пенелопа. — Рабыня. Это сильно.

— Скажи, Ван, — гаварит Роджер, — у тебя есть девушка?

Глядю на него и ржака разбирает.

— Да я, блять, уже отец четырёх бэбис.

Пенелопа глядит на Роджера, Роджер на неё, и они опять угорают. Пенелопа такая:

— Да, ладно! Четверых? Ты женат?

— Еще нихватало.

— Не женат, но какая-то женщина родила от тебя четырёх бэбис? — уточняит Роджер.

— Нет, — гаварю, — не одна женщина, а четыри разных.

Они переглядываюца, и Роджер типа свистит, но беззвучна. Потом оба пяляца на меня.

— Чё вылупились? — гаварю.

— Ничево, — отвечаит Пенелопа. — Четверо детей, круто. Ты их видиш?

— Я своих бэбис не бросаю, — гаварю и берусь за курицу. Вгрызаюсь в бедро как в последний раз. Весь в жиру, блять. Отпиваю пива и вижу, они сваливать собрались. Вытираю рот рукавом.

— Классное место, — гаварит Пенелопа. — Спасибо, что показал.

Они сзади сидят, и я их по городу катаю, как прирожденный дебил. Выихали из гетто, но им пофиг, патамушта бухло из фляжки хлещут. Роджер предлагаит глотнуть. Отказываюсь. Отхлёбываит сам и ржёт надо мной.

Хочу по тормозам вдарить, выволочь ублюдка из тачки, надрать задницу. Но здерживуюсь, патамушта бабла их боюсь, и мне от этава риально хреново.

Велят в даунтаун ехать. Роджер, типа, знает, где там можно травкой разжица, и Пенелопа такая: “О, класс!”. А мне чё, я водила. Приежаем к вокзалу. Стою, привалившись к тачке, глядю как богатенький Ричи и Вероника покупают пакетик щастья, и вдруг вижу: подкатываит джип. Ничё себе — опять этот джипер, да ещё с приятелем. Паркуюца за мной, выходят, и я думаю, блять, чё делать, а они уже вот.

— Какие люди, — гаварит джипер.

— Хуйсаси, — гаварю и сходу кулаком ему в морду. Бэм!

Из глаза вылетает чё-то типа жука, густое и красное, и меня прям прёт от удара. Прям эйфория. Так прёт, что почти не чуствую, када

приятель джипера мне в грудь вмазывает. Бью ему коленом по яйцам — кланяйся, мазафака! Но он мне не нужен. Мне нужен джипер, и я ему опять морду кулаком размягчаю, мисю как тесто. Бэм! На кулаке кровь, джипер в отключке. Не будет больше перед носом крутица. Слышу крик, глядю — Пенелопа. В обморок валица, и Роджер её подхватывает.

— Они на меня напали, — объясняю.

— Уежаем побыстрому, — велит Роджер.

Прыгаем в тачку, бью по газам. Кулак в крови, сердце колотица, но меня прёт. Прёт неподецки. “Ну, чё, купил травы?” — гаварю.

— Ага, — гаварит Роджер.

— Так, скручивай скорей, нигга. — Глядю на Роджера в зеркало и по лицу вижу, что его никогда ниггой не называли. — Нигга не оскорбление. Я тоже нигга.

Скручивает косяк, а Пенелопа очнулась и фляжку приканчиваит. Пьяная в дрова. Смолим косяк, я рулю. Спрашывую у Роджера:

— Ты хоть раз дрался?

— Ну, так, — отвечаит.

— Чё значит “ну так”?

— У меня чёрный пояс по ушу, но на улице ни разу не дрался.

Поднимаю кулак с засохшей кровью на костяшках.

— Вот мой чёрный пояс.

Пенелопа громко и пьяно икает.

— Вы каждый день так накачиваетесь? — гаварю.

Ответа нет. Пенелопа вырубилась, а Роджер наминаит ей сиськи.

— Эй, Роджер, — гаварю.

— Чё?

— Я назад поеду. Тебя тут выкину, — Торможу, оборачиваюсь и глядю ему в глаза. Он в хлам и не спорит. На Пенелопу глядит. — Её домой отвезу, — поясняю.

— Окей, — гаварит Роджер.

Он вылезаит, а Пенелопа растягиваица на сиденье. Бью по газам. Роджер глядит мне вслед.

Привожу Пенелопу домой практически в темноте. Кое-где свет, но в остальном тихо. Пенелопа то дрыхнет, то просыпаица, бормочет чё-то, но чё — не понимаю, херь какая-то. Вытаскиваю её из тачки — на ногах не стоит. Волоку к входной двери, сердце стучит как бешеное. Бум-бум-бум-бум-бум, точно хочит грудь прошибить. Бум-бум-бум-бум-бум. Потом эта сучка начинает песню орать, и я ей велю:

— Заткнись!

Пялица на меня, типа: ты ваще кто, чтоб мною командовать?

— Ликуй, ликуй, под музыку танцуй, — вопит еще громче.

Прошу по-хорошему:

— Пенелопа, пажалста, очень тебя прошу, не ори. Ты же не хочиш, чтоб все сбежались?

Пялица на меня, потом прикладывает палец к губам и такая:

— Тсс. — Глядит на дом. — Туда не нада, — шептит. — Отнеси меня в домик у бассейна.

— Окей, — гаварю.

Делаю, чё сказала, тащу её на себе за дом, потом вдоль бассейна. На воде свет из окон блестит. Гудит чё-то — насос или другая хрень. Открываю дверь домика и опускаю Пенелопу в шизлонг. Глядю, как тело медленно вдавливаица в матрас. Глядю и не могу понять, чё чуствую. То ли хочу быть, как она. То ли ненавижу её. Ненавижу её бабки. Ненавижу её папочку. Ненавижу то, как она на меня глядит, типа хули ты понимаиш в этой жизни. Но, блять, светица. Чё-то даже от белой в ней есть, и я её ненавижу за это. Но, блять, притягиваит как магнит. Рубашка чучуть расстегнулась, и одну сиську немного видно. Ничё

так сисечка. Лезу потрогать. Шёлковая, блять. Тискаю маленький сосок, она стонет и вряд ли понимаит, кто её тискаит. Тут слышу шаги. Глядю и вижу силуэт у бассейна.

— Пенелопа? — зовёт. — Пенелопа? Это ты?

Тётка какая-то. Блять, думаю. Я тут с пьяной сучкой. Точно в тюрягу упекут. Пенелопа чё-то мычит. Тетка слышит и подходит к двери домика.

— Пенелопа? — зовёт.

Зажимаю Пенелопе рот своими губами, чтобы не пикнула. Не видно нас, мы в тени, а у тетки белая трость в руке. Во дела: слепая, сука. Кароче, ржака. Я бы и заржал, но не могу, патамушта своим ртом рот Пенелопе затыкаю, а она со мной уже лижица вовсю. Хотя без понятия, кто я. Слепая тётка уходит в дом. А меня уже не сдержать. Пенелопа такая: “Роджер!”, а я думаю: плевать, за каво она меня принимает, сейчас отдрючу. Точно. И дрючу. Жопа костлявая, для меня маловата, но всё равно отдрючу. Раздвигаю и всаживаю. Ещё. И ещё. Хочу разбудить её и сказать: “Херовая у тебя дырка”. Но она дрыхнет. Спящая, блять, красавица. И от поцелуя не просыпаица.

СЕБЯ

Утром в комнату вбигаит сестрёнка. Вопит, чтоб встал и подошёл к телефону. Отмахиваюсь, спать хочу — не отстаёт.

— Чё за хуйня? — гаварю.

— Тебя к телефону, — пищит.

— Кто звонит? — продираю глаза, перебираю варианты. Копы? Мистер Далтон? Кто там? Сон как рукой снимаит.

— Телебизор, — пищит сестрёнка.

— Чё?

— Снуки Кейн, — гаварит. — Тебе из её шоу звонят.

— Да пошла ты, — гаварю. — Несмешно.

— Чесслово.

Встаю и прусь к телефону в одних труселях. В телефоне сучка какая-то просит подтвердить, что я это я. Спрашывую:

— Чё за хуйня? Чё надо?

Слышу, ржет в сторону. Потом такая:

— Хотим на шоу тебя пригласить.

Разводка, думаю.

— Ну-ну, заливай, — гаварю. — Чё вдруг?

— Тут кое-кто из наших гостей сюрприз тебе хочет сделать. Этот “кое-кто” в тебя втрескал-

ся. — Вздыхаит. — Запись шоу сегодня в час. Мы в “Оптик уайт студиос” в Бербанке. Павильон Эф.

— Чё, серьёзно? — гаварю.

— Серьёзно, — отвечаит. — Успеешь?

— В меня риально втрескался кто-то?

— Реально.

— Это шоу Снуки Кейн?

— Да.

— И Снуки Кейн там будет?

— Да.

— И меня прям по телеку покажут?

— Да.

— Окей, прикачу, — гаварю.

— Постарайся к двенацати трицати, — гаварит.

— Ладно, — обещаю.

Вешаит трубку. Я тоже. Глядю вниз и вижу сестрёнку. Она наоборот вверх глядит, на меня. Я ей:

— Я у Снуки Кейн буду.

Сестрёнка как завопит:

— Ого! Ого! Го у Снуки Кейн будет!

И в кухню шурует. Я за ней. Она уже мамке рассказываит.

Мамка такая:

— Ты чё натворил, сынок?

— Ничё. В меня кто-то втрескался, — объясняю.

Мать совсем прифигела.

— Так в телефоне сказали. Шоу сегодня снимают.

Сестрёнка в экстазе.

— Ого! Ого! Мам, мы пойдём смотреть Го в телебизоре?

Мамка явно встревожина. Лыбица и грит:

— Куда ж мы денемся.

— Сынок, ты чё нацепил? Тебя ж на всю страну показывать будут, — гаварит мать.

— Ага, отыбись, — гаварю.

— Не смей так со мной разговаривать, — гаварит. — И в телебизоре так нельзя.

— Как хочу, так и буду разговаривать, не их дело, — гаварю. — Поехали уже.

Соседка Хуанита-Мак везёт нас на своей тачке. Мы с сестрёнкой трясёмся сзади, а эти две жирные жопы спереди. Всю дорогу болтают, может даже обо мне или со мной, но я не слушаю, патамушта думаю про вчера и как Пенелопе вставил.

Чуствую себя виайпи. Потом думаю: интересно, кто в меня втрескался. Не, я реально ВИП.

Подыжаим к студии. Нигга в униформе велит парковаца хрен знает где через дорогу. Наклоняюсь вперед, высовываюсь в окно Хуаниты-Мак и ору мазафаке: “Меня в телебизоре ждут, нигга!”

— Да хоть на Луне, — гаварит. — Паркуйтесь вон там, в секторе “С”.

— Думаиш, униформу надел и теперь ты главный, — гаварю.

Пялица на меня.

— Сядь на место, — шипит мать.

Хуанита-Мак паркуица, где сказали, мы переходим через дорогу на студию и видим очередь к павильону Эф. Иду в начало и гаварю охраннику, что я к Снуки.

— Зовут как? — спрашываит охранник.

— Ван Го Дженкинс, — гаварю.

— Окей, — гаварит. — Иди вон в ту дверь. Там тобой займуца.

— А мамка с сестрой?

— И Хуанита-Мак, — вставляит мать.

— Ага, — велю. — Их тоже пустите.

— Окей, окей, — обещаит, — их тоже пустим. Я прослежу.

Прохожу внутрь и вижу, люди в очереди на меня косяца. Знают уже, что в телебизоре буду. Нахожу дверь 3. Стучу, дверь открываица. Там стоит симпотная белая тёлка, но глядит недобро. Я такой:

— Меня зовут Ван Го Дженкинс.

— Хорошо, входи, — гаварит, хватает мою руку

и втаскивает. — Глория!

Подбегает худая блонда.

— Да, Пэм?

— Отведи этава в гримёрку, пусть блеска добавят, — велит Пэм и глядит в планшет с прищепкой. — Потом проводиш в первую кабину и выдаш наушники с микрофоном.

Глория такая:

— Поняла, — потом на меня пялица. — Пошли.

— О чём шоу севодня? — спрашывую.

— Не могу разглашать, — гаварит Глория.

Иду за ней по длинному коридору.

— В меня кто-то втрескался, — гаварю.

— Бывает, — гаварит.

Заходим в комнату — там нигга в лиловых брюках и розовой рубашке, концы на голом пупе в узел завязаны, ну пидор.

— Прыгай в кресло, зайка. Педрильо из тебя сейчас конфетку сделает.

— Да ну, блять, — гаварю и к Глории поворачивуюсь. — Этот ай другими пусть занимаица, мне моя жопа еще понадобица.

Педрильо такой:

— Жопу трогать не будем. Во всяком случае пока.

Глория кладёт руку мне на плечо:

— Ты же хочеш быть в телеке?

— Ага, — киваю.

— Хочешь, чтоб все эти, кто стоял в очереди, тебя на сцене увидели? — И рубашку мне на груди разглажываит.

— Ага, — киваю.

— Тогда разреши Педрильо тобой заняца, — гаварит. — Больно не будет, обещаю.

— Давай, малыш, падай в кресло, — велит пидор. — Неужели ты меня боишся?

— Не, я никаво не боюсь, тебя тем более, — гаварю.

— Тада садись.

Сажусь. Нигга зачёрпывает вазелин и давай мне им по лицу размазывать.

— Зачем эта хрень? — гаварю.

— Будиш блестеть, как настоящий теленигга, — объясняит. Разеваит рот и ржёт, а мне у нево во рту всё видно. Все его золотые пломбы. Закрываит рот. — Значит, в тебя втрескался кто-то, да, бэби?

— Так мне сказали, — гаварию.

— Неудивительно, — гаварит. — Догадываишся, кто?

— Без понятия. Много вариантов.

— О-о-о, — визжит, — это я уважаю! Уверенность в себе. А вдруг это мущина?

— Огребёт тада, — гаварю. — Навешаю люлей прямо в телебизоре.

— Ну-ну, — гаварит. — Готово.

— Всё?

— Всё. — И кричит: — Глория! Глория!

Входит Глория и пялица на меня.

— Хорошо блестиш, — гаварит.

— Забирай этава серцееда, а то он за свою жопу боица, — гаварит Педрильо.

— Гляди, как бы тебе за свою бояца не пришлось, — предупреждаю. А он такой:

— Сплю и вижу, — и ржёт. — Только ведь не справишся.

— Идём, — гаварит Глория и тащит меня из комнаты опять в коридор. — Скоро уже начинаим. Я тебя в кабину должна проводить и наушники выдать. Ты какую музыку любиш?

— Я рэп люблю, — гаварю.

— Рэпа у нас полно, — гаварит. — Теперь тут стой. Вот наушники. Камеру видиш?

— Ага.

— Када красная лампочка горит, ты в эфире.

— Хуясе, — гаварю.

— Именно. Молчи, главное, — объясняит. — Я потом музыку выключу и дам команду на выход. На сцену пойдеш вот по этой красной линии.

Понял?

Киваю.

— Ну, всё тада. Жди маево сигнала.

— Окей.

Она сваливаит, и я почти сразу слышу в наушниках трэшёвый рэп. Минут через десить, как она и сказала, на камере зажигаица красная лампочка. Лыблюсь на неё и типа пританцовывую под музыку. Так повторяица еще пару раз. Потом, как она и сказала, музыка вырубаица, и Глория велит идти на сцену.

Шурую с понтом по красной линии — за угол, через какую-то дверь, вниз по лестнице, на сцену, и, блять, на-тебе. Вижу четвырёх моих бэбис на коленях у своих мамок. Аспирина на коленях у Шаринды. Тайленола на коленях у Рейниши. Дексатрина на коленях у Робертарины. И Рексалл на коленях у Клеоны. Рядом с Клеоной свободный стул, и када я в него сажусь, этот алигафренд начинаит тянуть меня за рубашку. Зрители шикают и свистят, я глядю в зал и, кажица, даже вижу их уродские лица. Свет лепит в глаза, показываю им средний палец. Типа: освистываете? Всех урою.

Снуки Кейн, сука жирная, стоит прямо в зале и с понтом такая:

— Какая сегодня публика строгая… Добро по-

жаловать на шоу, Ван Го. Покажите нам крупно его лицо. Мы сказали Ван Го, что здесь он найдет кого-то, кто в него втрескался. Неожиданно, да, Ван Го?

Глядю в камеру.

— Ага, неожидано, — гаварю.

— Сегодняшнее шоу называется “Ты сделал меня мамой, а деньги где?”, — продолжаит Снуки. — Так где же деньги, Ван Го? Все эти женщины утверждают, что ты ничего им не даёшь на детей.

— Я своих бэбис не бросаю, — гаварю.

— Это совсем не вяжется с тем, что мы слышали раньше.

— Не знаю, чё у вас с чем вяжица, но я своих бэбис не бросаю.

— Ври да не заврирайся, — кричит Рейниша. — Ни цента я от тебя не видела, гад!

Зрители угорают. Я цыкаю на Рейнишу:

— Сиди и молчи, блять.

— В эфире ругаться матом нельзя, — гаварит Снуки. — Тем более при детях.

— Но ведь шлюха врёт, — объясняю.

А Рейниша такая:

— Кто это шлюха?

— Ты, блять, — гаварю.

Зрители дружно шикают и свистят. Снуки Кейн подходит ближе к сцене.

— Следи за словами, Ван Го.

— Обещаниями тока кормит, — встривает Клеона.

Давлю её взглядом, патамушта рядом сидим.

— Ты хоть раз давал Клеоне деньги, Ван Го? — гаварит Снуки Кейн.

— Чё?

Зрители угорают.

— Да или нет: ты хоть раз давал Клеоне деньги на Рексалла?

— Я без работы тада сидел, — объясняю.

— Но сейчас у тебя есть работа, не так ли?

— Ага, но мне еще не заплатили.

— Значит, когда заплатят, каждая из этих четырёх женщин получит от тебя деньги?

— Получим, как же, — влезаит Шаринда. — Ему на всех, кроме себя, плевать.

— Ага, все чё-нить получат, — отвечаю.

Робертарина громко гогочит.

— Херня. Не поверю, пока не увижу.

— Следи за словами, Робертарина, — напоминаит Снуки Кейн.

Робертарина такая:

— Пардон.

— Ничё так получился сюрприз, да? — обращаица ко мне Снуки Кейн. И потом в камеру: — После рекламной паузы мы попробуем добраться до сути и послушаем мнение зрителей.

Лампочки на камерах гаснут, и Снуки Кейн окружают гримёры и визжажисты. На меня ноль внимания. Тока Клеона косица. Я такой:

— Чё нада?

А она мне:

— Заткнись.

— Ты с кем, блять, так разговариваиш? — гаварю.

Тут здоровенный мазафака с какой-то херовиной на башке провод тащит.

— Чтоб мата больше не слышал, — предупреждаит.

А я ему:

— Вали отсюда, губастый.

А он:

— Ещё одно матерное слово — и пулей отсюда вылетиш. — Пальцем меня в грудь тык и глядит в упор. — Усёк?

— Усёк.

Рейниша пялица на меня и ржёт. Я такой:

— Поржи ещё, блять.

— А чё ты мне сделаиш? — спрашываит. — То-

ка сунься, я те устрою встречу. — Намекаит на пушку.

— Жду с нетрепением.

Тут опять включаюца камеры.

— Мы снова вместе, — лыбица Снуки Кейн. — И наше сегодняшнее шоу называется “Ты сделал меня мамой, а деньги где?”. На сцене перед вами Ван Го Дженкинс, отец четырёх детей от четырёх разных женщин. Итак, Ван Го, ты признал, что не давал денег на уход за твоими детьми.

— Ничё я не признал, — гаварю.

— Тока обещаниями кормит, — влезаит Клеона.

— Заткнись, блять, — гаварю.

Зрители шумят.

Снуки Кейн суёт микрофон жирной дуре в корнроузах.

— Он себя не уважаит, вот в чём проблема, — гаварит жирдяйка. — А как тада других уважать?

— Я себя уважаю, — гаварю.

А жирдяйка мне:

— Что-то незаметно, сынок.

— Я те не сынок, — гаварю. — Молчала бы лучше с такой жопой.

Встаёт высокий худой парень и гаварит:

— По-моему, у мистера Дженкинса проблема

с самооценкой, особенно что касается его мужского начала.

— Моё начало почище чем твой конец, — говорю.

Зрители угорают, и мне это нравица.

— У тебя для всех есть ответ, не так ли? — лыбица Снуки Кейн.

— Точно так, — соглашаюсь. — Кому ещё ответ нужен, обращайтись.

Снуки Кейн продолжаит:

— От Шаринды мы узнали, что в постели ты не ахти.

Зрители угорают. Я такой:

— Шаринда врёт. Шаринда кричала не своим голосом.

Зрители шумят.

— Я кричала, чтоб не заржать, — влезаит Шаринда.

Зрители угорают.

Чуствую, кровь к лицу прилила, нога задёргалась, губы вроде шевеляца, а слова не идут.

— Вот и нечего тебе ответить, Ван Го, — гаварит Снуки Кейн.

— Сама такая, — гаварю.

Шаринда откидываица на спинку стула, щелкаит пальцами и гаварит:

— Одно могу сказать: я нашла себе мужика и кричу с ним взаправду.

— Давайте же с ним познакомимся, — предлагаит Снуки Кейн. И потом в зал: — Хотите?

Зрители хором:

— Да!

Снуки Кейн:

— Бешеный Пёс, выходи!

Зрители угорают над кликухой. Я тоже ржу, патамушта на сцену с понтом выходит нигга размером с фигу. И это Бешеный Пёс? Блять! Да я ево одной левой.

— Это ж обмылок какой-то, а не мужик, — бросаю зрителям.

Бешеный Пёс глядит на меня, и ему, типа, пофиг, чё я там вякнул. Типа дураком выставляет. Прессую его взглядом. Надо проучить мазафаку.

— Бешеный Пёс, — гаварит Снуки Кейн, — что ты обо всём этом знаеш?

Бешеный Пёс откидываица на спинку стула, как Шаринда, и гаварит:

— Ничё я не знаю, но вижу, что этот нигга — дерьмо без палочки.

Зрители кричат.

— Следи за словами, Бешеный Пёс, — напоминаит Снуки Кейн.

— Извиняюсь, — гаварит Бешеный Пёс.

— Твоё щастье, что успел извиница, — гаварю.

Бешеный Пёс ржёт.

— Слушай, пацан, я за твоей дочкой каждый день ухаживаю, как за родной. А деньги где?

Зрители воют.

— Там же, где и ты сам, — продолжаит Бешеный Пёс. — В нигде.

Я вскакиваю, а этот обмылок даже не дёргаица. Пялица на меня с видом “неохота-с-дерьмом-мараца”. Тут подваливает амбал с херовиной на башке и силой сажаит меня на место.

— Во-во, сиди и не рыпайся, — гаварит Бешеный Пёс ваще без эмоций.

Бешеный Пёс обращаица к Снуки Кейн и зрителям.

— Я скажу, в чём его проблема. С Шариндой порезвица охота, а в карманах пусто.

Зрители снова воют.

— Аспирина такая славная, — продолжаит Бешеный Пёс. — Она мне как родная.

Зрители такие: “О-о-о”.

— Какой ты трогательный, Бешеный Пёс, — вздыхаит Снуки Кейн.

Бешеный Пёс лыбица Шаринде и теребит щёку Аспирине.

Глядю в первый ряд — вон мамка с глазами на мокром месте. Ненавижу мамку. Люблю мамку. Ненавижу. Люблю.

Снуки Кейн суёт микрофон белому парню, он кладёт руку себе на бедро и такой:

— По-моему, этого плейбоя нельзя и близко подпускать к девушкам.

— Заткни пасть, пидор, — ору.

А он мне:

— Подойди и заткни. Затычка-то, небось, для моего рта маловата.

Зрители угорают.

Пидор продолжаит:

— Вот ты, в красной блузке…

— Клеона, — подсказываит Снуки Кейн.

— Клеона, — гаварит пидор. — Брось ты его и найди себе нормального мужика.

— Чё ты в мужиках понимаиш? — ору и хочу заржать.

— Зайка моя, да я только в них и понимаю, — отвечаит.

Зрители угорают.

— Блять, — злюсь про себя. Глядю на мать, она уже рыдаит вовсю.

Снуки Кейн видит, что мамка рыдает, идёт к ней и суёт микрофон.

— Представьтесь, пожалуйста, — просит.

— Я мамка его, — гаварит моя мамка.

— Почему вы плачете, миссис Дженкинс? — интересуица Снуки Кейн.

— Не таким я его растила, — гаварит мамка.

Снуки Кейн мне:

— Мать из-за тебя плачет.

— Да она постоянно плачит, — гаварю. — Падумаиш.

Зрители орут.

Снуки Кейн суёт микрофон жирному белому парню.

— Как он может уважать этих четырех женщин, если он мать родную не уважает?

— Верно, — соглашаица Снуки Кейн. — Но постойте. — Это уже зрителям. — Ван Го Дженкинс, у нас для тебя есть еще один сюрприз.

— Ага, какой?

— Где ты сейчас работаешь? — спрашываит Снуки Кейн.

— Временно без работы.

— Ты разве не работаешь в доме Далтонов?

Молчу.

— Тебе знакомо семейство Далтон?

— Знакомо.

— А Пенелопа Далтон?

Глядю на дверь и по сторонам. Пенелопе-то это шоу на кой?

— А чё, она здесь? — спрашываю.

— Нет, Ван Го, Пенелопы здесь нет, но есть её представители, — отвечаит Снуки Кейн.

И из правой двери выходят два копа.

— Судя по всему, вчера ты перешёл все границы, Ван Го, — гаварит Снуки Кейн и к мамке теснее жмёца. — Я вам очень сочувствую, миссис Дженкинс.

Копы прут ко мне.

Снуки Кейн такая:

— Судя по всему, вчера наш гость изнасиловал женщину. Ему будут предъявлены официальные обвинения.

Вскакиваю и гоню к левой двери. Там тоже копы. Блять! Гоню вглубь сцены мимо Бешеного Пса. Мазафака сидит без эмоций, типа он не при чём.

Продираюсь сквозь зрителей. Тот пидор, что выступал, не даёт пройти, бью его коленом, он падает. Зрители пытаюца меня схватить, оттесняют обратно к первому ряду. Я возле мамки. Мамка плачит. Я возле Снуки Кейн. Она как кукла. Меня вот-вот схватят копы. Ныряю вниз, ползу на коленях между ногами, снося всех направа и налева.

Добираюсь до выхода, даю охраннику в бубен. Рву когти. Выбегаю из здания, выбегаю из студийного комплекса, выбегаю с парковки, бегу вниз по крутому склону, через хайвей и железнодорожные пути. Сердце стучит, стучит, стучит.

ЭЙТ

Кароче, удрал и кантуюсь по переулкам. Есть пара баксов — мать ещё до шоу дала, — но не хочу пока тратить. Но жрать, блять, хочица. Канешна, зря я к себе на раён вернулся, а чё оставалось? Тут мне каждый угол знаком, найду, где укрыца. Иду к школе, тусуюсь в тени у входа, глядю на баскетбольную площадку. Слышу шаги. Ближе, ближе, уже не сдёрнеш, жмусь к стене, не дышу.

— Го, нигга, ты?

По голосу, вроде, Рейниша.

— Рейниша?

— Ага. Выдь из тени.

— Ты одна?

— Ага, — гаварит. — Думала, не уйдёш. Копы до сих пор на студии тебя ищут.

— Подумаиш, двацать копов. Херня вопрос, — гаварю. — Ты за мной пришла или так?

— За тобой, — гаварит. — Выдь уже.

Выхожу, спускаюсь с крыльца, встаю перед

ней.

— Чё нада? Глядю на улицу и по сторонам. — Есть бабки или пожрать чё-нить?

— Нет, нигга, тока вот это есть. — Достаёт пушку и в меня целит. Я ей:

— Блять, Рейниша, мазафака заряжен?

— Заряжен, сука, не сомневайся. Пальну щас, избавлю от тебя дочь.

— Не горячись, пупсик, — просю.

Ржёт.

— Пупсик? — И башкой трясёт. — Ну, ваще охренеть.

— Чё на тебя нашло, бэби? — гаварю. — Ты ж не взаправду грохнуть меня решила.

— О, очень даже взаправду, — гаварит. — Грохну и оставлю валяца.

— Дай сюда пушку, Рейниша, — гаварю и подхожу ближе.

Она такая:

— Еще шаг — и байбай.

— Чё ты хочиш? — спрашывую.

— Грохнуть тебя, кретин.

— Тебе бабок дать?

— Да нет у тебя ни шиша.

— Кто это? — гаварю и глядю ей за спину. Она смотрит, а я пушку выхватывую. — О как. Хоро-

шо, что я сметливый мазафака. Значит, грохнуть меня хотела?

— Гад, — гаварит. Уже без пушки, а злица.

Я такой:

— Скажи спасибо, что я тебе бэби сделал. А то б давно уже пулю сюда вогнал. — И стволом ей в лоб тычу.

Она мне:

— Кишка тонка.

Пропускаю мимо ушей. Опускаю пушку и разглядываю.

— Дивятка. Давно такую хотел.

А Рейниша такая:

— Отдай. Это моя.

— Хуйсаси, — отвечаю.

А она:

— Чё, крутой самый, да?

Чуствую тяжесть пушки в руке.

— Теперь крутой, — отвечаю. — Теперь самый.

— Я им сообщу, что ты с пушкой, — гаварит.

— Сообщи, — гаварю. А сам на пушку глядю, как она в моей руке смотрица, чуствую её тяжесть. — Давай-давай, сообщи.

— Чё делать будиш? — спрашываит.

— Тебе-то что? — гаварю. — Ты свою миссию выполнила. Пошла прочь.

— Хоть бы они тебя шлёпнули, — гаварит.

— Ага, — гаварю. — Может, и шлёпнут. Они всех шлёпают. Почему не меня?

Иду в даунтаун. А то вдруг Рейниша настучит копам, что видела меня на раёне. Чуствую дивятку в кармане, в башке пустота. Потом вижу копы на тачке в мою сторону едут. Ныряю в магаз. В магазе сплошь видаки и телики, и я думаю, а чё, мне бы видак не помешал. С пушкой я легко один вынесу. Только видак тяжелый, а снаружи копы. Нашли дурака. А по телеку, по всем телекам в ряду — я, я, я на шоу Снуки Кейн. Фигасе. По телебизору. Рожа во весь экран. Потом копы на сцену выходят. Потом всё отматываица назад, и опять моя рожа. Снова и снова. В этом телеке, и в этом, и в том. А перед самым большим теликом жирная тётка стоит и на меня пялица. Встаю к ней спиной. Выхожу обратно на улицу, верчу башкой: копов, вроде, не видно. Сворачиваю в переулок, оттуда в другой, и так петлявя, возвращаюсь к себе на раён.

Сижу под деревом в парке, напротив винный магаз, любуюсь своей пушечкой. Чёрная такая, поблёскивает. Как чёрный бриллиант. Как бабки, что еще не превратились в бабло.

Выхожу из парка на улицу. Иду в магаз к карей-

цу. За мазафакой должок. Должок за то, что меня из магаза выгнал, а потом еще и копов позвал. И главное пачиму? Патамушта ничё не купил. Узкоглазая мазафака. Знаю, что у нево на кассе куча бабла.

Стою через дорогу от овощного, глядю, кто вышел, кто вошёл. Наконец, никаво внутри, тока кареец. Перехожу улицу, глядю по сторонам, открываю дверь.

Еще не вошёл, а кареец уже напрягся, узнал. Видно по тому, как вылупился. Но не гаварит ничё. Пялюсь на чипсы на полке, а он так медленно, маленькими шажками к прилавку пятица. Волосы на башке приглаживает, типа нернивчает, и косица на меня своими узкими глазками. Потом за прилавок встаёт, глаз с меня не спускаит, а руками зачем-то под прилавок лезет.

Выхватываю пушку и целю в его жолтую рожу.

— Руки на стол, — велю.

Исолняит. В глаза глядит. И такой:

— Сё ты хосес? Восьми, сё хосес, и уходи.

— Деньги из кассы, — велю. Начинает доставать, я следю. Где-то около сотни, похоже. — Окей, сейф где?

— Сейфы нет, — отвечаит.

Я такой:

— Хуйсаси, гад! Сейф где? — И пушкой ему в рожу тычу.

Он такой:

— Сейфа там. Не стреляй.

— Выходи оттуда, тока без глупостей, — велю.

Но он не выходит без глупостей. Он ныряит под прилавок и выныриваит с дробовиком. Палю. Пушка чуть из рук не выскакиваит. В башку ему попадаю, в висок. Дырка круглая и крови почти нет. Ещё палю. И ещё. И ещё. Теперь он в луже крови. Мазафака. Уёбок карейский. Сам, блять, виноват. Тебя просили за дробовик хватаца? Сгребаю деньги с прилавка — и дёру.

Башка трещит. Не знаю, чё думать, куда бежать. Бегу и бегу и бегу, а конца чё-то не видно. Жрать хочу дико. Сворачиваю в “Попайес”, куриное местечко. Уделываю курочку, запивая спрайтом, в дальней кабинке у туалетов. Только бы знакомых не встретить. А жрачка зачётная.

Прохожу мимо школы, сворачиваю в широкий проулок, окликает кто-то. Выхватываю пушку, поворачивуюсь — алкаш Вилли.

— Ухты, — гаварит, — не стреляй, друг. — Пьян в хламину, качаица в свете окна над ним. — Ты что ль, Ван Го?

— Ага, я. Набухался опять, мазафака.

— Куда бежиш и почиму с пушкой?

— Отыбись.

— Мамка-то как?

— Чё?

— Мамка-то как, гаварю? Сам подумай, Ван Го. Глянь на моё лицо. Глянь на мою чёрную, как сажа, кожу и на свою. Глянь на мои чёрные глаза и на свои. Глянь на мои большие чёрные губы и на свои. Я твой папка, так получаица.

— Заткнись, — велю.

Он такой:

— Это правда.

— Где ж ты раньше был? — спрашывую.

— Собой занимался, выживал, — объясняит. — На тебя забил. И на мамку забил. Такой у тебя папка дебил.

Чуствую, меня щас прям разорвёт от бешенства. Ненавижу этава алкаша. Мамку свою ненавижу. Себя ненавижу. Узнаю себя в нём. Узнаю обезьяну, каторой тупые девчонки в детстве меня дразнили. Те же длинные болтающиеся руки. Те же глаза, каторым безразлично, чё будит завтра. Так же переминаюсь с ноги на ногу, жду, жду, жду, жду чё-то, а чё — сам не знаю. Тока могила исправит. Всю жизнь это слышу. Сейчас тоже. Вижу, как мамка истекаит кровью в моём сне.

Вижу моих бэбис. Вижу, как безмозглый Рексалл вырос и спрашиваит: “А мне чё, нельзя?” Вижу своего папку. Вижу себя. Сдохни, мазафака. Бэм! В живот попал.

Вилли сгибаица и глядит на меня, типа: “За что?” Ору на нево. Стою над ним и ору:

— За то, что ты дерьмо! За то, что ты меня зачал, мазафака! За то, что я дерьмо!

Потом стою и реву, пока с улицы не доносяца какие-то звуки. Тада опять удираю.

Засыпаю в подвале пустова дома.

И сница мне сон. Во сне громадный беложопый бугай проводит отбор в баскетбольную команду. Гоняит меня кругами по площадке. Один круг, второй, третий. И каждый раз ржёт, када я оказывуюсь рядом с ним. Наконец, торможу, глядю на него и такой:

— Чё ржёш?

А он:

— Не туда бежиш, нигга. Нада по часовой стрелке, а не против.

— Чё ж не сказал? — гаварю. Разворачиваюсь и бегу по часовой стрелке.

А он еще громче ржёт, када я рядом оказывуюсь. Опять торможу.

— А щас-то чё угораиш?

— Ты с левой ноги бежиш, — объясняит.

— В смысле? — Риально не врубаюсь. — Нада с правой начинать, что ли?

— Нет, но левая всегда первой должна приходить, — гаварит. — С какой бы ни начал.

— Не понял, — гаварю.

— Окей, забудь. Попробуй спиной вперед.

Бегу двацать кругов спиной вперёд, уже и ноги болят, и тут понимаю, что без кроссовок, и ноги разбиты в крофь. Потом рядом со мной Вилли. Тоже спиной вперёд бежит, держит темп. Мне тренер кивает каждый раз, када я мимо пробегаю. Глядю на Вилли, он лыбица и такой:

— Видиш, всё не так плохо.

— Ты чё тут делаиш? — спрашывую.

— Пришёл сказать, что ты ошибся, — гаварит.

— В чём?

— В том, что ты дерьмо, — гаварит. — В том, что я дерьмо. На самом деле мы хуже.

Он громко ржёт и не бежит больше. Я бегу мимо тренера — тот тоже ржёт.

НАЙН

Утром просыпаюсь в поту, мокрый как свинья, весь воняю. Вылезаю из норы, свет режет глаза. Крадусь проулками к задней стене бильярдной.

Забираюсь по пожарной лестнице и влезаю в окно сортира. Мою лицо и сажусь в одной из кабинок, думаю, чё дальше. Чучуть кемарю.

Просыпаюсь от стука шаров за дверью. Глядю в щёлку — Жолтый с Тито играют. Иду к ним, но держусь в тени. Меня видит Жолтый. Шептит как можно тише:

— Ты чё тут делаиш, нигга?

Подходит Тито.

— Чувак, ты в топе.

А Жолтый:

— В телеке нон-стоп. Тебе вышку впаяют.

Я ему:

— За изнасилие и побег вышку не дадут.

— За убийство дадут, — гаварит Жолтый. — У них есть запись с камеры, как ты карейца грохнул.

— Ой, блять, — гаварю.

А Тито такой:

— Вот именно.

— Кто там с вами? — кричит Фэтмен Тито и Жолтому.

— Никто, дед, тока мы, — кричит ему Тито.

Вжимаюсь в стену. Жолтый мне:

— Чё делать будиш?

— Думаю, в Мексику махнуть, — гаварю.

— Ты ж но абло эспаньол, нигга, — гаварит Жолтый.

— И чё? Мазафаки приезжают оттуда но абло американ — и нормально.

— Тебя уже полиция тут искала, — гаварит Тито. — Фэтмену твою фотку показывали. Он их визитку взял. Награду обещали. Фэтмен заложит на раз.

— Меня щас любой нигга заложит, — гаварю. — Мне тачка нужна.

— Мы безлашадные, — гаварит Тито.

— Достаньте, — просю.

— Чё это мы тачку какую-то должны тебе доставать? — возмущаица Жолтый.

— Мы ж братья, — гаварю.

— Хуятья, — гаварит Тито. — Радуйся, что мы тебя не закладываем.

— Вот, значит, как вы с братом? — гаварю.

— Кто там с вами? — опять орёт этот жирный ублюдок.

— Никаво, дед, сказал же, — орёт Тито.

— Нигга из шоу Снуки Кейн? — орёт Фэтмен. — Где мой телефон?

Бросаюсь к стойке. Навожу пушку на Фэтмена, а он уже номер набираит.

— Повесь трубку, пузатый! — ору. Крутит диск.

Вырываю шнур из розетки. Тычу пушкой ему в лицо. — Всё ещё ездишь на своём говёном форде? — спрашывую.

Он такой:

— Он не говёный.

— Давай ключи, — велю.

— Дай ему ключи, дед, — просит Тито.

Пузатый лезет в карман и даёт мне ключи. Я такой:

— Так-то лучше. Теперь не вздумай звать копов. Хорошо меня слышиш?

— Хорошо, — отвечаит пузатый.

Навожу пушку на Жолтого с Тито.

— А вы?

— Не глухие, — гаварит Тито.

ТЭН

Говёная тачка Фэтмана — “форд торино”. Я в ней. Тачке лет трицать, внутри срач. Весь пол в банках из-под пива и оберточной бумаге от бюргеров. Выхлопная дымит, а мотор трещит как жестянка с гвоздями. Справа над пасажирским сиденьем кусок винила от крыши треплеца на ветру. Вспоминаю, как плавно шла тачка Далтонов. Типа как облако, и я в ней плыл над всей этой хуетой. Другим можно, а мне чё, нельзя?

Потом слышу рубящий звук винтов и вижу — люди на улице головы задирают. Значит меня с вертолета засекли. Глядю в зеркало и вижу коповозку. Она еще далеко, но приближаица. Коповозка всегда приближаица. Сворачиваю на 101-ю, там пробак, но я несусь сквозь поток, сигналя и обходя по обочине. Все меня пропускают. Сзади уже две коповозки. Сидят на хвосте, врубили мигалки. Вижу указатель на Юнион Стейшн. Блять, думаю, мне же в другую сторону. Съежаю с шоссе и гоню по боковым улицам. Может, думаю, от вертолета меня деревья скроют. Коповозки не отстают, а на перекрёстке еще несколько поджидает. Выскакиваю обратно на 101-ю. Теперь точно на юг. Копы за мной и надо мной, и все перед ними расступаюца.

Чё-то я опять не туда еду. Теперь по 60-й в сторону Риверсайда. Узнаю место, патамушта тут мой двоюродный брат живёт. Вернее, жил до того, как влез на кухню, где спиды готовили. Там ниггу и шлёпнули. Ниггам всегда нада чё-нить на халяву урвать.

Врубаю радио: чё там обо мне гаварят? Вижу вертолёт сбоку, этот с телека. Оператор свесился, объектив на меня наводит. Круто: третий раз за два дня в телебизоре буду. Прям раздуваюсь от

гордости. Выжимаю газ до упора. Бензин почти на нуле, а за мной уже шесть коповозок. Не считая шерифа.

Проскакиваю Онтарио и Чино и пропускаю съезд на юг 15-й в сторону Мексики. Проезжаю через Риверсайд, и ясно, что щас заглохну; сворачиваю на юг по 215-й, но знаю, что нада убраца с шоссе. Съежаю и еду через центр Морено-Вэлли, тачку трясёт, движок кашляит, а копы так и сидят на хвосте, и вертолёты рубят винтами воздух. Машу в камеру.

Торможу у почты, выскакиваю из тачки и ныряю внутрь. Палю в потолок, все вижжат. Ору, чтоб заткнулись.

— Молчать! — ору. — На пол все! — Ложаца, тока старуха одна никак не ляжет. Ору ей: — На пол, сказал!

Она в слёзы.

Полиция уже у почты. Тачек двацать. Мне в большое окно всё видно.

Чёрный коп кричит в матюгальник:

— Ван Го Дженкинс! — кричит. — Сынок! Проиграл ты. Выходи по-хорошему!

— Ничё я не проиграл! — ору через стекло. Но он не слышит. Велю худой блонде на полу: — Ползи сюда! — Ползёт. — Встань! — Встаёт. Обхваты-

ваю её вокруг шеи и приставляю дуло к башке. Иду к двери и чуть высовываюсь, прикрываясь блондой. — Пристрелю её! — ору. Блонда в слёзы. — Пристрелю, блять!

— Давай поговорим, Ван Го! — кричит нигга с матюгальником.

— Хуйсаси! — ору.

— Что ты хочешь? — кричит.

Вижу: телебизионщики к съемке готовяца. Камеру на меня навели. Ору:

— Денег хочу и тачку другую!

— Это мы можем организовать, — кричит.

— Вот и давайте, — ору. Иду назад и бросаю блонду на пол. На меня пялица чёрная старуха. — Чё вылупилась, сука старая?

Башкой трясёт.

— Что у тебя в жизни случилось? — спрашываит.

— То и случилось, что жизни не случилось — гаварю. — Заткнись, блять.

— Сдайся им, сынок, — гаварит старуха.

— Ты мне не мамка, я тебе не сынок.

— И на том спасибо — Господь уберёг.

— Ща не убережёт, — гаварю.

Молчит.

Перещитываю лежащих. Понимаю, что нет

почтовых работников. Бегу к окошкам — за ними пусто. У меня семь заложников. Теперь главное — тачка. Ору в окно:

— Тачку давайте, блять!

Все камеры наведены на меня. Их уже три. Вижу дикторшу из новостей. Машу ей. Звонит телефон. Бегу к нему. Интересуюца судьбой какой-то посылки. Я такой:

— Нет у меня твоей ибучей посылки! — Бросаю трубку.

Телефон снова звонит. На этот раз копы.

— Всё равно придётся тебе сдаваться, Ван Го, — слышу. Тот же голос, тока без матюгальника.

Я ему:

— Не сдамся, блять. Тачку давай!

А он такой:

— Машина скоро будет. Может, отпустишь кого-нибудь?

— Эй, грымза старая, — кричу и рукой на старуху показываю. — Вали отсюда. Тока молча, а то пристрелю.

Старуха встаёт и медленно, очень медленно идёт к двери. Потом выходит на улицу и шуруит через парковку, как молодая.

— Окей, — гаварю в трубку. — Отпустил.

— Машина скоро будет, Ван Го.

Вешаю трубку, потный как свинья. Надо было прикончить ту багатую сучку. Она во всём виновата. Не пошла бы в полицию, не бегал бы щас. И Рейниша виновата, патамушта явилась со своей пушкой и позволила её отобрать. И мамка, само собой, виновата, патамушта залетела от ублюдка и родила меня. И тренер баскетбольный виноват. И беложопый учитель в школе. Все виноваты.

Минут через десить пятнацать опять звонит телефон. Тот же коп.

— Машину доставили, — сообщаит.

Я такой:

— Давно пора.

Вижу: заезжает на парковку. Маленькая красная спортивная. Выглядит ахуенно. Так-то лучше, гаварю сам себе.

— Окей? — спрашываит коп в телефоне.

— Окей, — гаварю. — Сейчас выйду с блондой. Она со мной поедет.

— Окей, — гаварит коп. — Полегче с ней. И не паникуй.

— Сам не паникуй, хуй, — гаварю и вешаю трубку. — Ты, — и рукой на блонду показываю. — Тебе сколько лет?

— Шеснацать, — отвечаит.

— Не паникуй, — велю.

Свет снаружи кажица ещё ярче. Все камеры наведены на меня. Копы держат на мушке. Шептю блонде:

— Без глупостей. — Идём к тачке. Ору копам: — Тока дёрнитесь! Тока посмейте. Я ей башку разнесу.

Тачка совсем, блять, маленькая, блонда никак не может перелезть через тормоз на пассажирскую сторону. Я ей: не паникуй. И лыблюсь в камеры. Поворачиваю ключ в зажигании и БЭМЦ! Не знаю, чё такое. Думаю, может, шмальнули меня. Сначала темно в глазах, потом весь в порошке каком-то. Потом за волосы из тачки выдёргивают, бросают на землю. Не пойму, чё происходит. Кто-то по рёбрам бьёт. Кто-то руку хватает — сломана она, что ли?

— Чё это было? — спрашывую.

Копы ржут.

— Воздушная подушка, мудила, — отвечаит кто-то.

Глядю вверх, вижу камеры. Меня на ноги ставят, опять бьют. Плевать. Камеры включены. Я буду в телеке. На весь экран. В телеке. И такой:

— Привет, мам! — И такой: — Привет, сестрёнка! Зацени. Я в телеке!

7

Была середина июля — духота и влажность такие, будто ты не в городе, а в огромной тарелке супа. Я сидел в кабинете и не мог дождаться, когда наконец установят оконный кондиционер. Снял трубку с громоздкого черного телефонного аппарата и набрал своего литературного агента.

— С ума сошел? — сказал он, едва услышав мой голос.

— Пока нет вроде, — сказал я. — Почему ты спрашиваешь?

— Прочитал то, что ты прислал, и зародились сомнения.

— А что такого? Если заметил, моего имени там нет.

— Заметил. Но с издательствами-то мне работать. Моя репутация на кону.

— Посмотри, сколько выходит дерьма. Это невыносимо. Я просто выразил свое отношение к происходящему.

— Понимаю, Монк. Уважаю твою позицию и даже готов признать, что это талантливая пародия, но кто ее напечатает? Те, кто выпускает книги,

которые ты пародируешь, обидятся и не возьмут. И ладно бы только они — все обидятся.

— Значит, идиоты.

Я посмотрел на заваленный бумагами секретер на другом конце комнаты. На опущенной столешнице под стопкой медицинских книг в защитных футлярах стояла серая коробка.

— Так что мне делать?

— Рассылай.

— Как есть или с пояснительной запиской, что это пародия?

— Как есть, — сказал я. — Если не поймут, что пародия, их проблема.

— Окей, разошлю. По крайней мере в пару издательств, — вздохнул Юл. — Но не больше. Мне от этой вещи не по себе.

— Понимаю, — сказал я.

* * *

Инструменты мои остались в Лос-Анджелесе, и я тосковал по запаху дерева, клея и лака. Хотелось заноз, свежих мозолей, и чтобы глаза стали красными от древесной пыли. Уже не раз, стоя в гараже, я прикидывал, как уберу оттуда материнский “мерседес-бенц” и завезу настольные пилы и строгальные станки, электролобзики и штабе-

ля пиломатериалов. Я купил несколько ручных инструментов, смастерил скворечник, покрасил его и подарил Лоррейн для ее сада. Затем стал ездить по антикварным лавкам Северной Вирджинии — в Фолс-Чёрч, в Маклин, а иногда и в Манассас, — покупая где фальцевый рубанок, где торцевой, где молотки, стамески и киянки, пока не собралась целая коллекция. Но не любоваться же на нее, поэтому я решил что-нибудь смастерить — так возникла идея прикроватного столика для матери. Работая фальцевым рубанком над скосом кромки столешницы, я думал о Фуко и о том, как он начинает с рассуждений о наших представлениях о языке, которые, по его мнению, ошибочны. Но доказательств в пользу своих представлений он не приводит, преподносит их как данность, не особо заботясь о том, верны они или нет. В мыслях о дискурсивных формациях я отступил от верстака и взглянул на себя со стороны. Снимать ясеневую стружку и думать о Фуко. Возникло ощущение, что сестра где-то совсем рядом.

* * *

Я был достаточно рослым, чтобы, играя в стритбол, подпрыгнуть и положить мяч в кольцо, но не

был атлетом, из-за чего никогда не мог к кольцу пробиться. Мне нравилось отрабатывать броски, и смотреть за игрой тоже нравилось, но играть я не любил, потому что играл посредственно. Получив мяч, дриблил, высматривая, кто открыт для безопасного паса, отдавал этот безопасный пас и смещался на другую позицию на периметре. Однажды я играл на площадке недалеко от дома. Середина мая, солнечный день, суббота. Мне семнадцать, и никогда — ни до, ни после — я не чувствовал себя таким неуклюжим. Играем уже минут тридцать, и я безопасно перекидываю мяч другим игрокам, одновременно размышляя о Гегеле и его расистских замечаниях о восточных народах из-за их отношения к свободе личности, как вдруг меня вталкивают в “краску”, а со стороны выглядит, будто я рвусь к кольцу, и мне тут же возвращают мяч. Делаю дикий, отчаянный бросок, у которого нет ни малейшего шанса попасть в корзину; зрелище не для слабонервных. Парень из нашей команды спрашивает: “Ворон считал?”, и я говорю: “Нет, о Гегеле думал”.

— Чё?

— Был такой немецкий философ. — Вижу, как у парня на глазах вытягивается лицо, но мое, похоже, вытягивается не меньше. — Я думал про

его концепцию истории.

В каком порядке последовали приводимые ниже реплики, не помню, но общий смысл такой:

— Навешайте ему.

— Фуфлософ.

— И из-за этого он промазал?

— Откуда ты такой взялся?

— А сейчас о чем думаешь?

— Угегеливай отсюда.

* * *

Идея романа: Сатирикон.

Оставим без внимания эту наглую выходку. Так сказал Фабриций Вейентон и затрясся от смеха посреди своей лекции о том, что мы считали религиозными убеждениями, а он называл болезненной одержимостью откровениями и пророчествами. И в самом деле, любой возвышенный сюжет — религиозный, политический или иного рода — в равной степени служил поводом для насмешек и косых взглядов. И в самом деле (опять), от него я узнал и принял без возражений, что именно соблазнительность словесной игры, к которой Вейентон относился с таким пренебрежением, является причиной того, почему многие из его учеников — молодые люди

вроде меня — вырастают идиотами. То, что юношей влекут рассказы об опасностях, а не о повседневности, не подлежит сомнению. Пираты побеждают бухгалтеров. Отрубленная голова завораживает больше, чем заноза в заднице.

Академическое образование, подстраивающееся под столь низменный вкус, плодит исключительно пошляков. Риторы виноваты в том, что ораторское искусство пришло в упадок — пустые речи для пустых голов, напыщенность и притворство, и в итоге подмена понятий: краснобайство вместо красноречия.

* * *

В середине августа, оплатив счета матери и свои, я уже был готов согласиться и на мизерную зарплату лектора в Американском университете. Позвонил брату выяснить, смогу ли рассчитывать на него.

— Я на мели, — сказал Билл.

— Речь ведь не только о моей матери, но и о твоей, — сказал я.

— Мне даже с детьми видеться не дают, — сказал Билл. — Со своими бы проблемами разобраться.

— У тебя есть машина? — спросил я.

— Да.

— Какая? — спросил я.

— В смысле?

— Дорогая?

После долгой паузы он наконец сказал:

— Вообще-то машина не моя. Она в лизинге на балансе компании. Я зарегистрирован как юрлицо. Живу на зарплату, которой едва хватает.

— Может найдешь квартиру поскромнее? — спросил я. — Слушай, Билл, я ради матери работу бросил и в Вашингтон переехал. Сделай хоть что-нибудь.

— Продай дом и сними ей дешевое жилье.

— Кредит на дом выплачен. Что бы мы ни сняли, будет дороже.

— Но продать можно выгодно. Тысяч триста-четыреста на руки получить. И вот еще что, Монк… — На этот раз пауза была многозначительной, но недолгой, напомнив о его привычке смотреть в потолок прежде, чем что-то сказать. — Я завел отношения.

“Завел отношения” — интересный эвфемизм. Вышел из шкафа? Развел на деньги? Завел отношения.

— И что? — спросил я.

— Его зовут Клод.

— Мне-то какая разница, — сказал я. — Он что,

француз?

— Хочу вас познакомить. — Голос Билла вдруг изменился, поплыл, но не так, как бывает, когда человек влюблен. Он интонировал иначе. Тянул слова — не совсем как типичный гей, но довольно похоже.

— Почему ты так разговариваешь?

Голос стал прежним. “Как?”

Я взял себя в руки и попытался вернуться к тому, что важно:

— А с Лоррейн как быть?

— Она-то при чем? Мы ей ничего не должны.

— То есть ты предлагаешь мне продать дом, поместить мать в дом престарелых и выставить Лоррейн на улицу.

— Что-то в этом духе.

Я повесил трубку.

* * *

На другой день утром я сидел за рабочим столом отца и смотрел на серую коробку в противоположном конце кабинета. Раздался телефонный звонок. Это был мой литературный агент.

credo quia absurdum est[32]

— Ты сидишь? — спросил Юл.

— Сижу, — сказал я, хотя в тот момент как раз стоял и смотрел в окно.

— Я отправил экземпляр в “Рэндом хаус”.

— И?

— Как есть, без пояснительной записки.

— И?

— Предложили шестьсот тысяч.

— Не может быть, — сказал я и сел.

— Старший редактор Пола Бейдерман хочет познакомиться с автором.

— Скажи, что он застенчив. — Я ликовал и одновременно бесился. — Что конкретно она сказала?

— Считает книгу правдивой. Назвала ее важной.

— А о том, как она написана?

— Сказала, что потрясающе достоверно и честно. Сказала, что это одна из тех книг, которую через тридцать лет будут читать в каждой школе.

Я ничего не сказал.

— Монк?

Я посмотрел в окно.

---

[32] Примечания: 32
Верю, потому что это абсурдно *(лат.)*.

— Монк? Тебя что-то смущает?

— “Рэндом хаус”.

— Ага.

— Тяжелый случай, сам видишь.

— Тебя не устраивает сумма?

— Конечно, устраивает, — сказал я. — Только объясни им, что Стэгг Ли болезненно, патологически застенчив и что общаться с ним можно только через тебя.

— Вряд ли это прокатит.

— Прокатит.

* * *

В первый раз в жизни я оказался в безвыходном положении. Один в этом огромном доме с матерью и Лоррейн. Но скромный гонорар, который мне посулили за мою чудовищную книжонку, позволит мне организовать круглосуточный уход за обеими. Возможно, для пущего драматизма золотому дождю следовало бы пролиться несколько позже, учитывая внезапно развившуюся необязательность брата, долги сестры и мой долг сестре, но уж как вышло — так вышло. Новость о гонораре позволила иронически и горько вздохнуть. Может быть, в глубине души я счел, что мне наконец-то воздалось по заслугам. И уж точно

еще больше возненавидел издательский рынок, который с таким рвением отыскивает и продает оскорбительную, пагубную для души чушь.

* * *

— Монк?

— Билл? Который час? Господи, Билл, три часа ночи!

— Извини, у нас только час.

— Что-то случилось? Ты в порядке?

— Как давно ты понял, что я гей?

— Слушай, давай в нормальное время про это поговорим. А то сейчас как-то уж очень рано. Вернее, поздно. Во всех смыслах. Ты гей. Живи с этим.

— Как давно ты понял?

Я сел и включил настольную лампу.

— Не знаю. Но уже порядком.

— Еще когда я в школе учился?

— Не знаю, может быть.

— Я сам тогда не знал, но уже был гей, да?

— Я ничего не знаю про эти вещи. Ты в порядке?

— Ты когда-нибудь испытывал влечение к мужчине?

— Не думаю.

— Ты ведь знаешь, как я отношусь к своим детям.

— Конечно, Билл. Я чем-то могу помочь?

— Как, думаешь, отец бы прореагировал, если бы узнал, что я гей?

— Тебе бы точно не поздоровилось.

— А мать как, думаешь, к этому отнесется?

— Не знаю. Зачем ей говорить?

— А почему не сказать? Или я должен этого стыдиться?

— Я не это имел в виду.

— А что?

— Можешь сказать ей, если хочешь. Но, во-первых, она не поймет, а во-вторых, ровно через секунду забудет. Поэтому скажи, если хочешь. Если тебе это так важно.

— То есть, по-твоему, я только о себе думаю.

— Вот опять: я не это имел в виду. Но вообще-то мы все только о себе думаем.

— Обойдусь без твоих банальностей.

— Ты позвонил, чтобы со мной поссориться?

— Нет. Я думал, что найду поддержку у своего младшего брата.

— Для этого мне необязательно быть геем. Как твой новый…

— Партнер, так это у нас называется. Или бой-

френд. Можно сказать бойфренд. Его зовут Тед, он в порядке. Не знаю, где его сейчас носит, но он в порядке. У тебя кто-нибудь есть?

— Нет.

— Как книги? Много наторговал?

— Нет. Слушай, мне надо поспать.

Бип. Бип. Бип.

* * *

Часто люди стремятся улучшить среду обитания форели в ручье, создав под водой искусственное укрытие. А то и просто сбрасывают в ручей всякий хлам, думая, что рыба будет в нем прятаться. Бамперы, тележки из магазинов, собачьи будки. Как правило, рыба предпочитает естественные убежища с гладкими стенками, а не рукотворные с острыми краями. Но самое главное: если укрытие неподходящее и установлено в неправильном месте, течение огибает его и начинает подмывать берег, причиняя больше вреда, чем пользы.

* * *

Утром я прошелся пешком до площади Макферсона, там сел на метро и доехал до центра. Провел

пару часов в Национальной галерее, перекусил в кафетерии, и впервые за долгое время пришло ощущение: можно жить. Даже подумал, что внезапно свалившееся благосостояние на какое-то время избавит от необходимости преподавать. Приятная мысль: уж очень мне не хотелось соглашаться на нищенскую зарплату Американского университета и читать целый обзорный курс деткам, которым одинаково безразличны что Мелвилл, что Твен, что Хёрстон.

Получив, как мне казалось, немалые деньги, я решил пойти посмотреть на то, что не измерить деньгами. Конечно, далеко не все в галерее нельзя было измерить деньгами (многие картины не стоили даже того холста или полотна, на котором были написаны), но кое-что действительно не имело цены, и этого хватило, чтобы мое внезапно обретенное богатство лишилось ореола. Глядя на Мазервелла, обольстительного и одновременно отталкивающего, я думал о Кокто и его фразе о том, что можно разрешить любую загадку, кроме загадки бытия. Стоял перед поздним Ротко (перистые мазки, темные тона, белые края) и думал о смерти, о своей смерти, о том, какой она будет. В отличие от Антуана де Сент-Экзюпери я не видел в смерти никакого величия. Для меня смерть так

же пугающе проста, как жизнь, только вместо того, чтобы просыпаться каждое утро и что-то делать, ты не просыпаешься — и точка. Может, на картине этих красок и не было, но я увидел кремовый цвет кожи матери и темно-коричневый цвет моей. Самоубийство стало бы для меня актом не ярости и отчаяния, а только отчаяния, и мое эстетическое чутье не могло этого допустить. Подростком и в ранней молодости я убивал себя много раз, даже делал некоторые приготовления, но всегда зависал над предсмертной запиской. Знал, что как бы ни пыжился, получится формально, и не хотел, чтобы мои глупые романтические фантазии разбивались о банальную нехватку воображения.

Я попытался дистанцироваться от той роли, в которой оказался — роли художника, нажившегося на дешевой поделке. Не сказать чтобы продался с потрохами, но ведь и не отвернулся. Я подумал о своем столярном ремесле и о том, почему им занимаюсь. Как писатель, я инстинктивно стремлюсь выйти за рамки формы — это позволяет мне убедиться в ее наличии. Тут есть ирония, которую не так-то легко выразить, тем более обосновать. А древесина имеет структуру, запах, вес. Она реальнее слова. Древесина проста.

Да, черт возьми: стол это всего лишь стол и ничего больше.

* * *

Не хотелось становиться частью людского потока, стекавшего по наклонному тоннелю на станцию красной ветки. Я немного прошелся, наблюдая за темнеющим небом, потом начал накрапывать дождь. После жары это было даже приятно, но потом полило сильнее. Дойдя до Нью-Йорк-авеню, я попытался поймать такси. Мимо проехали три или четыре свободных, и я вспомнил старую шутку: если двое черных захотят поймать в Вашингтоне такси, значит, они точно пойдут пешком. Я снова поднял руку, и на этот раз машина остановилась — наверняка только потому, что рядом с водителем-эфиопом сидел его друг, тоже эфиоп, и им было не так страшно. Оба оглянулись на меня, когда я назвал адрес, и один спросил: “Ты из Эфиопии?”, а другой сказал: “По виду из Эфиопии”. Я сказал: “Нет, я из Вашингтопии”. Закрыл глаза и задремал.

* * *

В наш дом на игру в бридж съезжались подруги

матери. Вошла миссис Джонсон, вдова Лайонела Джонсона, владельца похоронного дома, и тут же принялась сюсюкать со мной, как будто мне десять: "О-о, маленький Монкси, ты у нас прямо атлет". Ее сопровождала дочь примерно моего возраста. Она несла за матерью ридикюль и выглядела бесконечно уставшей — мне казалось, что я тоже так выгляжу. "Это моя дочь Элоиза", — сказала миссис Джонсон. Затем она увидела мать и велела нам пойти побегать.

Приехали остальные, и вскоре за двумя карточными столами сидели восемь престарелых дам. У всех был артрит, из-за чего ни одна не могла перетасовать колоду, и все страдали деменцией, из-за чего ни одна не могла припомнить, кому была сдана последняя карта. А в гостиной восемь детей (всем примерно по сорок) сидели вокруг стола, держа в руках ридикюли, накидки и зонтики. Мы переглянулись и дружно сочли, что этого достаточно для выражения сочувствия. Затем закрыли глаза, чтобы немного вздремнуть.

* * *

— Слышь, ты, из Вашингтопии, — сказал водитель, — приехали.

Я расплатился и, зевая, побрел по дорожке к

дому. На крыльце сидела Лоррейн.

— Дождичком наслаждаешься? — спросил я.

Она мотнула головой и посмотрела на дверь.

— Что случилось?

— Ее спросите.

— Мама в порядке? — В этот момент за узким оконцем у двери что-то зашуршало. Повернувшись, я увидел, что мать отодвинула занавеску и выглядывает наружу полубезумным взглядом. Потом раз — и отпрянула. — Что происходит?

— Она закрыла дверь на ключ и на засов, — сказала Лоррейн.

Если на засов, то мой ключ не поможет.

— А почему она тебя не пускает? — спросил я.

— Не узнает.

Я подошел к оконцу и постучал. Лицо матери (во всяком случае, нечто, похожее на ее обезумевшее лицо) снова мелькнуло за стеклом. Я заговорил с ней: “Мама, это я, Монк”.

— Прочь, — прошипела она. — Нам ничего не надо.

Я оглянулся на Лоррейн. Она пожала плечами.

— Мама, — сказал я, — пожалуйста, отопри.

Она опустила занавеску и опять исчезла.

Под дождем я вышел во двор, отошел от дома и присмотрелся к навесной крыше над крыльцом

под окнами второго этажа. Кажется, в кабинете отца у окна сломана защелка.

Я полез наверх, а Лоррейн наблюдала с крыльца, так и не сдвинувшись с места. Кора у лагерстремии была скользкой, да и возраст напомнил о себе, когда я переваливался всей тушей на крышу. Я открыл окно и протиснулся внутрь, сбив стопку книг с подоконника. Поднял глаза и увидел мать.

Она сказала:

— Монкси, там кто-то стоит у двери и никак не уходит. — В руке у нее был пистолет тридцать второго калибра, который отец держал в прикроватной тумбочке. Она направила пистолет на меня и сказала: — Он может тебе понадобиться.

Я медленно подошел к ней, не сводя глаз с дрожащих пальцев, вцепившихся в рукоятку. Отвел от себя дуло и вынул у нее из рук пистолет.

— Я с ним разберусь, мама. Пойди к себе и приляг.

Я провожал ее взглядом, пока она не скрылась в своей спальне. Потом проверил пистолет: он был заряжен.

* * *

Я отвез мать к врачу. Он сделал рентген грудной клетки и сказал, что у нее нет никакой легочной инфекции. Сделал КТ и сказал, что инсульта не было и что признаков атрофии мозга не видит. Дефицита витамина B12 тоже нет. Его насторожило лишь наличие амилоидных бляшек. Он задал матери несколько вопросов, потом немного подождал и снова задал те же вопросы. Мать сказала:

— Я же только что вам на все ответила.

Когда мы остались одни, врач посмотрел мне в глаза.

— Да?

— Скорей всего, мы наблюдаем раннюю стадию болезни Альцгеймера. Это может быть следствием склероза артерий, плохого кровообращения, целого ряда других причин. Мы не знаем. Да это и неважно, потому что, если я прав, сделать все равно ничего нельзя.

— А затормозить?

Он повертел головой.

— Что вы рекомендуете?

— Пока все не так плохо. Но в любой момент может измениться. То, что она вас не узнала, говорит о довольно быстром развитии болезни.

Рано или поздно вам придется поместить ее в специализированное учреждение.

— Я не смогу ухаживать за ней дома?

— Это будет очень тяжело. Одну оставлять нельзя: уйдет и потеряется. Или причинит себе вред: упадет или еще что-нибудь в этом роде. Или причинит вред другим: пожар устроит, дверь забудет закрыть.

Перед глазами возникла мать с пистолетом в руках.

— На более поздних стадиях ей станет трудно передвигаться. Изменится личность. Она постепенно утратит способность мыслить, понимать, говорить. Тут уже никак не обойтись без круглосуточного ухода, и вам как минимум придется нанимать профессиональную сиделку. — Он снова пристально посмотрел на меня. — Я говорю о том, к чему это придет через какое-то время. Возможно, через несколько лет. Трудно что-либо прогнозировать.

— То есть может и через неделю?

— Маловероятно, но исключать нельзя.

Я поблагодарил врача, забрал мать, и мы уехали.

* * *

Лоррейн укладывала мать спать. Я был в гараже и смотрел на почти доделанный прикроватный столик. Пригляделся к острым углам столешницы и представил, как, задев их, мать ушибет бедро. Начал спиливать один острый угол и обнаружил, что на его месте образуется два острых угла. Я строгал, пилил и шлифовал столешницу до тех пор, пока она не стала почти круглой, но такой маленькой, что потеряла всякий практический смысл. Прямоугольные, сужающиеся книзу ножки не только не подходили к круглой столешнице, но были ей явно не по размеру. Кое-как приделав три ножки, я сел на свое изделие верхом. Оно было немного шатким, ну и пусть. В вакууме охватившего меня оцепенения любая опора была спасительной.

* * *

Мне было лет двенадцать. Отец как обычно приехал на выходные к нам на залив. Всей семьей мы доплыли на лодке до городской пристани в Аннаполисе и купили сэндвичи на уличном рынке. Я взял свой любимый с мягкопанцирным

крабом в булочке с хрустящей коркой. День был не слишком жаркий. Дул ветерок. Полная благодать.

Билл помахал паре своих приятелей у лотков, словно собирался куда-то с ними пойти, но в итоге остался. Отец помрачнел: что-то в этом приветствии ему не понравилось.

Лиза сидела на длинной скамье на корме и читала, а я сидел на причале, упершись ногами в лодку, ел сэндвич и говорил ей, что тоже буду писать книги.

— Только не такие, как ты читаешь, — сказал я. — Я буду писать серьезные.

Лиза засмеялась.

— Да? Какие, например?

— Пока не знаю, но не эту фигню, — сказал я.

— Монкси, что за слова, — сказала мать.

– *Фигня* тоже нельзя? — сказал я.

— Завязывай, Монк, — сказал отец.

— Это не фигня, — сказала сестра.

Мать вздохнула.

— Полная. А я хочу написать книгу вроде “Преступления и наказания”.

Лиза засмеялась.

— Одну книжку прочел и думает, что самый

умный.

— Если Монк что-то решил, значит, сделает, — сказал отец. И потом изрек одно из своих пророчеств. — Вы с Биллом будете врачами, Лиза. А Монк будет художником. Он не такой, как мы.

Я почувствовал себя гением и изгоем одновременно. Брат с сестрой смотрели на меня обиженно и насмешливо. Но Лиза, которой приятно было очередной раз услышать, что она станет врачом, переключила внимание на себя.

— А каким врачом, папа?

— Хорошим, — сказал отец. Он всегда ей так отвечал, когда она спрашивала, и Лиза от него отставала.

— А Билл? — спросил я.

На что отец ответил:

— Не знаю.

Дальше мы ели молча.

8

Я сидел в кабинете, размышляя о том, как вкусы и потребности публики влияют на общее состояние искусства, и вдруг снова заметил серую коробку в другом конце комнаты. Коробку, содержимое которой отец считал настолько личным, что попросил мать его сжечь. Очевидно, он не мог с этим расстаться, если сам не сжег за все эти годы. Личные бумаги отца. Что это могло быть? Свидетельства о регистрации собственности, контракты, всякие документы? Другого я представить не мог, но знал, что как раз этого в коробке нет.

* * *

— Пап?

Мне десять. Я вхожу в кабинет отца. Холодно. Ночь. Скоро Рождество.

— Да, Монк? — Он поворачивается ко мне на вертящемся кресле, в котором я обожаю раскручиваться, как на карусели, хоть он и не разрешает. — Уже поздно.

— Я извиняюсь.

— Правильно говорить “извини”, а не “извиняюсь”.

— Извини.

— За что ты извиняешься?

— За то, что поздно.

— Ты же не можешь изменить время.

Тут я догадываюсь, что он подтрунивает, и смеюсь.

— Слушаю тебя, Монк.

— У меня вопрос. Если тебе что-то сказали по секрету, можно ли об этом когда-нибудь рассказать?

— Можно, но полагаю, ты спрашиваешь, *следует ли* это рассказывать. — Он поворачивает голову и бросает взгляд в окно. — Нет, не следует. Нельзя предавать доверие.

— А если это…

Он перебивает:

— Никогда не предавай доверие.

Я снова пытаюсь что-то сказать, но он не дает.

— Я вижу, тебя что-то гложет, и думаю, ты пришел поделиться со мной чужим секретом. Если не умеешь хранить секреты, не берись.

— Ладно. — Я бреду к двери.

— Монк?

Я оборачиваюсь, и он спрашивает, не глядя

на меня:

— Это касается Билла?

— Нет, папа, — говорю я, и это правда, но мы оба понимаем, что ничего, кроме “нет”, я в тот момент ответить не мог. Сколько лет прошло, а я все гадаю: не повлиял ли тот разговор на отношение отца к брату.

* * *

Коробка была небольшой, не особенно глубокой и не очень полной. Вот что в ней оказалось:

2 февраля 1955 г.
Бенджамину Эллисону
1329 Т-стрит
Вашингтон, округ Колумбия, США

Дорогой Бенджамин!

Не могу даже передать, как я удивилась и, конечно, обрадовалась, обнаружив сегодня утром в почтовом ящике твое письмо, пусть и такое короткое. Когда ты сказал, что будешь писать, я не очень поверила. Нет, не потому, что сомневалась в искренности твоих чувств, а просто не была уверена, что найдешь время среди рабочих и семейных забот.

Я только что вернулась из Саутгемптона. Мама

очень больна. Очевидно, у нее был инсульт. Врачи сказали, что небольшой и что последствия, если и будут, то минимальные. Но, по-моему, она сильно изменилась, хотя внешне это почти незаметно. Может быть, дело в возрасте. Какая-то она заторможенная, впрочем, все мы с годами такими станем.

Сколько мы уже не виделись, родной мой? Полгода как простились? Надеюсь, в семье у тебя все благополучно. Повторю еще раз, чтобы заверить: я не питаю неприязни к твоей жене. Она, должно быть, замечательная женщина, раз ты ее выбрал. Сын и дочь, наверное, уже большие. Шалят?

Есть одна довольно хорошая новость. В сентябре я буду в Америке. Проведу неделю отпуска у сестры с мужем в Нью-Йорке. Вот было бы чудесно, если бы мы смогли хоть мельком увидеться! Я люблю помечтать, ты же знаешь.

Ну, мой хороший, пора закругляться. Уже поздно, а думать о тебе, откровенно говоря, занятие горько-сладкое. Помни, что я люблю тебя.

Твоя навеки,
Фиона

25 февраля
Дорогой Бенджамин!
Дождь. Дождь. Дождь. Ничего другого у неба

в последнее время для нас нет. А увидела твой конверт — и как лучик солнца. Потом я, конечно, его распечатала и узнала, что ты ждешь третьего ребенка. Конечно, я рада за тебя, но больно — очень.

Мама снова в больнице. Я еще не ездила к ней из-за новой работы. Наконец-то снова устроилась медсестрой. Наверное, я слишком романтизировала нашу жизнь в Корее, потому что только сейчас поняла, какая это тяжелая работа. Знаешь, я думаю, нам все-таки не стоит встречаться в Нью-Йорке. Уверена, что при твоей занятости дел и так хватает. Да и сама мысль об этом причиняет мне боль.

Пожалуйста, знай: я тебя бесконечно люблю и скучаю, но боюсь, не смогу больше поддерживать нашу переписку.

С любовью навеки,

Фиона

20 апреля

Мой дорогой Бен,

Уже недели две я не получаю от тебя писем. Надеюсь, у тебя все в порядке. Каждый раз, отправляя свое письмо, я боюсь, что ты приболел насморком или гриппом и почту из офиса заберет кто-нибудь из твоих домашних. Меня такой ужас

охватывает при мысли, что могу создать тебе проблемы и неприятности.

Маме, увы, все хуже. Она перенесла еще несколько микроинсультов и совсем на себя не похожа. Я почти уверена, что она меня не узнает. Пишу об этом — и как будто легче становится, словно не со мной происходит, спасибо тебе за это. Мой брат взял на себя бóльшую часть хлопот, связанных с матерью, и буквально на глазах тает. Извел себя до изнеможения, и я переживаю, что мало помогаю ему. Я бы хотела, чтобы ты познакомился с Бобби, которого мы ласково зовем Боббалдуй. У него необыкновенно большое сердце. Он уговаривает меня поехать осенью в Штаты. Он, похоже, считает, что к тому времени мама уже умрет. Как подумаю о ее смерти — так плачу. А потом плачу от стыда: я ведь знаю, что смерть будет для нее лучшим исходом.

Что-то я разболталась. Надеюсь, ты и все твои в порядке. Вчера ночью то ли во сне, то ли просто пригрезилось, я вдруг увидела, как мы с тобой крадемся по Сеулу, точно преступники. Только когда нам приходилось скрываться или когда кто-то косо на нас смотрел, я вспоминала, что мы из разных миров.

Одним словом, я люблю тебя.

Твоя навеки,
Фиона

Миниатюрная книжка в кожаном переплете. “Сайлес Марнер” Джордж Элиот. Странная находка. В книжку вложен крошечный сухой цветок. Бело-розовый. Страницы, между которыми он вложен, как будто ничем особым не примечательны.

Еще три письма; по содержанию похожи на предыдущие, разве только мать умерла.

Обратный билет из Вашингтона до Пенн-стейшн со штампом 15 сентября 1955 года.

Квитанция из отеля “Алгонкин”, подтверждающая оплату номера за две ночи и три заказа на доставку еды и напитков в номер.

Спички-книжка армии США с надписью “Форпост свободы”.

18 сентября
Мой дорогой Бенджамин!
Я не верила, что когда-нибудь снова тебя увижу. И мог ли кто-нибудь знать, каким головокружительно захватывающим окажется то, что не представлялось возможным? Думаешь, совсем

потеряла голову? А что, может, и потеряла. Родной мой, я была так счастлива тебя видеть. Еще одной такой встречи я, пожалуй, не переживу.

Прости за реакцию мужа моей сестры. Я не знала (откуда мне было знать?), что он расист. Судя по всему, расистов в вашей стране хватает. А я-то, наивная, думала, что это только безграмотные солдаты в Корее могли так на нас пялиться и отпускать свои грязные шуточки, что это следствие их необразованности и бескультурья. Я ошибалась. Даже представить не могу, как тяжело тебе среди этого жить.

До сих пор ясно вижу твою утреннюю улыбку. Твои темные руки на моей матово-белой груди. Ты тактично не стал над этим подтрунивать. Это был такой разительный и чудесный контраст. Мне было бесконечно хорошо с тобой, мой прекрасный любовник. Вспоминай меня по ночам, пожалуйста.

С неувядающей любовью,
Фиона

1 октября

Мой дорогой Бенджамин!

Я вернулась домой, где меня уже дожидалась твоя открытка. Увы, брат сообщил, что мама умерла. Странно: даже когда смерть ожидаема,

боль от утраты ничуть не меньше. Но все же в глубине души у меня такое чувство, будто мое горе ненастоящее, и на самом деле я верю, что ее смерть к лучшему — прежде всего для нее самой. Наверное, так думать нормально, но говорить кому-нибудь тяжело. Вижу в этом еще одно подтверждение нашей близости.

Мне пора бежать. Скучаю и люблю.

Твоя на веки вечные,

Фиона

12 ноября

Дорогой Бен!

Ты даже представить не можешь, как много ты значишь для меня. Прости, что давно не писала. И как ни странно, даже, пожалуй, рада, что и ты не писал. То, о чем я должна сказать, и прекрасно, и мучительно тревожно. Бен, родной мой, я беременна. Мне ничего от тебя не надо, и, пожалуйста, знай: я не собираюсь усложнять тебе жизнь. Я больше не буду жить по этому адресу, и переадресацию писем оформлять не буду. Давай просто прекратим переписку, хорошо? Я слишком тебя люблю, чтобы рушить семью, которую ты так любишь. И я не хочу причинять тебе боль, хотя знаю, что именно это и делаю. В общем, не пиши больше — твои письма будет получать кто-то

другой, а не я.

С вечной любовью,
Фиона

Открытка, отправленная из Чикаго, на штемпеле 2 июля 1956.

Девочка. Назвала Гретхен.
[без подписи]

* * *

Дорогая Гретхен,

Твоя мать — добрая, милая, дорогая моему сердцу женщина, но она совершила ошибку, удалив из моей жизни тебя и себя. Ты должна знать, что она сделала это, искренне полагая, что поступает правильно, нравственно. Я всегда знал, что она сильная женщина, но не предполагал, что настолько.

Я хочу передать тебе это письмо, но не знаю, где ты. Сестра твоей матери в Нью-Йорке не берет трубку, так что от нее помощи не дождешься. Открытка, извещающая меня о твоем рождении, судя по штемпелю, отправлена из Чикаго, но обратного адреса на ней нет.

Где бы ты ни была сейчас, знай: я люблю тебя и страдаю оттого, что не могу быть тебе отцом. У

тебя двое братьев и сестра. Они ничего про тебя не знают, но уверен, что ты бы их полюбила. Они замечательные. Твоя мать тоже замечательная, так что выбора у тебя нет: ты станешь такой же. Я бы очень хотел услышать твой голос, увидеть твое лицо, фотографию, карандашный набросок. Надеюсь, глаза у тебя мамины. Как же я люблю эти глаза!

Наверное, я мог бы стыдиться своих отношений с твоей матерью, но мне не стыдно. Мне больно от того, что я не мог с ней жить, что все это держалось в глубокой тайне, а потому как бы не существовало. Когда я встретил ее, у меня была жена и двое детей, и, положа руку на сердце, я сразу должен был уйти к твоей маме, но не сделал этого. Но из-за того, что не ушел, у меня появился самый близкий тебе по возрасту брат, мой сын Телониус. Признаюсь, что из всей троицы он мой самый любимый.

Жаль, что некуда отправить это письмо. Что ты не узнаешь, как сильно тебя любит отец, как он по тебе скучает и как ему горько не знать, правша ты или левша, какого цвета у тебя волосы и сможешь ли ты его простить.

Подписи не было. Это все, что нашлось в коробке. Письмо сохранило интонацию отца, которую

я никогда при его жизни не слышал — в ней была нежность, открытость. Мне и в голову не приходило, что у отца могла быть любовница и что из-за нее он мог поехать в Нью-Йорк. Я был уверен, что мать прочитала письма, но не знал когда. Она хотела, чтобы и я их прочитал, — в этом я тоже не сомневался. Как ни странно, неверность отца пробудила во мне еще большее сочувствие к нему, еще больший интерес. Даже подумав о матери и о том, каково ей пришлось, я не мог его осуждать, хотя и переживал за нее.

У меня есть другая сестра.

9

Я рос Эллисоном. Выглядел как Эллисон, говорил как Эллисон, подавал надежды как Эллисон, и как Эллисону мне был предначертан успех. В детстве люди на улице говорили мне, что их принимал на свет мой дед и что я похож на отца и его брата. Старший брат отца тоже был врачом и умер в пятьдесят лет. Ребенком мне нравилось быть Эллисоном, нравилось ощущать себя частью чего-то большего, чем я сам. Подростком я тяготился своей фамилией и тем, что во мне прежде всего видели одного из Эллисонов. Потом мне стало безразлично. А со временем и окружающим это стало безразлично. Вашингтон разросся, и все, кого мой дед принимал на свет, умерли. Деда по отцу я знал лишь по многочисленным рассказам. Одно из его прозвищ было “супердок” — с тех пор как однажды, возвращаясь с вызова, он сумел завести машину без аккумулятора и доехал на ней домой.

Мамина девичья фамилия — Паркер; ее семья жила на берегу Чесапикского залива, южнее того места, где мы проводили лето. Среди Парке-

ров было несколько фермеров, но большинство работало на тех или иных промышленных предприятиях. Братья и сестры матери были значительно старше и умерли раньше, чем я успел повзрослеть. От них мне достался целый рой двоюродных братьев и сестер, которых я никогда не видел и о которых ничего не слышал, — только знал, что они где-то существуют с именами вроде Жанел или Тайрел. Мать стала Эллисон. А Паркеров я видел лишь однажды ребенком, когда мы приехали в большой фермерский дом у залива. Они меня испугали. Своими размерами, резкими запахами, оглушительным смехом. Будь я постарше, они бы наверняка мне понравились, показались бы живыми и интересными, а так поразило лишь то, какие мы разные. Лиза, Билл и я слонялись по дому, который пах гарью, дымом и копотью. У затхлых стеганых одеял был запах мороженой моркови.

Судя по всему, мать стеснялась своей семьи. Она редко о ней говорила, хотя уверен, что родня по-прежнему считала ее своей. Она единственная из всех Паркеров поступила в университет, и образование, как это часто бывает, вбило между ними клин. Возможно, я ошибался, полагая, что мать не в состоянии понять мое ощущение

инородности и обособленности. Думаю, большую часть жизни она чувствовала себя неуверенно, словно не вполне соответствовала ожиданиям. Подтвердить мою догадку мне нечем: не припомню ни одного случая, ни какой-либо привычки, ни оброненной фразы — ничего, что указывало бы на это. Ну, может быть, мельком брошенный взгляд, что-то в манере держаться (словно еще чуть-чуть — и съежится), которые я замечал, не отдавая себе в этом отчета.

Между матерью и отцом никогда не было особой близости. Они во всем были заодно, и мы, дети, натыкались на это единство и отскакивали от него, как от стены. Нежности на людях они друг к другу не проявляли, хотя совсем без прикосновений явно не обошлось, раз нас у них было трое. По правде сказать, эти отношения казались мне отстраненными, лишенными тепла. Из-за них я так и не научился ни с кем сближаться. Как было бы удобно оправдать мое неумение выстраивать отношения одним лишь этим. К роли жены и матери мать относилась как к служению — приятная, но все же обязанность. Отцом двигало чувство долга, и он исполнял этот долг по-солдатски четко и эффективно.

* * *

В гараже я смотрел на столик, превратившийся в табурет, причем не самый удачный, и думал, что, обнаружив эту коробку, мать, столько лет жившая с ощущением, будто она не вполне соответствует отцовским ожиданиям, наконец получила этому подтверждение. Дерево моего изделия оставалось все таким же прекрасным на ощупь и так же приятно пахло. Я хотел сделать вещь безопасной, а сделал непригодной. Скорее всего, мать обнаружила письма вскоре после смерти отца — он просил их сжечь, не читая. Но знал, конечно, что она прочтет. Во мне стала закипать злоба — глупое чувство, даже если человек жив. Потом я задумался, что разрушает сильнее: когда веришь, что зря чувствуешь себя не соответствующим ожиданиям, хотя на самом деле так оно и есть, или когда убеждаешься, что все это время чутье тебя не обманывало и страхи были оправданы. Не потому ли после смерти отца мать вдруг стала такой спокойной и собранной? Возможно, он понимал, что ей необходимо это прочесть. А сейчас ей было необходимо избавиться от амилоидных бляшек и притормозить атрофию мозга.

* * *

Юл честно старался скрыть свое ликование, но выходило из рук вон плохо. Он рассеянно поддакивал, когда я возмущался тем, что этот так называемый роман всерьез принимают за литературу, и я прямо слышал, как в уме он считает деньги. Всем своим видом он словно говорил мне: пора повзрослеть. Но вслух только и произнес:

— Речь идет об огромной сумме.

— Понимаю, Юл, — сказал я.

— Редактор хочет поговорить с мистером Ли про рукопись. Что ей сказать?

— Скажи: я ей позвоню. — Не получив ответа, я продолжил: — Скажи, что Стэгг Ли живет один, здесь — в столице. Что он всего два года как вышел из тюрьмы (по его выражению, “откинулся”), что все еще привыкает к жизни на воле. Скажи, что он боится слететь с катушек. Скажи, что говорить он будет только о книге: один личный вопрос — и он положит трубку.

— Ты уверен?

— Уверен.

— Ну, окей. Хотя не скрою, мне это кажется странным.

— А я чё, виноват, что оно вам всем кажица

странным?

— Тебе, Монк, лечиться надо.

— Не говори.

* * *

Мне семь.

Мы едем на залив по Пятидесятому шоссе — это самый прямой путь, но одновременно и самый медленный на свете. Едем на двух машинах; брат, как всегда, с отцом. Мать ведет еле-еле; Лоррейн сидит рядом с ней, уткнувшись в карту, поэтому мы опять приезжаем минут на двадцать позже. Но отец никогда не открывает наш летний дом, пока все не соберутся. Они с Биллом уже успели разгрузить любимый отцовский “виллис” и аккуратно сложили вещи у входа, чтобы сразу внести.

16 июня, суббота. Как же ясно я это помню! Солнечно, но не слишком жарко. На мне брюки цвета хаки и ненавистная рубашка в полоску. Похоже никто из наших соседей еще не приехал. На парковке одна-единственная машина профессора Тилмана. Не успеет Говардский университет отпустить студентов на каникулы, как он уже здесь. Детей у него нет, а жена давно умерла, но он не только не ищет общения, но кажется,

наоборот, избегает его. Мне непонятно, зачем вообще приезжать, если он все равно не выходит из дома, разве только за продуктами. Иногда я вижу, как он сидит в дальнем углу веранды и любуется узенькой полоской залива.

— Возьми ту коробку, — говорит отец и показывает какую.

Беру и заношу в кухню. Лоррейн уже подметает. Мать убирает посуду, а Билл смахивает пыль и сухие листья с подоконников закрытой веранды, на которой мы обычно завтракаем.

— Как сюда листья попадают? — спрашивает Билл. Он каждый год задает один и тот же вопрос.

Отец может взорваться внезапно. Вообще-то я считаю его добрым — не зря же его так обожают пациенты, — но жить с ним все равно что жить на вершине Везувия. Или не Везувия, а какого-нибудь дремлющего или даже спящего вулкана. Он не выбрасывает из себя столбы раскаленной лавы, а лишь гудит или шипит; иной раз и вовсе пропустишь момент извержения, а потом лишь уловишь запах гари и серы, заметишь в воздухе испарения. На вопрос Билла отец бросает:

— Не бывает герметичных домов.

И лишь когда он выходит из дома за последней

коробкой, мы испуганно переглядываемся.

Но именно это свойство отца и было причиной, из-за которой я чувствовал с ним особую близость. Я восхищался его умом, его прозорливостью, его замысловатой манерой изъясняться. У Билла был один секрет, и это был секрет Полишинеля; у матери секретов не было; Лиза своими секретами не делилась, а отец кричал о своих на каждом углу. Я в этом убежден. Он наверняка не раз говорил всем нам, что выбрал себе неправильную жену и что, вероятно, у него есть еще ребенок.

Чуть позже, перекусив сэндвичами, мы с отцом отправляемся на прогулку по пляжу. Мне приходится чуть ли не бежать, чтобы не отстать от него. Мы машем профессору Тилману.

— Почему профессор Тилман никуда не ходит? — спрашиваю я.

— Очевидно, не хочет, — говорит отец.

Ответ меня озадачивает, и отец это видит.

— Трудно представить, да? — говорит он. — Что кто-то не хочет выходить из дома.

Я говорю, что да, трудно.

Мы доходим до самого конца длинного пирса и смотрим на воду. Мимо проплывает медуза. Вдалеке ползет маленькая моторка — это рыбак объезжает свои ловушки на крабов. Я прихлопы-

ваю комара и смахиваю его с плеча.

Отец смеется.

— Кровь в обмен на зуд. Такая вот сделка. Самке комара нужна кровь, чтобы произвести яйца, а тебе нужен зуд, чтобы не забыть, как приятно почесать там, где чешется, и как было хорошо, когда не чесалось.

— Ненавижу комаров, — говорю я.

— Через пару недель пойдет луфарь, — говорит он. — Его ловить — одно удовольствие. Как думаешь, вы с братом сможете сами спустить лодку на воду?

— Нет.

Он смеется.

— Я вам помогу утром до своего отъезда.

* * *

ротко[33]: *Я старик.*

мазервелл[34]: *Да не такой уж вы и старый.*

ротко: *И ворчливый старик вдобавок. Ухватил-*

---

[33] Примечания: 33

Марк Ротко (1903–1970) — американский живописец, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля.

[34] Примечания: 34

Роберт Мазервелл (1915–1991) — американский художник и коллажист, представитель абстрактного экспрессионизма и живописи действия в живописи.

ся за малярную кисть, которую тут нашел. Она делает края почти пушистыми. Смешно, да? Малярная кисть. Готов поспорить, что этот чертов Гитлер в своей гадкой юности пользовался такой же. А теперь я за нее взялся. У меня масса сухих пигментов — я их мешаю, мешаю, но так ли уж мои цвета уникальны? Людям не надоели мои панно? Я люблю свои ранние вещи. То, что я делаю сейчас, вгоняет меня в депрессию.

мазервелл: *Работа всех вгоняет в депрессию.*

ротко: *Где это видано, чтобы молодые стариков поучали?*

мазервелл: *Я сам уже не так молод.*

ротко: *Зато с крепкими нервами. Этого у тебя не отнять. Я собираюсь покончить с собой, о чем ты, конечно, уже догадался. И думаешь, будто понимаешь, что я чувствую. Да, нервы у тебя крепкие. А картины — дрянь.*

* * *

Размышляя о своих романах (за вычетом одного, который принес хоть какие-то деньги), я, как это ни печально, кажусь себе стереотипным радикалом: обрушиваюсь на нечто, называя это традицией; утверждаю, будто ищу новые повествовательные горизонты, нащупываю гра-

ницы тех самых форм, что манят возможностью творческого самовыражения. Однако не всякий радикализм устремлен в будущее, и возможно, все это время я неправильно понимал свои эксперименты, подпирая (как будто ей вообще нужна подпорка) ту самую художественную традицию, которой, по собственным словам, бросал вызов. Я перечитал статью, которую будто бы сходу отверг, и вдруг осознал, что озарения подобны острой пище: дают о себе знать снова и снова.

* * *

Голос у Полы Бейдерман был прокуренный, но звучал молодо и энергично. Когда я позвонил, она сразу взяла трубку.

— Мистер Ли? — сказала она.

— Да.

— Хорошо, что нам удалось связаться хотя бы по телефону. Давно хочу переговорить с вами. Вы, конечно, знаете, что книга мне очень нравится.

— Да, я в курсе.

Она помолчала, словно отделяя сказанное пробелом, потом спросила:

— Сколько времени у вас заняло ее написать?

— Чуть больше недели.

Снова молчание, но иного свойства. Мне стало

ясно: ее удивила, если не охладила, моя манера говорить — она ожидала другого. Подыгрывать я не собирался.

— Неделя. Невероятно.

— Вы хотите, чтобы я внес какие-то правки?

— Да нет. Честно скажу: ей и редактура не требуется — я таких книг давно в руках не держала. Давайте поговорим о вас. Могу я спросить, за что вы сидели?

— Не можете.

Моя резкость ей, похоже, понравилась, даже слегка возбудила. Я услышал, как участилось дыхание.

— Понимаю. Не буду лезть. В тюрьме вы много читали?

Я промолчал.

— Что ж, — сказала она, — мы рассчитываем выпустить книгу весной. Думаю, это будет идеальное летнее чтение.

— Да, белые на пляже уписаются от восторга.

От этих слов словно чьи-то пальчики пробежали по ее позвоночнику, и сиди я сейчас напротив (в своем нынешнем амплуа), она бы уже срывала блузку и лезла ко мне через стол — может, и не в буквальном, но в переносном смысле.

— Вы не согласитесь дать мне свой номер на

случай, если возникнут вопросы? — спросила она.

— Не соглашусь. Просто скажите Юлу, что хотите со мной переговорить, и я свяжусь с вами. Так всем будет лучше.

— Что ж, хорошо. Спасибо, Стэгг… Я могу называть вас Стэгг?

— Можете.

— Еще раз спасибо.

— Не за что, мисс Бейдерман. — И повесил трубку, не дожидаясь, пока она попросит обращаться к ней Пола.

* * *

Пришла первая половина аванса. Я застал мать в гостиной — она слушала Малера. Отец всегда любил Малера, а мне он с детства казался тяжеловесным и нарочито трагичным. Она слушала *“Kindertotenlieder”*[35] и была на грани слез. А я улыбался.

— Почему ты сияешь, Монкси?

— Заплатили за новую книгу.

---

[35] Примечания: 35

“Песни об умерших детях” (1901–1904) — вокальный цикл (5 песен) для голоса и оркестра Густава Малера на стихотворения Фридриха Рюккерта.

— Новую? Прямо не терпится прочитать.

— Придется потерпеть, — сказал я. — А пока мы отправляемся в путешествие. Куда скажешь. — Хотелось отвезти ее в красоту, пока она еще умела радоваться, пока помнила, кто я, кто она и для чего нужна вилка. — Куда тебя отвезти?

— Ой, Монкси, ты же знаешь, как я отношусь к путешествиям. Решай сам. Мне с тобой везде будет хорошо.

— Тогда поедем в Детройт, — сказал я.

Словно тень легла на ее лицо, изменив его выражение. Оно стало таким, что можно было не сомневаться: в овощ она пока точно не превратилась.

— Шучу, — сказал я.

— Еще бы.

— Сейчас лето, давай поедем, где попрохладней? Как тебе Мартас-Винъярд?

— А почему бы нам не поехать в наш летний дом? — сказала она.

Я представлял эту поездку иначе, но идея показалась мне идеальной. Дом уже три года пустовал. Одно время Лиза ездила туда со своим бывшим мужем, но после их развода там никто не бывал.

— Отлично, — сказал я. — Берем Лоррейн и выезжаем завтра. Завтра нормально?

— Конечно, Монкси.

* * *

юл: *Что ты ей сказал?*

я: *В каком смысле?*

юл: *Она теперь продвигает книгу с утроенным рвением.*

я: *С чего бы это.?*

юл: *Заказала рекламу на всю полосу в “Нью-Йорк таймс” и “Вашингтон пост”.*

я: *Да ладно!*

юл: *Просила узнать, придет ли Стэгг на пару утренних шоу на федеральных каналах.*

я: *Ха-ха-ха-

с кем-то из дорожной полиции или типа того, он гомофоб, так они едва не подрались. Боюсь, дети плохо восприняли правду. Кажется, он говорил, что набрал несколько новых пациентов. Это хорошо. — В этот моменту откуда-то вернулся Билл. — Это твой брат, — сказал Адам, прикрыв трубку ладонью.

— О чем ты с ним треплешься? — строго спросил Билл.

— Ни о чем. Так, языками чешем.

Билл взял трубку.

— Монк?

— Привет, Билл.

— Как дела?

— Нормально. А у тебя?

— Могли бы быть лучше, — сказал он так, словно вот-вот заплачет.

— Билл, я звоню, потому что завтра повезу маму на залив. Мы с ней поживем там какое-то время. Я подумал, может, ты тоже приедешь. Я бы тебя встретил в аэропорту.

Повисло долгое молчание.

— Билл?

— Я бы с радостью, но сейчас совсем не до этого. Мне надо быть в суде по поводу свиданий с детьми. Ну, ты понимаешь.

— Сочувствую.

— Спасибо.

— Я просто решил спросить. А то, может, приедешь с Адамом? — И добавил, не дав ему ответить: — Я куплю вам билеты. Мать не в лучшей форме, Билл.

— Окей, Монк. Поговорю с Адамом. Ты там телефон включишь?

— Думаю, да.

— Тогда я позвоню в ближайшие пару дней, окей?

— Окей.

Я повесил трубку и долго смотрел на телефон на письменном столе. Он был тяжелый и черный, и по нему говорил отец, поэтому мне иногда казалось, будто в проводах все еще жил его низкий голос. Билл показался мне ужасно грустным и совсем потерянным. Когда мы были детьми, я часто, хотя и безотчетно, чувствовал его грусть, но безысходность (если это действительно была безысходность), потерянность, непонимание того, а где же, собственно, твое место, были ему раньше несвойственны и здорово придавили. Я впервые по-настоящему осознал, что теряю семью, и, хотя в потере семьи нет ничего странного или противоестественного (напротив, это

намного естественнее, чем большинство других вещей, которые с нами происходят), принять это оказалось непросто. Отца не было уже несколько лет. Недавно убили сестру. Мать понемногу отлетала в облака на воздушном змее деменции. А брат, похоже, наконец-то нашел себя, потеряв в процессе поиска все остальное. Я бы не рискнул сравнить себя с капитаном тонущего корабля (эта избитая метафора подразумевает наличие хоть какой-то власти); скорее я был кочегаром на теплоходе, акушером в монастыре.

* * *

— Если выбирать между зрением и слухом, что бы ты выбрал? — спросила однажды Лиза.

Мы все сидели за столом для пикника позади дома. Был вечер. Появились первые комары, а крабы почти пропали.

— Зрение, — быстро ответил Билл. — В мире можно столько всего увидеть: картины, пейзажи, лица. А без слуха я обойдусь — научусь по губам читать.

— А ты, Монкси? — спросила мать. Она считала, что нам полезно вести такого рода беседы.

— Не знаю. Я хочу слышать музыку и сверчков. И картины тоже видеть хочу, как Билл сказал. На-

верное, все-таки зрение. Да, я бы зрение выбрал.

— Я тоже, — сказала мать.

— А ты, папа? — спросил Билл.

Отец жевал, слушая нас с рассеянным видом. Посмотрел на Лизу, потом на меня, словно изучал. Посмотрел через стол на мать, кивнул. Долго смотрел на Билла. Потом окинул взглядом нас всех и сказал: “Слух”. С такой улыбкой, чтобы мы поняли: он подтрунивает. И мы рассмеялись, а не обиделись.

* * *

Пока мы ехали по Пятидесятому шоссе (я за рулем, мать рядом, Лоррейн за моей спиной с немым укором во взгляде), я перебирал в голове все, что было плохо в романе, который вот-вот будет издан и который я согласился издать именно потому, что он плохой, но теперь эта мысль меня убивала. Конечно, это пародия, но легкость, с которой я ее сочинил, не позволяла относиться к ней всерьез даже в этом качестве. Скука смертная, и единственное достоинство — краткость. Нет игры ни с композицией текста, ни с его расположением на странице. Текст вообще выходит за рамки того художественного пространства, которое я в состоянии осмыслить. При

всей внешней и внутренней дезориентации Вана Го в романе нет ничего, что бы ее стилистически отражало. Но вот что самое печальное: проследив ход собственной мысли, я понял, что извожу себя, копаясь в идиотской, претенциозной чепухе, чтобы не смотреть в лицо настоящему обвинению: я продался.

Мать коснулась моей руки, словно почувствовала мои муки.

— Как ты, мой хороший? — спросила она.

— Нормально, мама. — Я посмотрел в зеркало заднего вида. — У тебя там все в порядке, Лоррейн?

— Да. — Лоррейн отказывалась ехать, но я боялся, что не справлюсь без нее с матерью, и, честно говоря, не хотел оставлять ее одну. — Я бы не возражала заглянуть в дамскую комнату.

Мы были в дороге около получаса и до Аннаполиса оставалось минут двадцать.

— Потерпишь до Аннаполиса? — спросил я.

— Потерплю, если выхода нет.

— Лоррейн нужно остановиться, — сказала мать.

Я кивнул и съехал на ближайшем съезде — там не оказалось ничего, что могло бы понадобиться усталому путнику. Поехал по двухполосному

шоссе, и минут через тридцать увидел бензоколонку. Остановился у двери туалета и заглушил двигатель.

— Прошу, Лоррейн. — Я вышел и открыл ее дверцу.

Из окна за нами наблюдал долговязый белый подросток с сальными волосами.

Лоррейн подошла к двери туалета, приоткрыла ее, потом вернулась и села обратно в машину.

— Потерплю, — сказала она.

— В чем проблема? — спросил я.

— Туда не войти, — сказала она.

— Другого места нет.

— Лоррейн сказала, что не пойдет туда, Монкси, — сказала мать.

— Подожду, пока доедем, — сказала Лоррейн.

Через час мы были в Аннаполисе, и Лоррейн спала сзади, а мать — рядом со мной. Я проехал через город к пляжу. Невероятно, но меня узнал охранник на въезде. Он был ровесником матери, и я его совершенно не помнил.

— Монк Эллисон, — сказал он. — Ну и ну! А ты меня, конечно, забыл, да? Мейнард Боутрайт.

Имя было смутно знакомо, но в моей памяти оно принадлежало большому накачанному атлету с квадратной челюстью, бывшему морпеху,

а не милому старичку, заладившему свое “ну и ну”.

— Нет, не забыл, — сказал я. — Как жизнь?

— Образцово-показательно. — Он посмотрел на мать, потом на Лоррейн. Я вспомнил, как Лиза говорила, что он к ней неровно дышит. — Неужели это…

— Лоррейн, — сказал я.

— Надо же.

Я повернулся, чтобы разбудить Лоррейн, но Мейнард меня остановил.

— Сразу видно: ты хороший водитель, — сказал он. — Всех усыпил.

— Похоже, что да.

— Ну, до встречи. — Он помахал на прощание спящей Лоррейн.

* * *

Похоже, сон подействовал на старушек целительно. Войдя в дом, они заметно приободрились и бросились наводить порядок. Я не сильно устал после короткой поездки, но к уборке меня и близко не подпустили. Я вышел на улицу к электрощиту на боковой стене дома и включил подачу воды и электричество. Снова заглянул в дом убедиться, что без меня отлично обходятся,

и пошел за дом к маленькому причалу на приливном пруду. Посмотрел на восток, в сторону залива. Старое алюминиевое каноэ по-прежнему лежало вверх дном на двух подпорках, как обычно укрытое брезентом. Скоро я спущу его на воду и буду покачиваться на воде, попыхивая сигарой. У кромки пруда теперь теснились дома — их не было, когда я был ребенком. До меня доносились голоса, музыка, лай собак; где-то выла автосигнализация. Я прошел между нашим и соседским домом и направился по дороге к пляжу.

* * *

Интересно, как далеко я зайду в этой мистификации, в своей игре в Стэгга Ли. Может, превращусь в Райнхарта[36] и, разгуливая по улицам, начну видеть в витринах не свое отражение, а его. Какой уж есть, таким и ешьте. Налеплю накладную бороду, нахлобучу парик, буду ходить по ток-шоу, играть по правилам, соответствовать образу, заговаривать зубы. Нет, не смогу.

Пусть мистер Ли и дальше остается затворни-

[36] Примечания: 36

Загадочная фигура из Гарлема в романе Ральфа Эллисона (1914–1994) “Человек-невидимка” (1952). Он ни разу не появляется, но за него постоянно принимают главного героя, стоит тому надеть темные очки и шляпу.

ком, будто только вчера вышел из одиночки. Еще пару раз поговорит с редактором и исчезнет — как сквозь землю провалится.

* * *

Я прошелся по пляжу, обернулся и посмотрел на дом Дугласов. Сначала дом принадлежал внуку Фредерика Дугласа[37], но с тех пор сменил нескольких владельцев. В моем детстве дом пустовал; мы заходили внутрь, поднимались по лестнице в башенку и смотрели на воду. Отец говорил, что в этой башенке писал сам Джеймс Уэлдон Джонсон[38]. При мысли об этом становилось немного страшно, но одновременно в голове начинали пульсировать строки стихов, которым так и не суждено было родиться. Теперь дом выглядел посвежевшим и каким-то чужим. Башенку застеклили — раньше ее защищала москитная сетка. В доме больше не гулял ветер — там был кондиционер. У входа стоял внедорожник

[37] Примечания: 37

Фредерик Дуглас (1818–1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор. Один из борцов за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения.

[38] Примечания: 38

Джеймс Уэлдон Джонсон (1871–1938) — американский писатель, педагог, юрист, дипломат, автор песен и правозащитник.

“мерседес-бенц”.

Назад я пошел по улице. Остановился у старого дома Тилмана и не заметил женщину на веранде, пока она не спросила, не нужна ли мне помощь, тем тоном, которым обычно спрашивают: “что вы тут забыли?”

— Извините, — сказал я. — Я просто вспоминал прежнего владельца.

— Что вы говорите, — тоном, в котором слышалось: “ага, заливай”.

— Правда-правда. Все обращались к нему профессор Тилман. Без имени. Может, его так в детстве и назвали — Профессор.

Женщина рассмеялась. Она была высокая, одного роста со мной, сошла с веранды и посмотрела на дом. Квадрат ее лица обрамляли почти белокурые дреды.

— Профессор Тилман был моим дядей, — сказала она. — Мы все звали его дядя Профессор.

Она оказалась с чувством юмора. Я улыбнулся.

— Не сочтите меня невеждой, я просто вас не увидел.

— Ничего.

— Как Профессор? — спросил я.

— Он умер три года назад.

— Мои соболезнования.

— Дом достался мне по наследству. Часть дома. Мы с братом владеем им пополам, но он живет в Лас-Вегасе и здесь никогда не бывает. — Она сказала это так, будто Лас-Вегас был несуществующим городом.

— Я там бывал, — сказал я. — Проездом. Меня зовут Телониус Эллисон. Можно просто Монк.

— Так вы сын доктора Эллисона? — Я кивнул. — Дядя часто говорил о вашем отце.

— Надо же.

— Мэрилин Тилман. — Она пожала мне руку. — Вы на все лето? Хотя что там от него осталось…

— Всего на пару недель. Я здесь с матерью и ее домработницей. И знаете, мне пора возвращаться. У них уже наверняка готов список, чтобы отправить меня за покупками. Потом еще поболтаем, ладно? — Я сделал пару шагов. — Может, вам тоже что-нибудь прихватить в магазине?

— А что если я с вами поеду? — спросила она.

— Мы в том двухэтажном доме с зелеными ставнями.

— Я мигом, — сказала она.

— Хорошо. — Она буквально взлетела по ступеням веранды и скрылась.

Вернувшись домой, я обнаружил, что между матерью и Лоррейн будто кошка пробежала. В до-

ме стояла неловкая тишина. Мать сказала, что ей надо прилечь, и Лоррейн, отведя меня в сторону, сказала то же самое. Лоррейн составила список покупок, к которому мать дрожащей рукой приписала несколько пунктов. По всей видимости, это и стало причиной взаимного раздражения, тем более что один из пунктов, добавленных матерью, был в основном списке Лоррейн.

— Она устала, — повторила Лоррейн, на этот раз достаточно громко, чтобы мать услышала.

— Неудивительно, — мягко сказала мать и оглянулась по сторонам, словно ища, куда бы прилечь.

— Лоррейн, — сказал я, — проводи маму наверх и уложи ее, ладно? Я буду через час-полтора. И привезу что-нибудь поесть, чтобы сегодня никто не готовил.

— Слушаюсь, мистер Монк.

Лоррейн стала подниматься по лестнице вслед за матерью.

— Мне не нужна твоя помощь, — процедила мать.

— Я должна застелить вам постель, — сказала Лоррейн.

— Ну так стели. Что ты резину тянешь?

Я вышел на улицу и увидел приближающуюся

Мэрилин. Соломенная шляпа отбрасывала тень на ее лицо, но глаза и скулы сияли молодостью. В этом сиянии было что-то знакомое, давно исчезнувшее из моей жизни. Глядя на ее уверенную походку, на свободно болтавшуюся на плече холщовую сумку, я почувствовал свой возраст.

— Готовы? — спросила она.

— О да, — сказал я.

Мы сели в машину, и я не сразу попал ключом в зажигание. Все было удивительно, тревожно и непривычно. Рядом сидела женщина моложе семидесяти, женщина, которая мне нравилась, женщина, чья кратковременная память ничуть не уступала моей. Я чувствовал себя старой девой и старался не выдать своей застенчивости.

10

Прошло десять дней. Я гулял один, гулял с Мэрилин, один раз гулял с матерью. Мэрилин познакомилась с матерью и Лоррейн. Мейнард (тот охранник на въезде) заходил к Лоррейн. Мать сказала, что Мэрилин ей нравится. Я сказал Мэрилин, что она мне нравится. Мэрилин сказала, что я ей нравлюсь. Мы ужинали вчетвером. Я ужинал с Мэрилин. Я садился в каноэ, качался на воде и курил сигары. Мать и Лоррейн действовали друг другу на нервы. Лоррейн обиженно бурчала. Мать уходила вздремнуть. Мать и Мэрилин поговорили наедине, пока я ездил на рынок.

— Мама сказала, что скоро выйдет твоя новая книга, — сказала Мэрилин.

Я чуть было не ответил, что мама ошиблась, даже рот открыл, но вдруг подумал: нечестно приписывать человеку несуществующее заблуждение, когда ему и настоящих хватает. Я сказал:

— Сначала ее надо дописать. Может быть, весной и выйдет.

— Как называется?

— Пока без названия. Это пересказ “Сати-

рикона”. — Я усмехнулся. — Мой очередной суперуспешный проект.

— Я бы и в рукописи с удовольствием почитала.

— Я тоже, — сказал я.

Она взглянула на меня вопросительно.

— Когда закончу, обязательно покажу.

— Кстати, я читала “Второй провал”, когда он только вышел. Мне понравилось.

Я кивнул.

— Спасибо. Боюсь, у меня совсем не много читателей.

Мы сидели на причале, глядя на пруд. У нас была бутылка мерло, но удовольствие от вина изрядно портил запах цитронеллы — горели свечи от комаров. Я многое узнал о Мэрилин, как, наверное, и она обо мне — чужое прошлое всегда кажется важнее, интереснее, насыщеннее, чем свое. Они с братом выросли в одном из пригородов Бостона в семье врачей; она окончила сначала Вассар, потом Колумбийский университет и теперь работала адвокатом в Федеральном бюро по рекомендациям о назначении наказаний. Ездила по стране, объясняя общественным защитникам тонкости существующего законодательства. К работе относилась серьезно, считала

ее важной (я тоже) и этим очень напоминала мою сестру. Уважала некоторых коллег, но не само бюро; страстно отстаивала права подзащитных, но люди эти были ей неприятны.

Комары вились вокруг наших щиколоток.

— Не возражаешь, если закурю? — спросил я, доставая сигару из нагрудного кармана рубашки.

— Кури, конечно.

Я чиркнул спичкой, затянулся и выпустил дым на ее ступни.

— Комарам это не очень понравится.

— А мне очень.

Я отклонился назад и посмотрел ей в глаза. Она не отличалась примитивной киношной красотой, но ее лицо — интересное, умудренное опытом, вдумчивое — было по-настоящему красивым. Может, она увидит что-то из перечисленного и в моем лице, сочтет привлекательным? Наши головы медленно поплыли навстречу друг другу, как это бывает в преддверии первого поцелуя. И вот наши губы встретились — нежно, уверенно, без колебаний. Потом мы сидели молча. Мне стало страшно: вдруг я и ее когда-нибудь оттолкну, все испорчу.

Потом со стороны пруда до нас донесся плеск весел, тихий смех. В свете луны на маленьком

ялике мимо проплыли Лоррейн и Мейнард. Трогательная сцена. Я хотел было порадоваться за Лоррейн, но подумал о матери, оставшейся в пустом доме, о ее удушающем одиночестве — и сердце сжалось.

* * *

Я никогда не пытался сойти за своего в дворовых компаниях — знал, что все равно не выйдет; оставался собой, и это меня обычно не подводило. Но подростком мечтал “вписаться”. Тем более что мои друзья, говорившие, как и я, на безупречном английском, в нужный момент легко переходили на сленг.

— Йо, мэн, как сам? — говорили они.

— Сам-то как сам? — раздавалось в ответ.

Зачем они это делали, я не понимал, но звучало по-свойски, непринужденно и, главное, круто. До сих пор помню многие слова и выражения.

Верняк
Чё творица.
Чё-как?
Чилить.
Врубаца.
Йо (даже с этим у меня были проблемы).

Как вайб?
Как сам?
Лучше не нарывайся.
Нехуёво.
А ну пафтари.
Пиздец как жарко.
Рехнуца можно.

Я пробовал, но получалось наигранно и фальшиво. На мой слух это и у других получалось наигранно, но не так нарочито, как у меня. Я все время путался, когда “дать пять”, а когда просто пожать руку; в разновидностях рукопожатий тоже не разбирался. Позже я понял, что моя угловатость никого, кроме меня, не волновала, но тогда казалось, все только о ней и говорят. “Телониуса Эллисона знаешь? Угловатый такой”. *Строит из себя? Косит под белого? Даже в баскетбол играть не умеет.*

* * *

Под утро стало прохладно, и я с удовольствием потянулся за одеялом в изножье кровати. Начинало светать. Из каких-то глубин в мою сладкую полудрему проник голос Лоррейн.

— Мистер Монк! Мистер Монк!

Я спустил ноги с кровати, натянул спортивные штаны и влез в тапки.

— Что? Что такое? — крикнул я, устремляясь к лестнице.

— Ваша мама.

Сбежав вниз, я увидел на кухне Лоррейн. Она смотрела в окно. Я огляделся: матери нигде не было. “Что случилось? Лоррейн, где мама?”

Лоррейн не ответила, только показала пальцем в окно, на пруд. На неподвижной, ровной, как зеркало, водной глади в легком голубом ялике стояла мать. Руки по швам, лицо безмятежное.

— Что она там делает? — спросил я, осознав бессмысленность вопроса лишь после того, как его задал. К чести Лоррейн, она ничего не ответила. — Похоже, ее надо спасать. — Но как? Ведь нет другой лодки. Я заглянул в соседский двор в надежде обнаружить какое-нибудь плавсредство. Ничего. — Похоже, придется вплавь.

* * *

Вода была холодной, даже ледяной. Плавал я посредственно, но полагал, что уж до лодки-то как-нибудь доплыву. На полпути остановился, чтобы сориентироваться. Оглянулся — и увидел уже не только вышедшую на причал Лоррейн,

но и сбившихся в небольшие группки у самой кромки воды соседей. Все незнакомые. Я поплыл дальше. Как ни странно, плыть было приятно. Мать боялась воды, значит, это опять приступ. Отец всегда с трудом уговаривал ее ступить в лодку, а тут она сама в нее села. Я и представить не мог, насколько далеко ее унесло, пока не доплыл.

Остановился и огляделся: до лодки оставалось всего несколько футов. Поплыл на боку, ухватился за борт, но тут же отдернул руку — мать замахнулась веслом.

— Мама, это я, — сказал я, держась вровень с лодкой и стараясь поймать материнский взгляд.

Прямо за ее спиной всходило солнце, и я переплыл к другому борту. Когда мне наконец удалось заглянуть ей в глаза, там была пустота. Я не узнал мать, хотя и понимал, что это она. Можно было бы часами объяснять ей, кто я, но так и не втолковать. В воде плавал конец веревки, которой лодку привязывали к причалу. Я ухватил его и стал тянуть за собой, плывя на боку. Все это время мать стояла навытяжку, держа весло наготове, чтобы снова им замахнуться, если я приближусь. “Все в порядке, мама, — повторял я. — Все в порядке”. Потом я произнес строгим голосом:

— Миссис Эллисон, стоять в лодке запрещено.

Она села. И лодка стала как будто легче.

На причале помимо Лоррейн, теперь стояли Мейнард и Мэрилин. Лоррейн с Мейнардом помогли матери выбраться из лодки и повели к дому. Мэрилин осталась со мной. Я повалился на спину, отдуваясь, не мигая глядя на залитое солнцем небо.

— Господи! — сказал я.

— Ты в порядке? — спросила Мэрилин.

Я посмотрел на нее и сел. Люди стояли по всему периметру пруда, даже на противоположном берегу, и все глазели на нас. Мне в общем-то было все равно. Случись такое с ними, я бы тоже стоял и тупо таращился. Но их праздное любопытство лишь подчеркивало то, что и так было очевидно: болезнь матери стремительно прогрессирует, и ничего с этим не поделать.

— Ты в порядке? — снова спросила Мэрилин.

— Вроде да. Пойду проверю, как мать.

Она помогла мне встать, и, кажется, я даже откашлял немного воды. Спортивные штаны облепили ноги, стали тяжелыми, но были очень уместны.

À propos de bottes[39]

— Добро пожаловать в “*Virtute et Armis*”[40].

— Я бы хотел участвовать в викторине, — сказал Том.

— Конечно, кто ж этого не хочет, — сказала блондинка. Она протянула Тому анкету. — Заполни и верни мне, а там посмотрим. Можешь вон за тот стол присесть. — Она указала на большой деревянный стол в противоположном конце — за ним уже сидели трое чернокожих.

Том взял анкету и подошел к столу. Сел и взял ручку, привязанную к столешнице. Попробовал разглядеть лица соседей, но те на него даже не взглянули. Первый же вопрос поставил Тома в тупик: надо было вписать фамилию и имя. Он чуть не расхохотался. И для первого, и для второго была соответствующая графа. Он вывел “Том” в графе “имя” и стал придумывать фамилию. Хотел написать “Хаймс”, но испугался, что опять кончится неприятностями. В итоге написал “Ва-

---

[39] Примечания: 39

Устойчивое выражение во французском — ироничная связка, позволяющая говорящему сменить тему без всякой видимой связи с предыдущим. Что-то вроде русского “кстати о птичках”.

[40] Примечания: 40

“Доблестью и оружием” *(лат.)* — девиз штата Миссисипи.

зетепе". Почему — неизвестно. Слово сложилось как бы само собой, и он тихо произнес его вслух по слогам: "Ва-зе-те-пе". Если спросят, скажет, что имя африканское, хотя он знал, что это слово из языка индейцев Сиу, только не помнил значения и где оно ему попадалось. Главное: для фамилии подходило идеально. Дальше просили номер социального страхования, и номер — хоп — и зажегся в голове, как лампочка, хотя Том знал, что он липовый. 451-69-1369. Некоторое время Том вглядывался в цифры, пытаясь разгадать их смысл. В средней паре узнал клешни краба — символ зодиакального знака Рак. Но две другие комбинации — 451 и 1369 — ничего ему не сказали. Потом начал выдумывать дальше: домашний адрес, место рождения, образование ("закончил колледж Уильяма и Мэри"), хобби ("мастерю дульцимеры и воздушных змеев из пакетов для мусора"). Отнес заполненную анкету секретарше, и та радостно ее приняла, выдав взамен целую пачку бумаг.

— Если сможешь ответить на эти вопросы, мы рассмотрим твою кандидатуру для участия в викторине, — сказала она. — Даю тебе пятнадцать минут. — Она взглянула на часы. — Время пошло.

Том вернулся к столу. Вопрос первый: “Можете ли вы описать представителей семейства насекомых *Haliplidae*?” Сначала Том просто написал: “Да”. Потом решил, что ответ получился слишком буквальным, и добавил: “Галиплиды, или семейство плавунчиков, или Малые плавунцы — это ползающие водяные жуки. Они небольшие, овальные и выпуклые, обычно желтого или коричневого цвета с темными крапинками. От других водяных жуков их можно отличить по широким пластинкам задней пары ног, известным как большие бедренные покрышки”. Он мог бы и продолжить, но решил, что пора переходить ко второму вопросу.

(2) Кто такой Фердинан Альбер Декомб? Том ответил не задумываясь. “Известен под псевдонимом Альбер. В 1829 году назначен главным балетмейстером Парижской оперы. Поставил ряд балетов, включая *«Le Seducteur au Village»*, *«Cendrillon»* и *«La Jolie Fille De Gand»*[41]”.

(3) Сформулируйте теорему о среднем значении. “Эта теорема обобщает теорему Ролля. В ней утверждается: если функция y = f (x) непрерывна для a ≤ x ≤ b и имеет производную при каждом

---

[41] Примечания: 41

“Деревенский соблазнитель”, “Золушка”, “Красотка из Гента” *(фр.).*

значении x для a < x < b, то между a и b существует по меньшей мере одна точка c, где касательная к кривой будет параллельна хорде, проходящей через две точки A [a, f (a)] и B [b, f (b)]".

Том был как в лихорадке. Ответы приходили легко — он не понимал, как это получалось. Голова пылала. В конце предлагалось описать (и он описал) инжекторную систему подачи топлива с одноточечным впрыском, которую автомобильный концерн "Крайслер" разработал в 1977 году. Дальше просили объяснить, как этот принцип был реализован в модели "Империал", и он принялся объяснять занудно, во всех подробностях. Занудство дало голове передышку.

— Время! — крикнула Тому секретарша.

Том отнес ей исписанные листы.

— Прекрасно, — сказала она. — Теперь иди домой. Мы позвоним, если ты подходишь.

— У меня нет телефона, — сказал Том.

— Вот те раз, — сказала женщина.

— Я здесь подожду, — сказал Том, отошел к дивану и сел.

Секретарша явно занервничала, поняв, что Том не собирается уходить. Она понесла в соседний кабинет какие-то бумаги. Том решил, что его ответы. Он взял со столика научно-популярный

журнал и прочитал статью о новом танке, который мог двигаться по пересеченной местности со скоростью до девяноста миль в час.

Том сидел на диване в приемной телестудии NBC, в офисе телевизионной викторины *“Virtute et Armis”*, и ждал возвращения секретарши. Наконец она появилась, причем не одна, а в сопровождении седого мужчины в сером костюме. Том решил, что на лице у мужчины какое-то воспаление, но это оказалась улыбка. Секретарша показала пальцем на Тома; седой кивнул и направился к нему. Том отметил его уверенную походку.

— Вы прекрасно справились с тестом, — сказал мужчина.

Том кивнул.

— Тут написано, что вы закончили колледж Уильяма и Мэри. В каком году?

— Вообще-то это неправда. Написал, что в голову пришло.

— Меня зовут Дэмиен Блан, — сказал мужчина. — Я продюсер *“Virtute et Armis”.*

— Извините, что обманул.

— Да бросьте. Это же телевидение. Думаете, кого-то здесь реально волнует, где вы учились, чему и учились ли вообще? — Он сел на диван

рядом с Томом. — Видите ли, какое дело, мистер Вазетепе… (Он словно споткнулся о фамилию.) Можно просто Том?

Том кивнул.

— Видишь ли, Том: у нас проблема. Один из сегодняшних участников приболел. Нужна строчная замена. И тут ты.

— Меня покажут по телевизору?

— Обязательно, — сказал Блан. — В прямом эфире, на всю страну. Мы одни из немногих, кто по-прежнему выходит вживую. — Он посмотрел на часы. — До эфира чуть больше шести часов. Мой совет: отдохнуть, перекусить и поберечь силы. Викторина здорово изматывает.

— Да, знаю.

Том поверить не мог в такой быстрый и благоприятный поворот судьбы. Он будет участвовать в настоящем телевизионном шоу! В памяти тут же всплыли все позорные проигрыши его предшественников. Вроде бы ужасно умные люди, а срезались на вопросах с какой-нибудь подковыркой, требовавших не знаний, а смекалки. Может, не такие они и умные, если им смекалки не хватило? Том решил, что на ерунде его точно не поймают. Он будет отвечать безупречно на каждый вопрос. Сможет то, чего не смогли другие.

— Значит, договорились? — спросил Блан.

— Да.

— Тогда приходи к семи. Встретимся здесь, и я отведу тебя на пятый этаж.

— Спасибо, — сказал Том. — Большое спасибо.

— Нет, это тебе спасибо, Том.

Одутловатое, бледное лицо Блана озарила широкая улыбка. Он нервно пригладил седые волосы своими длинными костлявыми пальцами.

— Пришел — слава богу! А то мы бы просто пропали. Идем наверх — тебя там загримируют и выдадут новую рубашку и галстук. Наш маленький подарок! Не ожидал? Привыкай: это телевидение — надо выглядеть как положено. *“Virtute”* не экономит на мелочах — мы солидное шоу. Но как же лихо ты разделался с тестом! Я до сих пор под впечатлением. — Блан взял Тома за плечи и повернул в сторону лифтов. — Сюда. Волнуешься?

— Нет.

— Напрасно. Это твой шанс. Кто знает, куда он выведет. Потом не остановишь. Может, студия звукозаписи контракт предложит, или роль в ситкоме дадут.

Они поднялись на пятый этаж и вышли из лифта. Прошли по коридору к двустворчатым

дверям, миновав чернокожего мужчину, который мыл пол. Пока тот отжимал тряпку над ведром, Том успел заметить его лицо — оно показалось знакомым. Створки дверей захлопнулись, и Том вспомнил: это был один из бывших участников викторины.

Теперь они стояли перед дверью с табличкой “Гримерная”.

— Здесь тебя подготовят, — произнес Блан, поправляя галстук. — Я пойду проверю другого участника, ты в надежных руках. Главное, не нервничай, пусть все идет как идет.

Том кивнул. Оглянулся на двустворчатые двери: захотелось вернуться в коридор поговорить с Бобом Джонсом, но Блан втолкнул в гримерную. Там его поймали две женщины, развернули и усадили в кресло перед большим зеркалом.

У одной были рыжие волосы и пухлые щеки, остального Тому не было видно.

— Расслабься, детка, — сказала она. — Мы еще ни одного больного не потеряли.

У второй вид был нездоровый — совсем худая, и щеки ввалились настолько, что, казалось, соединяются внутри рта.

— Какой у тебя размер рубашки? — спросила она.

— Большой, — сказал Том.

— Размер воротника знаешь?

Том повертел головой.

Худая поцокала языком и сказала:

— Ты крупный парень. Я бы сказала, шестнадцать с половиной.

— Дай-ка на тебя поглядеть, — сказала рыжая, ухватив Тома за подбородок, и покрутила его голову из стороны в сторону. — Бывает и хуже, — добавила она, разглаживая ему лоб большим пальцем. Потом потянулась к тележке, стоявшей рядом с креслом, и макнула кончики пальцев в коричневый крем.

— Что это? — спросил Том.

— Ты недостаточно темный, золотце, — сказала она и принялась размазывать крем по лбу и щекам Тома. — Это ж телевизор.

Он наблюдал в зеркало за тем, как его светло-коричневая кожа становится шоколадной.

— Ну вот, пожалуйста, — сказала рыжая, — совсем другое дело.

Худая вернулась с белой рубашкой. Она была так накрахмалена, что даже с помощью гримерши Том влез в нее с трудом. Воротник оказался тесноват. Том попытался застегнуть верхнюю пуговицу — безуспешно.

— Дай-ка я попробую, — сказала худая. Острые костяшки пальцев вонзились в кадык, и у Тома перехватило дыхание. Провозившись несколько минут, она все-таки сумела протолкнуть пуговицу в тугую петлю. — Вот так! — Она отступила на шаг.

Том посмотрел в зеркало и увидел другого человека. Контраст между белой рубашкой и непривычным цветом лица был настолько разительным, что обескураживал, сбивал с толку. Том чувствовал себя клоуном.

— А лицо обязательно этим мазать? — спросил он.

— Боюсь, что да, красотуля, — сказала рыжая. — Боюсь, что да. Правила есть правила. А то родные захотят тебя по телевизору посмотреть — и не узнают.

Худая повязала Тому галстук, затянув его настолько, что жесткий воротник сдавил горло еще сильнее, чем пуговица.

— Готов? — спросил Блан, заглядывая в комнату из коридора. — Слушай, отлично выглядишь, просто прекрасно. — Он обошел вокруг Тома. — Молодцы, девочки. Очень хорошо. То что надо. Том, тебя не узнать.

— Я себя тоже не узнаю.

Блан громко засмеялся.

— Слышали, девочки? Он тоже себя не узнает. Том-то у нас, оказывается, шутник. — Он перестал смеяться и положил руку на плечо Тома. — Ну, Том, пора. Пойдем играть в *“Virtute et Armis”*.

Том встал и пошел за Бланом во внутренний коридор, который привел их к другой двери. Перед дверью горела красная лампочка. Они вошли и попали в съемочный павильон викторины *“Virtute et Armis”*. У Тома перехватило дыхание. Он впервые занервничал. Ему надо выиграть. Обязательно. Но он знал, как устроена викторина. Знал, что победа от него не зависит. Нужно быть внимательным, нигде не дать маху. Он стоял в студии, словно на пороге своего будущего.

Студийные прожекторы слепили нещадно. Громоздкие камеры, как громадные гориллы, сгрудились вокруг съемочной площадки. Тому казалось, что грим плавится и течет, оставляя на лице полосы. Вот и Джек Пот собственной персоной — зачесанные назад волосы блестят так, словно в них вставлены батарейки. На нем пластиковый защитный нагрудник, и худая гримерша с ввалившимися щеками припудривает ему лоб, пока он просматривает карточки со своими репликами. На полу — большой круглый

щит с разноцветными клетками: в каждой клетке Тома подстерегает ловушка. Соперник сидит в кресле-реклайнере на другом конце студии. Красавец-блондин с точеными чертами лица. Ему делает маникюр женщина с длинными каштановыми волосами. Том заметил, что Блан и Джек Пот переговариваются. Казалось, их что-то тревожило — они поочередно качали головами. Один раз Блан показал пальцем на белого красавца в реклайнере. Тома вдруг охватило острое чувство одиночества. Он смотрел, как публика постепенно заполняет зал: все белые, светловолосые, и все смотрят на него. Океан голубых глаз.

Закончив разговор с Бланом, Джек Пот подошел к Тому.

— Джек Пот, — представился он. — Добро пожаловать на шоу. Улыбка какая-то слишком яркая, слишком безупречная — нереальная. Он пожал Тому руку. — Хочу пожелать тебе удачи. Главное, не нервничай. Уверен, что ты справишься и станешь достойным представителем своей расы.

Пот отошел, уступив место Блану.

— Теперь займи свое место, — сказал Блан. — Там есть красная метка. Если не уверен, где встать, сразу ищи ее на полу. Ты же викторину смотрел — разберешься. Слушай Джека и по-

глядывай на режиссера. Вон тот, в бейсболке. Отвечая, смотри в камеру с красным огоньком. Ну, вперед, покажи им, Том!

Том вышел на площадку и занял свое место, тщательно выровняв носки ботинок по красной метке. Свет ударил в лицо, и Том уже больше не видел зрителей, только ощущал на себе их взгляды, слышал их дыхание. Зазвучала заставка, и представили соперника Тома.

— Из Элкхарта, штат Индиана, социальный работник, который по вечерам играет блюз в местных клубах, отец двоих детей, председатель школьного родительского комитета и территориального общественного самоуправления, Хал Фалалей. — Хал Фалалей помахал телезрителям. — Из штата Миссисипи — Том Вазетепе. — Камера уставилась на Тома, а Том — на нее. — И конечно, любимый ведущий, гейммастер викторины *“Virtute et Armis”* — Джек Пот.

Джек Пот рысцой выбежал на площадку и поприветствовал публику.

— Итак, начнем, — сказал он. — Мистер Фалалей, назовите, пожалуйста, один из основных цветов.

— Зеленый, — сказал Фалалей.

Зрители в студии ахнули в один голос.

Пот от неожиданности даже закашлялся.

— Боюсь, я не смогу принять ваш ответ, — сказал он. — Том, что такое анафаза?

— Анафаза — это стадия деления ядра клетки, характеризующаяся перемещением хромосом от экватора веретена к его полюсам. Она начинается с расхождения центромер и заканчивается, когда хромосомы перестают двигаться к полюсам.

— Верно, — сказал Пот. — Делайте шаг вперед. Мистер Фалалей, какой библейский герой убил Голиафа?

— Голиафа убил Соломон.

Вся студия снова ахнула. Том посмотрел на Блана — тот сидел, закрыв лицо руками.

— Неверно, — сказал Пот. — Правильный ответ — Давид. — Он вытянул из колоды следующую карточку. — Том, назовите произведение, из которого взяты следующие строки, а затем назовите автора и расскажите нам о нем:

Плачьте о трепетных и утонченных,

Чьи босые ступни сегодня в шипах и занозах,

Чей удел – носить воду варварам,

Валить деревья по их приказу.

Том выдержал короткую паузу, заметив, что

Блан воспрял, даже улыбнулся, и сказал:

— Это строки из стихотворения “Плач об опустошении Земли Израиля”. Поэта зовут Иосиф ибн Абитур. Он родился в середине десятого века. Говорят, что именно он перевел на арабский некоторые разделы Талмуда для библиотеки халифа Аль-Хакима. В основном известен как автор литургических песнопений и молитвенных книг каталонских и североафриканских евреев.

Лицо Блана белело, как вершина Монблана.

Пот покачал головой и сказал:

— Правильно. Делайте шаг вперед.

Затем он объявил рекламную паузу, и его тут же окружили гримеры — принялись вытирать пот со лба и поправлять грим.

Быстрым широким шагом Блан подошел к Фалалею и стал его шепотом отчитывать. Том стоял всего в двух квадратах от них, но слов не слышал. Он чувствовал, что зрители начинают относиться к нему все более враждебно.

Режиссер выставил вверх пятерню и начал загибать пальцы — пять, четыре, три, два… Последним пальцем указал на Джека Пота.

— Итак, продолжим, — сказал Пот. — Мистер Фалалей, вот вам еще один шанс изменить ход игры. Назовите, пожалуйста, первого президента

Соединенных Штатов Америки.

— Томас Джефферсон.

— Неправильно, — сказал Пот, с трудом сдерживая раздражение. — Не засчитывается. Том, что такое поле многоярусного распределения?

— Это участок земли, на котором устраивают фильтрационную систему при постройке очистных сооружений на склоне холма. Он состоит из нескольких горизонтальных траншей, вырытых по склону одна ниже другой. Траншеи соединены так, чтобы сточные воды переходили с верхнего яруса на нижний только тогда, когда уровень воды в верхнем ярусе сравняется с гравийной засыпкой. — Том замолчал, но потом все-таки решил пояснить. — Таким образом, первая траншея должна быть полностью заполнена, прежде чем вода начнет поступать во вторую. Да, и еще: отпадает необходимость в распределительном блоке.

Казалось, Блан сейчас закричит. Он тревожно поглядывал на гудевший зал.

— Верно, переходите дальше, — сказал Пот.

Фалалей не знал, что гориллы относятся к приматам. Не знал, как сокращается в адресе слово “авеню”. Не знал, как называется самец курицы. Тем временем Том отвечал на все и вот-вот должен был обойти мистера Фалалея. Зал не дышал.

Блан глотал аспирин горстями. Пот так потел, что все усилия гримеров, махавших пуховиками, шли прахом.

— Том, чтобы стать победителем и получить приз в триста тысяч долларов, вам осталось ответить на последний вопрос. С чего начинается эссе Ральфа Уолдо Эмерсона[42] “Доверие к себе”.

Несколько секунд Том молчал. Студия затаилась. Красный огонек камеры резал глаза. Том сказал:

— Эссе начинается с эпиграфа: *“Ne te quaesiveris extra”*[43]. За ним следуют строки из эпилога к пьесе Бомонта и Флетчера “Судьба честного человека”:

Все люди – звезды; коль душа смогла
Поставить честность во главу угла,
Она сияет всем, и в свой черед
Судьба ей по заслугам воздает.
Поступки – ангелы и нас хранят верней
От молчаливых роковых теней.

---

[42] Примечания: 42

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель. Один из виднейших мыслителей и писателей США.

[43] Примечания: 43

Загляни внутрь себя (*лат.*)

Пот набрал воздуха и уже собирался что-то сказать, но Том его опередил:

— Затем идут еще четыре строки. Они звучат так:

Кто был рожден меж голых скал,
Толкался у сосков волчицы,
С орлами в стужу корм искал,
Тот испытаний не боится.

Пот, хоть и сказал свое “правильно”, но уже с нескрываемым разочарованием, еле слышно.

— Итак, наш новый чемпион — Том Вазетепе откуда-то из Миссисипи.

Зал встретил объявление гробовым молчанием.

11

Пора было перестать притворяться, будто этот последний отпуск что-то значит для матери. На следующее утро она снова незаметно ускользнула от нас и умудрилась потеряться на соседней улице. Лоррейн волновалась, но, похоже, ее целиком поглотило то, чего, насколько я знал, у нее прежде не было — любовная связь с мужчиной. Словно чувствуя себя виноватой за внезапно свалившееся на нее счастье, она была особенно ласкова с матерью, да и мне улыбалась чаще обычного. Мэрилин, как и следовало ожидать, все понимала и не вмешивалась. Как-то вечером, уложив мать пораньше и напичкав ее таким количеством седативных, от которого сам бы уже давно храпел, я спустился по аллее к дому Мэрилин. Дверь открыл мужчина; у него из-за плеча выглядывала Мэрилин.

— Извините, если помешал, — сказал я.

— Монк, — сказала Мэрилин, и по ее тону я понял, что помешал. — Заходи. Познакомься: это Клевон.

Клевон схватил протянутую мной руку в районе

большого пальца — я знал эту форму рукопожатия, но никогда не был к ней готов, — и сказал:

— Как оно чё, брат?

Я стал лихорадочно вспоминать, как принято отвечать на такое приветствие. Сказать “ничё”, но тогда вопрос: зачем вообще пришел? Сказать “много чё”, но тогда придется перечислять. И я сказал:

— Да так, — что вроде бы пришлось к месту, но прозвучало как-то обидно для Мэрилин. И добавил: — Заглянул по-соседски.

— Окей, — сказал Клевон и неторопливо, вразвалочку прошел к дивану, где принялся перебирать стопку компакт-дисков.

— Не знал, что у тебя гости, — сказал я Мэрилин.

— Ничего. Хочешь чего-нибудь выпить?

— Вообще-то у Лоррейн на вечер планы. Мне лучше вернуться к маме.

Произнеся “мне лучше вернуться к маме” при Клевоне, я чуть сквозь землю не провалился. Словно мне снова двенадцать, и как только уйду, он засмеется и спросит, что это за имя такое — Монк.

Мэрилин вышла со мной на крыльцо. Извинилась и тихо сказала:

— Я раньше встречалась с Клевоном.

— А теперь?

— Выясняем отношения.

— Это бывает непросто, — сказал я. — Тогда до завтра?

— Окей. — Она не подалась вперед, давая понять, что поцелуя не будет. Я понял и не стал настаивать. Спустился по ступенькам и пошел к дому, пока она меня не окликнула. — До завтра, — сказала она.

Я кивнул.

* * *

Город Колумбия в штате Мэриленд долго развивался строго по плану, пока численность населения не превысила этот план. Дальше развитие пошло стихийно, а изначальный план только всему мешал. Больница, которую (очевидно, сочувствуя родственникам) назвали восстановительным центром, находилась за чертой города. Вместо привычной синей, зеленой или белой медицинской одежды, персонал нарядили в халаты и платья с веселыми узорами. Все работники центра были неприлично молоды и в отличной спортивной форме. Улыбались без устали, склоняясь над пускающими слюни паци-

ентами или обращаясь к больным, глядевшим на них пустыми, умершими глазами. Я совсем сник, представив среди них мать, и точно знал: когда мы приедем оформляться, она будет полностью адекватна.

— На территории круглосуточно дежурит как минимум один врач, — сказала красивая блондинка в бежевом деловом костюме. — У нас семь рекреационных зон, где показывают и классические фильмы, и новинки. Еда исключительная. Настоятельно рекомендую попробовать. Вам будет трудно поверить, что она не домашнего приготовления.

— У вас есть приличная библиотека?

— Полки с книгами есть в каждой рекреационной зоне.

— А какие книги?

— Детективы. Да много всего. — Миссис Толлисон (так она представилась) уловила мое беспокойство, но не могла понять, чем оно вызвано. — Конечно, у большинства наших гостей зрение совсем слабое, и читать им бывает трудно.

В машине по дороге домой я думал о том, что заглянул в будущее, узнал, как будет выглядеть последнее жилье матери. Но также понял, что

пока не готов ее туда поместить. Мне требовалось еще одно неопровержимое подтверждение ее болезни.

* * *

Молотки, как и пилы, различны по своему назначению — есть множество разновидностей. Если большой палец вывихнут, это еще не значит, что его нет.

* * *

— Билл, кажется, я нашел место, куда можно было бы переселить мать.

Лоррейн с матерью сидели на веранде — в окне маячили их затылки.

— Думаю, это оптимальный выход, — сказал Билл.

Я мгновенно завелся. Даже если он прав, даже если он врач, даже если он сын этой женщины, его никто не просил высказывать свое мнение. Я сказал:

— Рад, что ты согласен.

После короткой, но многозначительной паузы он сказал:

— Я вышлю сколько смогу. — Спасибо, хоть

не стал расспрашивать про больницу или объяснять, что там должно быть. — Мне теперь позволили брать детей раз в месяц на выходных.

Это было вопиюще несправедливо, и все мои претензии к нему за отсутствие в жизни матери утонули в жалости.

— У них все в порядке?

— Вроде да. Единственное условие: Роб не может находиться в доме, когда они приходят.

— Ужасно.

— Ну, это Аризона.

— Может, сейчас и не стоит про это. Может, про это вообще никогда не стоит, но скажу. — Мать и Лоррейн, похоже, никуда не собирались с веранды. — У нас есть еще одна сестра. — Билл, естественно, промолчал — по нашим неписаным правилам, его очередь говорить еще не наступила. — У отца был роман, когда он служил в армии, и, похоже, у нас есть сестра.

— Тебе это мать сказала?

— Не совсем. Но она устроила так, чтобы я узнал об этом из отцовских бумаг.

— Мне сейчас не до этого, — сказал он.

— Да от тебя ничего и не требуется! Ее зовут Гретхен, но фамилии я не знаю. Мать — англичанка, была медсестрой в Корее, ее фамилии я

тоже не знаю.

— Взять и вывалить на нас такое. Очень в его духе.

Я рассмеялся.

— О чем ты? Он же до последнего дня скрывал, — возразил я, хотя и сам был в этом не уверен. — Даже велел матери сжечь все свидетельства.

— Ты себя слышишь? — сказал Билл. — Велел *матери сжечь* свидетельства. Мать и воду-то боится кипятить — вдруг загорится. — Билл был прав. Он всегда схватывал все с ходу и, в отличие от меня, мгновенно догадывался о скрытых мотивах отца. Враги всегда понимают друг друга лучше, чем друзья.

— В любом случае, это все, что известно. В письмах ничего больше нет, в коробке — тоже.

— Что-то там обязательно есть, как пить дать. Еще поройся. Только я ничего об этом знать не хочу.

На том конце трубки раздался мужской голос, обращенный к Биллу, и Билл ответил, назвав собеседника “дарлинг”. Не буду скрывать, меня слегка передернуло, и я устыдился своей реакции.

— Ладно, пойду посмотрю, как мать, — сказал я,

решив, что это будет удачным предлогом, чтобы завершить разговор. И тут же сообразил: Билл может расценить мои слова как упрек: дескать, забочусь о матери я, а не он.

Билл действительно разозлился.

— Поговорим позже. Может, приеду осенью посмотреть на больницу и прочее.

Я не стал возражать.

— Окей.

* * *

Я целый день сидел дома — от Мэрилин ни слуха. Я обманывал себя, делал вид, что на самом деле не жду, когда она позвонит или зайдет. Мать прилегла вздремнуть — теперь она это делала постоянно, будто сон стал ее главной опорой. Она действительно лучше всего соображала в первые минуты после пробуждения, а потом ее мир покрывался трещинами, в которые легко было провалиться. Помочь ей обойти трещины было невозможно: куда ноги вели, туда она и ступала.

Итак, мать спала. Я вышел во двор и постоял на причале, размышляя, не закурить ли сигару. Потом вернулся в дом и застал Лоррейн и Мейнарда за занятием, которое иначе, как “тереться деснами”, не опишешь. Я покашлял, давая о себе

знать.

Мейнард сидел за столом.

— Как твоя мама? — спросил он.

— Так себе, Мейнард.

— Все еще спит? — спросила Лоррейн.

Я кивнул и поставил на плиту чайник.

— А вы тут чем занимаетесь, молодые люди? — спросил я.

Они захихикали, и правда как молодые.

— Давай уже скажем, — сказал Мейнард.

— Мейнард, — предостерегла Лоррейн.

— Он все равно узнает.

Я посмотрел на Лоррейн, потом на Мейнарда.

— Что происходит?

— Мы женимся, — сказал Мейнард.

Ну да, все логично, но от этого не менее ошеломляюще.

— Ты шутишь.

— Никак нет, сэр, — сказал он.

Я посмотрел на Лоррейн, и меня вдруг охватила паника.

— А где вы собираетесь жить? — спросил я.

— Здесь, в моем доме, — сказал Мейнард.

— Слава богу, — сказал я.

— Что? — переспросила Лоррейн.

— То есть… конечно, само собой. Я очень рад

за тебя, Лоррейн. Честное слово. Поздравляю, Мейнард, вы нашли великолепную спутницу.

— Это я и сам знаю, — сказал старик и взял Лоррейн за руку.

— Свадьба будет большая? — спросил я. — Или скромная, камерная, в кругу семьи? — *Ни то, ни другое я не собираюсь оплачивать. Да и вряд ли приду.*

— Скромная, — сказала Лоррейн.

Мейнард посмотрел на меня своими старческими мутно-молочными глазами и сказал:

— Я бы хотел, чтобы ты был моим шафером.

— Серьезно? — *Ты в своем уме? Мы же вообще не знакомы.*

— Твоя семья столько сделала для моей Рейни, и для Лоррейн ты так много значишь. Мне очень важно, чтобы это был именно ты.

— Не лучше ли попросить кого-то из близких друзей?

— Друзья все померли, — сказал он.

Что тут скажешь? Я сказал:

— Почту за честь.

— А я бы хотела, чтобы ваша мать была моей свидетельницей, — сказала Лоррейн.

— Хорошо.

— Мы расписываемся в субботу, — сказал Мей-

нард.

— Это уже послезавтра.

— В нашем возрасте лучше не откладывать. — Мейнард рассмеялся, а за ним и Лоррейн.

Смех был искренним, теплым, красивым, и мне стало радостно за Лоррейн. Глядя на то, как они смеются, я вдруг осознал, что родители никогда не смеялись вместе так гармонично, хотя, уверен, очень любили друг друга.

— В субботу, — сказал я.

* * *

Рождественские каникулы, первый курс университета. Отец рад, что я дома, и расспрашивает о занятиях и профессорах. С тех пор как я начал читать серьезные книги, всей семье приходится страдать за ужином, слушая наши заумные разговоры. Когда мне было одиннадцать, он задавал простые вопросы, сбивал с толку и посмеивался. Когда мне было четырнадцать, он задавал каверзные вопросы, нарочно запутывал, подначивал и снова посмеивался. Когда мне исполнилось восемнадцать, он, похоже, всерьез решил, будто я способен добавить что-то к его пониманию романов и рассказов. Я говорю ему, что мы читали Джойса. Билл стонет. Казалось

бы, второй курс мединститута должен был дать ему больше общих тем для разговоров с отцом, чем мне. Лиза заканчивает Вассар и уже принята в медицинский институт, но примеряет на себя образ девочки, зацикленной на смерти.

— Мы читали “Портрет” и “Поминки”[44], — говорю я.

— Вижу, вас там уже отучили произносить названия целиком.

Мы с отцом смеемся, но остальные, уверен, считают его реплику провокацией и попыткой затеять спор.

— Ну и что ты думаешь о “Поминках по Финнегану”? — спрашивает отец. Потом поворачивается к Биллу: — Ты читал?

Билл мотает головой.

Отец закидывает в рот ломтик картошки и снова смотрит на меня.

— Итак?

— Думаю, книгу сильно переоценивают.

Отец перестает жевать.

— Во всяком случае, оценивают неправильно.

— Безапелляционность юности, — говорит отец. — Одна только игра слов делает ее выда-

[44] Примечания: 44

Произведения Джеймса Джойса “Портрет художника в юности” и “Поминки по Финнегану”.

ющейся.

— Ага, — говорю я, — она еще и многоязычна, и все такое, но все равно.

— После нее уже не можешь читать прозу, как прежде.

— Ну, “Поминки” — то вообще не читаешь, — говорю я. — Всматриваешься подолгу, но не читаешь.

— Именно! — Он смеется и отпивает вина. Слегка толкает Лизу локтем, как бы приглашая ее присоединиться к разговору.

— Ладно, — говорю я. — Вот что я написал в своей курсовой. — Смотрю на мать и на брата с сестрой — и становится не по себе, будто согласился перерезать им горло. Смотрю в горящие глаза отца. — “Несмотря на навязчивую игру с буквами и значениями слов, несмотря на обилие графических и композиционных приемов, которые в первую очередь притягивают к себе внимание, главной особенностью книги следует считать ее соответствие традиционному способу повествования. Многослойность текста создается при помощи таких знакомых средств, как метафора и символ. Разница лишь в том, что каждое слово, каждое предложение обращает внимание не на смысл, а на сам прием. Таким

образом роман подтверждает то, что вроде бы пытается опровергнуть. Он экспериментален и традиционен в квадрате, поскольку вся его экспериментальность держится на фундаменте традиции”.

Отец долго всматривается в меня. Потом переводит взгляд на своих старших детей и кладет вилку на тарелку.

— Надеюсь, перед сном вы поцелуете брата.

Встает и выходит из-за стола.

* * *

Конечно, брату с сестрой приходилось несладко, но мне было еще хуже. Я мучился тем, что отец меня превозносит, — слишком уж ясно понимал, насколько он ошибается. В восемнадцать я отдавал себе отчет, что мне восемнадцать и что во мне нет ничего особенного, а если чем и выделяюсь среди сверстников, так это как раз пониманием собственной заурядности. Идеи свои я считал сырыми и гадкими, а себя — за неимением лучшего слова — неуклюжим ботаном. Кстати, брат — на тот момент второкурсник мединститута — повел себя по-детски и, проходя мимо моей комнаты, презрительно бросил:

— Ботан.

— Я не виноват, — сказал я.

Это услышала Лиза, как раз поднимавшаяся по лестнице. Она взглянула на меня почти с сочувствием, пожала плечами и ушла к себе. Дверь закрыла чуть громче, чем обычно, — и этим, по сути, тоже дала мне пощечину.

Но ведь каково было им! Тогда (да и потом) оба они добились куда большего. Я еще ничего не сделал и не находил рационального объяснения тому, почему отец выбрал в любимчики именно меня. Такой мне выпал жребий, хотя я его даже не тянул.

* * *

Номера 23, 24

* * *

уайльд: *Боюсь за авторский голос.*

джойс: *Что вы имеете в виду?*

уайльд: *Изменения в литературе. Скоро авторский голос совсем исчезнет, и что нам останется?*

джойс: *Страницы.*

уайльд: *А сюжет?*

джойс: *А что такое сюжет, как не предвосхи-*

щение последней страницы?

уайльд: *Вам когда-нибудь доводилось ходить в грозу с длинной металлической трубой?*

джойс: *Нет.*

уайльд: *А вот попробуйте.*

джойс: *Вы сердитесь?*

уайльд: *Нет, всего лишь предвосхищаю последнюю страницу.*

* * *

Мэрилин еще никогда не казалась мне такой красивой. Мы сидели у нее на кухне. Клевона, судя по всему, не было. Мэрилин налила кофе.

— Посмотрел вчера на дом престарелых для мамы.

— И как?

— Нормально. Чисто. Аккуратно. Приветливо. Что можно сказать о месте, куда люди отправляются умирать?

— Прости, что вчера не позвонила.

— Я понял, что занята, — сказал я.

— С Клевоном мы теперь расстались официально.

Новость меня обрадовала, но я не был уверен, стоит ли это демонстрировать.

После короткой паузы Мэрилин сказала:

— Но должна сказать: мы в ту ночь переспали.

Почему вдруг должна? Кому? Мне точно не должна — я бы предпочел остаться в неведении. Чего не знаешь — то не волнует, а теперь меня это волновало. Волновало, что он для нее значит и что для нее значу я; волновало, кто из них был сверху; волновало успела ли она кончить (один раз или несколько?); волновал размер его члена; волновал размер моего; волновало, зачем она мне это сказала. Я принялся изучать старый кухонный стол — столешница из белой сосны, планки узкие, покоробленные, рамка со скошенными углами, похоже, из клена, — странное сочетание. Я провел пальцами по закругленной кромке.

— Всякое бывает, — сказал я.

— Я поняла, что он для меня ничего не значит.

Я кивнул.

— Хорошо, что ты это поняла. — (*Хотя поздновато.)*

Она встала со стула, подошла ко мне, наклонилась и поцеловала в губы. Потянула за руки, подняла, повела в спальню и там снова поцеловала. Мы повалились на кровать и принялись перекатываться и тереться друг о друга, возбуждаясь, но, увы, почти ничего не чувствуя. Я понимал, что мною движет не столько желание,

сколько новизна. Целуя ее шею, солоноватую на вкус, я бросил взгляд на прикроватный столик и увидел там экземпляр “А жывём мы в гетто” Хуаниты Мэй Дженкинс. Я замер.

— Что с тобой, бэби? — спросила Мэрилин. Мне понравилось, как это прозвучало, особенно “бэби”, но вид книги трубил отбой.

— Ты прочитала? — спросил я.

Она запрокинула голову, чтобы посмотреть.

— Ах, это! Да, только закончила. Довольно хорошая книжка.

— Что в ней хорошего? — Я скатился с нее и вытянулся рядом.

Она явно не понимала, почему мы вообще об этом заговорили.

— Что-то не так? Скажи прямо. Не надо было говорить про Клевона.

— Что тебе понравилось в этой книге?

— Не знаю. Наверное, история. Ничего выдающегося, но прочла с удовольствием.

— И тебя ничто не покоробило?

Секунды две она просто всматривалась в меня, потом сказала с вызовом:

— Нет.

— Ты знаешь хоть кого-то, кто бы говорил так, как в книге? — Вопрос прозвучал резко. Я этого

не хотел, но понимал: назад не отыграешь.

— Что с тобой?

— Сначала ответь.

— Нет. И что? Я на этом вообще не зацикливалась. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь.

— Извини, — сказал я. Мне самому не нравился мой атакующий тон. — Просто я считаю эту книгу набором идиотских, тупейших штампов и не понимаю, как умный человек может относиться к ней всерьез.

Хороши извинения! Мэрилин притянула к груди подушку и положила на нее подбородок.

— Тебе лучше уйти.

— Прости, — сказал я.

— Уходи.

Пока шел от спальни до входной двери, слышал, как она плачет. Но сказать было нечего.

12

Ночь и утро Лоррейн провела у Мейнарда, готовясь к свадьбе, и я остался с матерью один на один. Я и не представлял, до какой степени зависел от чужой помощи, и понял, что реальность не церемонится и не щадит, вставая перед тобой во весь рост. У матери было особенно тяжелое утро. Она помнила, кто я и кто она, и что сегодня мы идем на свадьбу, но забыла, как одеваться. Одевал ее я. Ей было все равно, что я мужчина, и я помог ей с бюстгальтером, комбинацией и чулками. Возникло чувство, будто попал в сюрреалистический итальянский фильм с плохим дубляжом, но, увы, все было до обидного реально.

— Мне этот бюстгальтер врезается, — сказала мать. — Другой найди.

Видимо, так она разговаривала с Лоррейн. Я принес другой и помог его надеть, уложив ее обвислые груди в чашечки.

— Этот лучше. — Она посмотрела по сторонам. — Мои туфли. Черные, на ремешках. И жемчуг. В две нити.

— Черных туфель не вижу, — сказал я, порыв-

шись в шкафу.

— Они там, Лоррейн. Посмотри получше.

— По-моему, ты их не взяла, мама.

— Они прямо перед тобой, — застыдила она. В чулках она подошла к шкафу, опустилась на одно колено и взяла в руки бордовые туфли-лодочки. — Вот же.

— Ты хорошо выглядишь, мама, — сказал я, стоя у нее за спиной, пока она смотрелась в зеркало.

* * *

Отец вернулся с какого-то ужина, и мне не терпелось узнать подробности. Войдя, он поцеловал мать и поднялся к себе в кабинет. Я пошел следом и плюхнулся на кожаный диван напротив его стола.

— Как поужинали? — спросил он.

— Стандартно, — сказал я, пользуясь его любимым словечком. — Лоррейн опять пересолила овощи. Всё как обычно.

Отец засмеялся.

— А ты как поужинал? — спросил я.

— Очень хорошо. Хотя, боюсь, изжоги не избежать. — Он сел за стол и начал просматривать почту. — У нас были устрицы и лимонный пирог на десерт.

— Я люблю устрицы.

— Я знаю. Может, в конце недели все вместе сходим в “Криссфилдс”.

— Лиза будет рада, — сказал я. — А с кем ты ужинал? О чем говорили?

Прежде чем ответить, он пару секунд на меня смотрел.

— Да так. Старые друзья собрались. Некоторых я годами не видел. Все теперь седые. Вспоминали о временах, когда никто седым не был. Что делали, над чем смеялись. — Он умолк. — Разговор мертвых, Монк.

Я смотрел на него и молчал.

Он вгляделся в мое лицо — лицо десятилетнего мальчика — и улыбнулся:

— Не бойся, это я просто хочу выглядеть мудрым не по годам. — Распечатал очередное письмо, просмотрел и бросил в мусорную корзину. — Но вообще лучше не доживать до глубокой старости. Долгая жизнь не делает тебя лучше. Нельзя, чтобы жизнь превращалась в привычку. — Это он сказал уже скорее себе, чем мне. — Завтра вечером. Завтра вечером пойдем и купим тебе устриц.

* * *

Нам говорят, что не следует понимать субъект высказывания как тождественный автору — *ни содержательно, ни функционально*[45]. Как сказали бы мои друзья-литературоведы, это одна из особенностей функции высказывания. Коробка с отцовскими письмами была высказыванием, не дававшим мне покоя. Пыталась ли мать посредством этой коробки поведать мне что-то об отце? Или, как предположил братец Билл, все на порядок сложнее, и коробка — это высказывание отца, который знал, что мать не сможет ее сжечь и рано или поздно передаст мне? Пока мать собиралась на свадьбу Лоррейн, я снова и снова перебирал в уме содержимое коробки в надежде разгадать, зачем она все-таки ко мне попала и по чьей воле. Зная отца, можно было предположить, что он просто хотел преподать мне некий житейский урок и вовсе не ждал, что я немедленно брошусь искать пропавшую единокровную сестру. Я ведь знал, как быстро лопалось его терпение, когда речь заходила о том, что он называл “банальной,

[45] Примечания: 45

Здесь практически дословно цитируется работа Мишеля Фуко “Археология знания”.

пошлой и наивной преданностью примитивному кровному родству”.

* * *

— Ну и что ты думаешь об этом замужестве? — спросил я, пока мы с матерью шли к машине.

— Слишком уж внезапно.

— Лоррейн выглядит счастливой.

— Это по наивности. Что она вообще знает об отношениях? У нее их никогда не было. И этот мальчик…

— Ему почти семьдесят, мама.

— Да? А выглядит молодо. Не знаю, Монкси, может, оно и к лучшему. Рано или поздно меня не станет, и кто тогда позаботится о Лоррейн?

— Пожалуйста, не начинай, — сказал я, закрывая ее дверцу.

Я вставлял ключ в зажигание. До дома Мейнарда было меньше четверти мили — сразу на выезде из поселка, — но мы ехали туда на машине. Вдруг мать сказала:

— По-моему, они спят друг с другом.

Я промолчал.

— Что ты думаешь?

— Думаю, это их дело.

— Пффффф.

* * *

витгенштейн[46]: *Почему Бах вынужден был взяться за фуги?*

деррида[47]: *Не знаю. Почему?*

витгенштейн: *Потому что он все профугал.*

деррида: *Ты хочешь сказать, что он находился в стесненном финансовом положении?*

витгенштейн: *Вовсе нет. Просто каламбур.*

деррида: *А, понятно.*

* * *

Когда мы подъехали к дому Мейнарда, Лоррейн стояла во дворе и громко ругалась со своим будущим мужем, который стоял на крыльце. “Как ты смеешь называть меня старой, ископаемое!” — кричала она.

Все в этой жизни непросто. Но особенно —

---

[46] Примечания: 46

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийско-британский философ, работавший в основном в области логики, философии математики, философии разума и философии языка. Считается одним из величайших философов XX века.

[47] Примечания: 47

Жак Деррида (1930–2004) — французский философ, создатель концепции деконструкции. Один из самых влиятельных философов конца XX века.

иметь дело с собственными сомнительными намерениями, даже если ты не до конца их осознаешь и ничего для их осуществления не предпринял. Внезапно меня накрыло чувство вины: я подумал, что в каком-то смысле события строго следуют плану, который я подспудно вынашивал, — выдать Лоррейн замуж, потом избавиться от матери, поместив ее в дом престарелых, и вернуться к привычной жизни. Да, я действительно хотел выдать Лоррейн замуж, чтобы впоследствии мне не пришлось за ней ухаживать. Но у меня не было желания избавляться от матери. Это я выдумал. То есть на каком-то уровне, учитывая ее состояние, я очень хотел поместить ее в дом престарелых — так было бы лучше для нас обоих. Но не “избавиться”. Избавляются от того, что нежелательно. Избавляются от бремени. Избавляются навсегда. Это и не давало покоя: получалось, что, помещая мать в богадельню, я от нее избавлялся.

Мать осталась сидеть в машине, а я подошел к Лоррейн и задал глупый, но уместный вопрос:

— Что-то случилось?

— Случилось, — выкрикнула она. — Этот старый тюфяк сказал, что я старая.

— Я этого не говорил, — спокойно возразил

Мейнард. Он стоял, прислонившись спиной к опоре крыльца. — Я только предложил, чтобы едой занялись мои племянницы, — тебе нужно отдохнуть.

— Вот опять он это сказал, — воскликнула Лоррейн.

— Что сказал? — спросил я.

— Что я старая.

— Нет, он сказал, что его племянницы моложе, — объяснил я.

— Он сказал, что я старая! — выкрикнула она.

— Черт возьми, Лоррейн, но ты ведь правда старая, — сказал я.

Выражение лица Лоррейн мне описать не под силу, и это вполне его описывает.

— Постойте, — сказал Мейнард, подходя к Лоррейн. — Кто вам дал право говорить такое моей невесте? Кто вы вообще такой? — Он обнял ее. А Лоррейн — его.

Мать наконец выбралась из машины.

— Если Лоррейн старая, то что говорить обо мне? — спросила она.

Я посмотрел на всех по очереди и задержал взгляд на Мейнарде.

— Где пастор?

— Все уже в сборе, — сказал он.

— Ну так идем! — бодро сказал я. — Сыграем вам свадьбу.

* * *

д. у. гриффит[48]: *Мне очень нравится ваша книга.*

ричард райт[49]: *Спасибо.*

* * *

Где-то в Голливуде Уэйли Моргенстайн курил сигару, размышляя, есть ли у “Моего извращения” коммерческий потенциал. Он сидел у бассейна рядом с крупным мужчиной из Нью-Джерси. Тридцать лет назад оба учились в окружном двухгодичном колледже округа Пассейик.

Уэйли улыбнулся и заново раскурил сигару.

— Народ теперь снова ходит в кино. Жаждет зрелищ — и я их ему предоставлю.

— Как насчет партии в шаффлборд?

---

[48] Примечания: 48

Дэвид Уорк Гриффит (1875–1948) — американский кинорежиссер, актер и сценарист, продюсер. С его творчества часто отсчитывают историю кино как особого вида искусства.

[49] Примечания: 49

Ричард Райт (1908–1960) — один из самых значительных афроамериканских писателей США, автор романа “Сын Америки”, отсылками на который полнится эта книга.

— Книга, кстати, отличная. Сразу выведет меня в дамки.

— Кто эта блондинка в джакузи?

— Хочу встретиться с автором. Узнать, что за рука это накатала. Ты понимаешь?

— Пойду познакомлюсь.

* * *

Стоило войти в дом, как сразу стало понятно: радостное событие, ради которого все собрались, ни у кого особой радости не вызывало. Люди, чья внешность выдавала в них родственников Мейнарда, стояли с постными лицами, на которых было ясно написано: “Зачем, интересно, этой старой деве понадобился наш бедный Мейнард? Ради его скромных сбережений?” Но все же они старались изобразить приветливость — попытка, достойная уважения, несмотря на лицемерие. Их было шестеро: дочь с мужем, три племянницы и невестка. Полный стол еды и работающий телевизор, по которому шла трансляция бейсбольного матча. Зять словно прирос к экрану. Я поинтересовался у него, кто играет, и он сказал, что не знает. Стало понятно, что телевизор был для него лишь способом телепортироваться из окружающей действительности. Я сел рядом и

стал наблюдать за матерью. Она вела светскую беседу и, похоже, не испытывала дискомфорта.

— Не поженятся они, — сказал зять.

Я посмотрел на него.

— Не будет свадьбы.

— Почему ты думаешь?

Он указал пальцем на другой конец комнаты.

— Видишь ее? Жена моя. Дочь Мейнарда. Ненавидит Лоррейн. Всю плешь мне ночью своей ненавистью проела.

Я стал наблюдать за дочерью, за тем, как она исподтишка косится на Лоррейн.

— Меня Леон зовут.

— Я Монк. — Мы пожали друг другу руки.

— Ты кем ей приходишься?

— Она у нас работает.

Он посмотрел на меня.

— Домработница.

— Горничная?

— Практически член семьи, — сказал я, стараясь спасти положение. — Она много лет с нами, всю мою жизнь.

— Она *с вами*, — сказал он, слегка (не так уж и слегка) передразнивая. — Вы богатые, что ли?

— Нет, мы не богатые.

— Я помощник электрика. А ты кто?

— Я писатель. — Выражение лица у Леона стало отсутствующим. — Преподаю в университете. В этом году в академическом отпуске.

— Отдыхаешь. И тебе за это платят?

— Если бы.

— То есть не работаешь — и в порядке. А говоришь, не богатый. Сколько у вас слуг?

— Только Лоррейн.

Леон усмехнулся и уставился в телевизор.

— Ну, и какой свадебный подарок ты приготовил своей служанке?

Этот странный и бестактный вопрос заставил меня задуматься. Что бы мне подарить Лоррейн? В долгу ли я перед ней? В долгу ли моя семья? Откладывала ли она на пенсию? Платила ли налоги?

— Раз уж ты спросил, — сказал я Леону, — я дарю невесте десять тысяч долларов.

Леон посмотрел на меня, потом на экран, потом опять на меня. Встал и пошел на другой конец комнаты к жене, которой, несомненно, рассказал о моем подарке. Жена рассказала племянницам и невестке, судя по виду уже изрядно подвыпившей, и все как-то заметно оживились и расслабились. У меня остался неприятный осадок, но не потому, что семья, в которую уходила

от нас Лоррейн, оказалась такой корыстной, и не потому, что не подумал о подарке заранее, — я искренне не понимал, как можно так радоваться каким-то десяти тысячам. Я почувствовал себя тем, кем всю жизнь стремился не быть, — нелов-ким, всюду чужим (как бы ошибочно ни было это восприятие). Взглянув на экран, я увидел, как отбитый бэттером мяч вылетает далеко за ограждение с левой стороны поля. Будь я этим бэттером, Леон наверняка отнесся бы намного спокойнее к тому, что у меня есть деньги, хотя тогда не только по его, а по любым меркам я действительно был бы баснословно богат. Моя вечная проблема: я нигде не был “своим”, хотя мне так всю жизнь этого хотелось. Кто напишет *bourgeois*[50] без ошибки?

Мать стояла у большого окна и подняла свой бокал. Все последовали ее примеру. Но я увидел, что глаза матери затянула уже знакомая мне устрашающая пелена. Я встал и пошел к ней. Она посмотрела на меня пустыми глазницами и зашипела.

---

[50] Примечания: 50
Буржуа *(фр.)*

* * *

Мой дед был очень умным, но остроумием не блистал. Он это прекрасно понимал и запомнился фразой, смешнее которой в нашей семье никто не произносил. Он сказал: “Раз я говорю, что у меня есть чувство юмора, значит, оно у меня действительно есть”. Мне было десять, когда он это сказал, но уже тогда меня восхитила эта многоуровневая логическая ловушка. Помню, отец чуть по полу от смеха не катался. Дед был не таким строгим, как отец, и относился к Биллу гораздо мягче. Билл был просто убит, когда спустя месяц деда не стало. Ему было уже порядочно далеко за восемьдесят.

Отец был необычно ласков в тот день, особенно с братом. Он усадил нас у себя в кабинете, подсел к Биллу на диван и положил руку ему на колено. Думаю, Билл с Лизой догадывались, зачем он нас собрал, а я — нет. Я не сводил глаз с отца. “Дети, ушел из жизни ваш дед”, — сказал он.

Помню, что я мысленно уцепился за выражение “ушел из жизни”. Представил, как дед куда-то уходит. Лиза заплакала. Лицо Билла стало отсутствующим, пустым; он привалился к отцу, уткнувшись лбом ему в плечо. Больше никогда в

их отношениях не возникало подобной близости — без преград, без напряжения. Я не плакал, был еще слишком мал, но понял, что дедушка умер.

В тот вечер за ужином Лоррейн задержалась в столовой и спросила, не хочет ли отец, чтобы она прочитала молитву.

— Еще не хватало, — сказал он. Когда Лоррейн вышла, он посмотрел на мать и на нас. — Папа любил эти строки: “И там вдали рыбак, с огнем / И с острогой, меж слитых сном / И низких влажных скал, идет / И, рыбу пламенем из вод / Воззвав к молитвенной мечте, / Ее сражает в высоте. / Как те блаженны, в ком восторг / Всю память прошлого исторг, / Все сожаления убил, / В ком больше нет ни дум, ни сил, / Чья жизнь — уже дотлевший свет, / Но в ком раскаяния — нет!”[51]

Отец перевел взгляд на дверь, за которой скрылась Лоррейн.

— Я бы не хотел, чтобы горе толкало вас к нелепой вере в какого-то бога. Мы не из тех, кому надо обязательно верить, будто отец отправился в светлый мир. Он часто говорил мне, что не боится тьмы. И я не боюсь. И вы не бойтесь. — Его взгляд остановился на мне.

---

[51] Примечания: 51

Финальные строки из стихотворения Перси Биши Шелли “Строки, написанные у залива Леричи” (*перевод К. Бальмонта*).

Не знаю, почему именно в тот момент ему понадобилось высказать свои атеистические взгляды. Может, почувствовал, что почва зашаталась под ногами. Или был раздражен. Или просто решил поделиться тем немногим, что знал о жизни и смерти.

Мать, слишком красноречиво молчавшая с момента, как мы сели за стол, откашлялась и сказала:

— Не переводи стрелки на себя.

На что отец ответил:

— Ты права.

И мы стали есть.

* * *

Мать как с цепи сорвалась.

— Кто все эти люди? — выкрикнула она. — Лоррейн, бесстыжая девка, да как ты посмела впустить в дом этих… этих хулиганов?

— Пойдем, мама, — сказал я, пытаясь увести ее в сторону. — Она больна, — шепнул я Мейнарду и остальным.

— Не зря я никогда не доверяла этой девчонке. Только бы денег нахапать.

— Вот, я же говорила, — сказала дочь Мейнарда остальным.

— Как ты смеешь! — сказала Лоррейн дочери Мейнарда. — Курица!

— Я бы попросил, — сказал Леон. — Эта “курица” — моя жена.

— Они все бандиты, — сказала мать. Она вывернулась из моих рук и взобралась на низкий табурет. — Ну-ка все вон из моего дома!

— Ее дом? — сказала одна из племянниц.

— Извините, — сказал я.

Лоррейн заплакала. Хорошо хоть Мейнард бросился ее утешать. Я еще раз извинился, но, когда повернулся к матери, чтобы ее забрать, она засеменила по ковру и юркнула в ванную. Щелкнул замок. Не просто громко, а оглушительно.

Я постучал.

— Мама?

— Кто там?

— Это я, Монкси.

Тишина. Я постучал еще раз.

— Мама!

Тут появился пастор, распахнул дверь и сказал:

— Ну что, начнем наше торжество?

— Мама!

— Я же говорила: голддиггерша.

— Замолчи, ведьма!

— Эта “ведьма” — моя жена.

— Все, пожалуйста, успокойтесь, — сказал Мейнард.

Я услышал, как мать шарит по шкафчикам, и по-настоящему испугался. Навалился плечом на дверь — она поддалась. Мать стояла с наполовину спущенными колготками и, увидев меня, завизжала. Я кое-как натянул на нее одежду, взял на руки и вынес на улицу. Все это время она кричала. У машины начала приходить в себя.

— Мы опоздали? — спросила она.

— Вообще-то все уже кончилось. Хорошо отпраздновали, — сказал я.

* * *

В итоге Лоррейн и Мейнард все-таки поженились. Вечером того дня по дороге на медовый месяц в Атлантик-сити Лоррейн заехала забрать вещи и ни слова не сказала матери. Со мной тоже не разговаривала, только бросила:

— Вот она, благодарность.

Я протянул ей конверт и сказал:

— Прости, Лоррейн. Надеюсь, это поможет.

Мейнард удостоил меня слабой, понимающей улыбкой.

* * *

Я позвонил Биллу и сказал, что с завтрашнего дня мать будет находиться в доме престарелых. Он сказал, что прилетит. Я сказал, что не стоит, нет необходимости. Он сказал, что все равно прилетит.

— Лучше не надо, — сказал я. — Мне и так нелегко. — В трубке слышалась музыка. Кажется, пластинка Нины Симон. — Все устроено. Я ее отвезу и побуду до конца дня.

— Потом будем навещать ее вместе.

13

Порой вода настолько прозрачна, что форель подплывает к мушке, прекрасно видя ваш силуэт сквозь воду и воздух, и начинает ее изучать: как связана, сколько клея на головке, какая приманка — жесткая или мягкая, какой даббинг — натуральный или синтетический. Потыкается носом и уплывет. А бывает, заглотнет мушку, не обращая внимания ни на торчащую нитку там, где закреплен хвостик, ни на закрутившийся поводок. Форель, укрывшаяся за камнем в бурной стремнине, иногда бросается на нимфу, проведенную глубоко по перекату, а иногда нет. Форель может здорово потрепать вам нервы, но у нее нет такой цели — она не принимает вас в расчет. У форели много общего с истиной: она делает то, что хочет, то, что должна.

* * *

Всю ночь я провел возле матери, глядя то на нее, то в книгу у себя на коленях, и к утру был совершенно разбитым. Щипало глаза; от сидения на круглом деревянном стуле затекли и онемели

бедра. Хотя мать как будто и вернулась в норму после того, что выкинула на свадьбе Лоррейн, впечатление могло быть обманчивым. Я ужасно боялся проснуться и обнаружить пустую кровать, а потом и ее бездыханное тело — в пруду или у подножия лестницы. Казалось, выбора не осталось: ей необходим постоянный присмотр. Тревога за мать торчала в сердце занозой, и мне хотелось как можно скорее эту занозу вытащить.

Когда мать проснулась, она пристально всмотрелась в меня и сказала:

— Доброе утро, Монкси.

— Доброе утро, мама. Как ты спала?

— Кажется, хорошо. Только сны какие-то неприятные. — Она села и разгладила простыню и легкое одеяло, которым была укрыта. — Не помню о чем.

— Я тоже никогда не помню своих снов.

— Ты же не сидел здесь всю ночь?

— Нет, мама. — Соврав, я подумал, что мне теперь ни помыться нормально нельзя, ни одеться. Без Лоррейн за ней некому присмотреть. — Если подождешь, я принесу чаю.

— Отлично, милый.

Я вышел из спальни, и она стала напевать. Шопена вроде бы. Может быть, полонез, точно

не скажу. У себя в комнате я наскоро сполоснул лицо над раковиной и натянул чистые носки и рубашку. Вернулся к ее двери, прислушался. Продолжая напевать, она листала журнал. Я побежал на кухню, поставил воду и сел за стол перевести дух. Очевидно, я незаметно задремал. Очнулся, как от толчка: мать снимала с конфорки свистящий чайник.

— Ты устал, — сказала она.

Я смотрел, как она льет кипяток в заварочный чайник и опускает туда приготовленный мной шарик с чаем. Потом она поставила на стол чашки, блюдца и заварочный чайник посередине.

— Хорошо, правда? — сказала она.

— Да, мама.

— Просто сидишь и ждешь, пока чай настаивается. Всегда любила эти минуты. — Она посмотрела мимо меня на веранду с москитной сеткой. — Где Лоррейн?

— Лоррейн вчера вышла замуж.

— Ах да. — Она словно опомнилась и вдруг погрустнела.

— Будешь скучать по ней? — спросил я.

Она посмотрела на меня так, будто не расслышала.

— Ты ведь сейчас про Лоррейн думала, да? —

спросил я.

— Конечно. Дай ей бог счастья. — Мать разлила чай.

— Я бы хотел, чтобы ты сегодня собрала сумку, — сказал я.

— Зачем? — Она держала чашку в ладонях, грея руки.

— Мне нужно кое-куда тебя отвезти. Это такое место, вроде больницы.

— Я себя нормально чувствую.

— Я знаю, мама. Но хочу убедиться. Хочу быть совершенно уверен, что с тобой все в порядке.

— Со мной все в порядке. Если что, твой отец даст мне какую-нибудь таблетку. — Она отпила чай и уставилась в чашку.

— Отец умер, мама.

— Да, я знаю. Сегодня утром за моим окном сидел кардинал. Самочка. Очень красивая. Самочки не такие яркие, как самцы — их окрас намного нежнее.

— Согласен.

Мать посмотрела мне в глаза.

— Должно быть, я что-то пролила на постель прошлой ночью.

— Я уберу.

— Мне взять небольшую сумку?

Я кивнул:
— Небольшой вполне хватит.

* * *

Чувствовалось, что листьям уже не терпится пожелтеть. Но дни стояли теплые. Я уговорил маму вместе пройтись до пляжа. Утро было ясное, редкие облачка плыли над заливом, точно присматриваясь друг к другу. Мать сумела одеться сама, только свитер напялила наизнанку. Это с каждым бывает, но тут стало еще одним подтверждением того, что ей необходим уход. Прибираясь утром в ее комнате, я обнаружил испачканное нижнее белье, которое она пыталась спрятать.

На ней были брюки цвета хаки и кроссовки, и я видел, что она старается идти бодрым шагом.

— Когда ты был маленьким, вода была не такая грязная, — сказала она. — Ты прыгал с кормы и плавал, как рыба. Под лодку подныривал — и у меня сердце каждый раз замирало.

— Прости. Я не хотел тебя волновать.

— Да, я знаю. Ты был совсем кроха. На самом деле, мне нравилось смотреть, как вы с Биллом и Лизой резвитесь. — Мы вышли на пирс, и она остановилась посмотреть на потемневшие от

времени доски. — Не могу поверить, что Лизы больше нет.

Я обнял ее за плечи.

— И я не могу. Лиза была особенная. Она тебя очень любила, мама.

— Я знаю. Я ее тоже любила.

— Лиза это знала.

Она погладила меня по руке.

— Почему ты не женат, Монкси?

— Видимо, не нашел ту, с которой захотел бы прожить всю жизнь.

— Да, это самое важное — найти себе спутницу. Но жизнь такая короткая. — Она помолчала. — Мне бы хотелось чаще видеться с внуками. Тяжело, когда они так далеко.

— Я знаю.

— Вы с Биллом разговариваете?

— Иногда.

— А я и не помню, когда мы в последний раз говорили. Бедный Билл. У него с твоим отцом были сложные отношения. Так обидно.

— Не то слово.

— По-моему, Бен слишком много от него требовал.

— Думаю, ты права.

— А вот ты… Твой отец души в тебе не чаял.

Гордился тобой, всем про тебя рассказывал. Ты знал это? Да-да. Он тебя выделял.

— Пожалуй, знал. Лиза всегда так думала. Да и Билл тоже. Но если честно, я больше ценил твое беспристрастие, чем его внимание.

— Ну, конечно, — улыбнулась она. — Не зря он тебя выделял.

— Спасибо, мама.

Разговор подрывал мою решимость. Мать мыслила абсолютно ясно, говорила здравые вещи, была собой.

* * *

поллок[52]: *Прошу вас.*
мур[53]: *После вас.*
поллок: *Нет уж, давайте вы первый.*
мур: *Нет, вы.*
поллок: *Нет, вы.*
мур: *Ну, хорошо.*

---

[52] Примечания: 52

Джексон Поллок (1912–1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма.

[53] Примечания: 53

Генри Мур (1898–1986) — британский художник и скульптор.

* * *

Так мы стояли с матерью, и ветер с залива задувал мне под рубашку, пробирал до озноба. Я старался представить подступающее к матери одиночество — как она просыпается в чужой постели, видит незнакомые лица, ест непривычную еду, — но вместо этого думал о собственном одиночестве. Я позволял себе слишком долго не отвечать на письма друзей и считал, что они вычеркнули меня из жизни. Мне стало стыдно за свой эгоизм, за эту сосредоточенность на себе, даже когда все мысли должны были быть о будущем матери.

— Пойдем? — спросила она.

— Мама, я хочу объяснить тебе, что происходит.

— Да, милый?

Я обнял ее покрепче и, пока говорил, смотрел на воду.

— Твоя болезнь быстро прогрессирует. Врач об этом предупреждал. — Я собрался с духом. — Помнишь, как ты стояла в лодке посреди пруда?

Мать засмеялась.

— Что?

Она явно не поняла, о чем я.

— Ты уплыла в лодке на середину пруда, и мне пришлось добираться до тебя вплавь. — Смех сменился напряженным молчанием. — Ты не пустила Лоррейн в дом и вошла ко мне в кабинет с отцовским пистолетом. Ты закрылась в ванной на свадьбе Лоррейн. Мама, я боюсь, что ты уйдешь и заблудишься или причинишь себе вред. С сегодняшнего дня ты будешь жить в другом месте.

Она потянула вниз край свитера.

— Пришло мое время?

— Боюсь, что да.

— Я знаю, что ты все сделаешь, как надо, Монк.

* * *

На моей первой циркулярной пиле стоял пластиковый защитный кожух. Я честно опускал его каждый раз, когда распиливал доски: радовался, если пила шла легко, и ругался, если из-за щитка приходилось выключать станок или вытягивать из него наполовину распиленную доску. Высокий вибрирующий звук лезвия меня и правда пугал. Я же и видел, и слышал, на что способен этот диск, а иной раз и запах напоминал о его разрушительной силе — стоило доске чуть дольше задержаться на лезвии, как тянуло горелым. Потом я стал снимать кожух, работая с широки-

ми досками, а после прикручивал его обратно. Потом начал прикручивать его через раз, потом еще реже, пока однажды уже не вспомнил, куда его сунул. С тех пор я распускал доски, не думая о том, что могу потерять палец, или что диск сорвется и раскроит мне череп. Я полюбил и запах горелой древесины, и визг пилы, и вид первой зарубки, которую лезвие оставляет на нижней кромке доски.

* * *

И вот мы с матерью прибыли туда, где ей теперь предстояло жить. Пока шло оформление, она демонстрировала такую ясность ума, что я уже был готов увезти ее обратно на залив. Но сотрудницу центра, которая вела прием, это не смутило — она продолжала задавать вопросы и заполнять бланки. Мы прошли в комнату матери — по сути квартиру, только без кухни. Мать провела рукой по казенной мебели и слегка поморщилась.

— Хочешь, я привезу сюда что-нибудь из дома? — спросил я.

— Было бы неплохо. Ты сам реши.

Мы вышли во двор, и там мне стало совсем тоскливо. Пожилая женщина в кресле-каталке смотрела на меня умоляюще, словно просила

заговорить, сказать, что я ее знаю, сказать хоть что-нибудь. Кругом были одни старики, все чего-то ждали. Некоторые выглядели бодро. В основном женщины. Во дворе солнце пригревало сильнее, и ровный зеленый газон, простиравшийся до кованой ограды, как бы отменял предвестие осени, почудившееся мне утром. Я обернулся к матери и увидел, что она бредет к ограде.

— Мама! — я поспешил за ней. — Мама! — Догнал и развернул.

Лицо отсутствующее, чужое. В сознании вместо меня — пробел. Она позволила отвести себя обратно в комнату. Сопровождавшая нас молодая сестричка держалась на расстоянии, но, видимо, понимала, что происходит. Она помогла мне уложить мать и выпроводила из комнаты, сказав, что побудет с ней. Уходя, я обратил внимание на мебель: всюду, где можно, она была мягкая, а где нельзя — с закругленными краями. Ничего я из дома не повезу.

* * *

Мы с Биллом пришли на Восточный рынок и бродим по рядам с рыбой. Билл в средней школе, я еще в начальной, но стараюсь сойти за его ровесника. Отец отправил нас за луфарем — его сезон

подходил к концу. Вот-вот начнется учебный год, и мы наслаждаемся последними днями летних каникул. Билл останавливается поболтать с приятелем, который стоит за прилавком с крабами, а я разглядываю рыбу. По проходу к нам шагают двое парней из школы Билла в куртках с эмблемой их школьной команды. Идут вразвалочку, издавая гортанные, почти звериные звуки, будто объявляя о своем появлении.

— Глянь, это ж Эллисон, — говорит тот, что пониже.

— Привет, Роджер, — говорит Билл.

— Готов к школе? — спрашивает Роджер.

Тот, что повыше, смотрит на часы, потом на выход в конце прохода.

— Пошли, Родж.

Роджер растягивает губы в улыбке:

— Минуточку! — Меряет взглядом щуплого мальчишку за прилавком с крабами.

— А ты как, Люси, готова?

— Я тебе не Люси, — говорит паренек.

— О чем сговариваетесь? Вечеринка где-нибудь намечается, о которой мне лучше не знать? — Роджер ржет, толкает приятеля в бок. Приятель вяло хмыкает.

— Твой брат? — спрашивает он у Билла.

— Такой же? — спрашивает у меня Роджер.

Я смотрю ему в лицо, потом на букву “G”[54], вышитую на его сине-белой куртке. Догадываюсь, что он занимается борьбой, потому что под буквой другая нашивка: две мужские фигуры, одна позади другой, в тесном захвате.

— Чё это они делают? — спрашиваю я.

Роджер сбит с толку.

— Кто?

— Эти двое у тебя на куртке. Это какой вид спорта? На букву “G”?

Билл и мальчишка за прилавком хохочут.

— Вы чё? — говорит Роджер. — Я борьбой занимаюсь.

— Это когда катаешься по полу в обнимку с мальчиком?

Коричневая кожа Роджера делается лиловой, и он хочет меня ударить. Приятель хватает его за плечо и говорит:

— Пошли отсюда, Роджер.

Мы с Биллом смотрим им вслед. Биллу явно не по себе, он весь как-то сжался. А меня прямо распирает — хочется болтать, прыгать.

— Видел его лицо? — спрашиваю я.

---

[54] Примечания: 54

Буква “G” обычно нашивается на школьный пиджак, если ученик отличился на занятиях, в спорте или во внеклассной работе.

— Видел.
— Ты на меня сердишься?
— Нет, Монк, не сержусь.
— Тогда что?
— Ничего. Ты все равно не поймешь.
— Я многое понимаю.
— Что, например?
— Например… — Замолкаю и смотрю на рыбу. — Например, в луфаре. Вот хороший — отец одобрит.

* * *

Я поехал обратно в Вашингтон, в дом, где в последние годы жила мать, а прежде — родители. Внутри был спертый и душный воздух. Я включил большой кондиционер в столовой и сел за стол — туда, где всегда сидел, когда мы всей семьей ели. Посмотрел на пустые стулья. Отец сидел во главе стола, мать — на другом конце, брат с сестрой напротив меня, а место рядом обычно пустовало. Иногда туда сажали гостя, но в остальное время стул был придвинут к столу, а не стоял у стены, как другие лишние стулья. Я прислушался к дому, стараясь уловить звуки родительских голосов и шагов, но не услышал их. Гудел и периодически дребезжал кондиционер, с

кухни доносились тяжелые вздохи холодильника, неожиданно зазвонил телефон.

Это был Билл.

— Я уже здесь.

— Где?

— В аэропорту, вышел из самолета. Сейчас пойду к метро.

— Хочешь, я за тобой заеду?

— Нет, не надо.

— Тогда подберу у станции “Метро-центр”. Тебе по прямой.

— Ни к чему. Всего одна пересадка. Встретимся на Дюпон-серкл в… — Я прямо увидел, как Билл вскинул руку и посмотрел на часы. — Четыре?

— До встречи.

Брат стал блондином. Я даже не сразу его узнал: он сидел на скамейке рядом с музыкантами, которые играли на конге, и моей первой мыслью было: “Надо же, как этот блондин похож на моего брата!” Но это оказался мой брат, только волосы светлые. Кожа, как прежде, светло-коричневая. Он окликнул меня.

— Билл?

— Ага, я.

Он обнял меня, что тоже было для него необычно, и я оценил этот жест, хотя объятие вышло

неловким, будто он вовсе меня не коснулся.

— Слушай, ты теперь блондин, — сообщил я ему.

— Нравится?

— Не пойму. Непривычно. — Я подумал, что звучу как старая брюзга — так обычно говорила про себя мать. — Я запарковался на Коннектикут-авеню. — Я наклонился и поднял его мягкую кожаную сумку. — Рад тебя видеть.

Мы пошли к машине.

— Ты хорошо выглядишь, — сказал он.

— Располнел немного. В отличие от тебя.

— Я каждый вечер в спортзале.

Я уважительно присвистнул и тут же подумал, что Билл может принять это за насмешку.

— Мне бы тоже не помешало.

— Как мама?

— То с нами, то нет.

Сказав это, я задумался, где ей хуже: с нами или не с нами? Когда она чувствует себя более потерянной — когда все в тумане или когда выходит из него? И еще: эти ее выпадения из реальности — следствие болезни или сопротивление распаду, бегство в безопасное место?

— Она тебя узнает?

— Сегодня узнавала, — сказал я. — Как дети?

— Нормально вроде. — Он подождал моей реакции и, увидев ее, добавил: — Переживем и это. Представь, каково им слышать “твой папа — пидарас”.

— Хочешь заехать домой или сразу к маме?

— Домой. Мне в душ надо. Вылет был ранний, не успел принять.

Мы поехали домой. Я крутил руль, Билл — колесико радиоприемника.

— Как работа?

— Хорошо.

— Как… — Я попытался вспомнить имя его последнего приятеля.

— Тю-тю.

* * *

Часто, смотрясь в зеркало, я ловлю себя на том, что сравниваю следующие высказывания:

(1) Он выглядит виноватым.

(2) Он кажется виноватым.

(3) Он ведет себя так, будто виноват.

(4) Он виноват.

* * *

— Все хорошо? — спросил Билл. Он вышел из

душа и присоединился ко мне в гостиной. Я прикуривал сигару. — А вот это зря, — сказал он.

— Ага, знаю. — Я дождался, пока конец сигары станет оранжевым и погасил спичку. — Ты уже готов ехать?

— Поздновато, тебе не кажется?

В самом деле, было почти шесть.

— Поздновато, — согласился я. — Но она там первый день. Я все равно поеду.

Билл кивнул.

* * *

Нам сказали, что мать ничего не ела. Она не узнала Билла и отвернулась, когда он взял ее за руку и попробовал заглянуть в глаза. Меня тоже не узнала. Может, узнала бы, если бы мы пробыли еще час, еще пятнадцать минут, еще пять. Но мы уехали.

* * *

— Насчет денег, — сказал Билл.

— Я все уладил, — ответил я.

Я стараюсь (во всяком случае, стремлюсь к этому) давать таким разговорам самим иссякнуть и умереть, не подпитывать их уместными или

неуместными репликами, проглотить язык и ждать, пока сказанное растворится в воздухе.

* * *

В изобразительном искусстве важно лишь то, что видит глаз. По крайней мере, так меня учили: мол, задача художника — создавать миры в безграничном пространстве одной картины. Поверхность — бумага или холст — это не само произведение искусства, а лишь место, сохраняющее образ, краску, мысль. Но *стул*... Стул — это и пространство, и холст; он занимает место. Место холста — на стене, место картины — на холсте, а стул — это уже часть интерьера. Я подумал об этом в связи с “Моим извращением”. Так называемый роман имел больше общего со стулом, чем с картиной; я задумал его не как произведение искусства, а как арт-объект. Он был не тем, что видит глаз, а тем, чего нельзя не заметить, — то ли дорожным знаком, предупреждающим об опасности, то ли могильной плитой. Эти мысли помогли мне не сгореть от стыда, глядя в зеркало после того, как я согласился на сделку, о которой в тот вечер сообщил мне по телефону мой литературный агент.

— Некто Уайли Моргенстайн предлагает три

миллиона за права на экранизацию, — сказал Юл. — Алло? Монк?

— Я здесь.

— Как тебе?

— Прекрасно. Ты шутишь? Потрясающе. С души воротит.

— Он настаивает на встрече.

— Скажи, что я ему позвоню.

— Он хочет лично. За три ляма можно и согласиться. Я ему пока не сказал, что Стэгга Ли на самом деле не существует.

— И правильно. На ланч с ним пойдет Стэгг Ли.

Юл засмеялся.

— Ты окончательно рехнулся. Это как? Нарядишься сутенером?

— Нет, просто надену темные очки и буду очень немногословным. Устраивает?

— Из этих трех миллионов триста тысяч — мои. Смотри не спугни.

— Ага, не спугну. Все, побежал.

— Погоди. В “Рэндом-хаус” такой ажиотаж вокруг книги, что они теперь хотят выпустить ее до Рождества.

* * *

Когда после разговора с Юлом я вышел на кухню, Билл спросил, все ли у меня в порядке. Я сказал, что все хорошо, а он сказал, что идет в ресторан со старым приятелем. Сказал, что тот скоро за ним заедет. Сказал, чтобы я его не ждал и ложился.

* * *

Раньше я как-то не замечал, что коробка с письмами Фионы к моему отцу пахнет лавандой и розовыми лепестками. В этот раз я не стал перечитывать письма, но засмотрелся на почерк — рука, которая его выводила, не сделала ни единой помарки. Это могло свидетельствовать о глубине чувства. Я представил ту руку — маленькую, но крепкую руку медсестры, с подстриженными ногтями, ловкую, как у ткачихи. Я по очереди доставал и разворачивал каждое письмо, потом пролистал страницы “Сайлеса Марнера” — для отца это был странный выбор. В книге я обнаружил клочок бумаги; на нем был манхэттенский адрес сестры Фионы в Нижнем Ист-Сайде. Ее звали Тилли Макфадден.

* * *

редактор: *Как неожиданно.*

стэгг: *Звоню узнать, нужно ли что-то исправить в рукописи — вы же собираетесь выпустить книгу раньше.*

редактор: *Нет, все идеально.*

стэгг: *Когда будут гранки?*

редактор: *Мы не будем вас утруждать, все сверим сами.*

стэгг: *Тогда одно изменение.*

редактор: *Конечно.*

стэгг: *Название будет другое. “Блять”.*

редактор: *Простите?*

стэгг: *Блять. Одно слово.*

редактор: *Но мне так нравится “Мое извращение”.*

стэгг: *Оставим для следующей книги. Эта будет называться “Блять”.*

редактор: *Боюсь, это невозможно.*

стэгг: *Почему?*

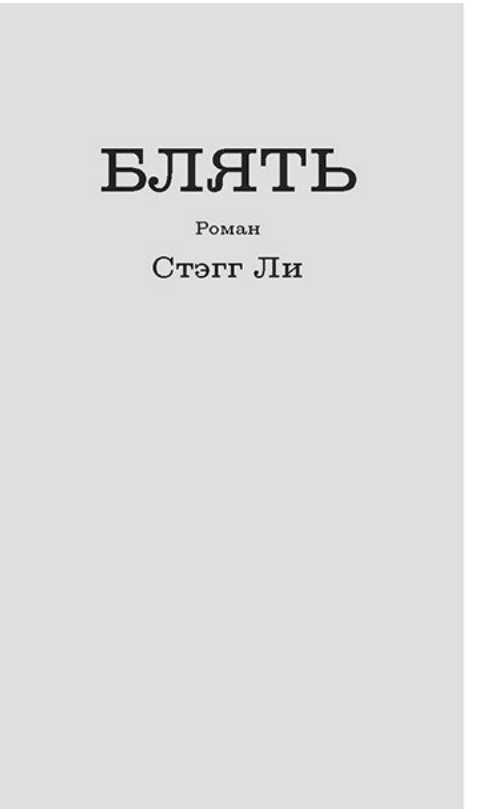
редактор: *Для многих это непристойное слово.*

стэгг: *Оно часто встречается в романе. Плевать, что думают “многие”.*

редактор: *Это может навредить продажам.*

стэгг: *Вряд ли. Если хотите, я верну аванс и*

отдам книгу в другое издательство.



14

Страшно, конечно, что, отрицая или отказываясь признавать свое участие в маргинализации “чернокожих” писателей, я оказался далеко по “другую сторону” той черты, которой, по сути, нет, — черты в лучшем случае воображаемой. Я не писал, чтобы оставить свидетельство или дать выход своему возмущению социальной несправедливостью (хотя всякая литература в каком-то смысле об этом); и я не опирался на так называемую семейную традицию устного повествования. Никогда никого не стремился освобождать и не пытался вслед за другими в очередной раз “правдиво изображать” подлинную жизнь моего народа. Да и не было у меня народа, жизнь которого я знал бы достаточно хорошо, чтобы ее “правдиво” изобразить. Возможно, будь я писателем сразу после периода Реконструкции[55], моей целью было бы улучшить участь моих угнетенных собратьев. Но какая ирония!

[55] Примечания: 55

Период в истории США (1865–1877) после окончания Гражданской войны, когда проходила отмена рабовладельческой системы на всей территории США.

Я стал жертвой расизма именно потому, что не разыгрывал расовую карту и сопротивлялся попыткам воспринимать мое творчество исключительно сквозь призму расовой идентичности. А мое материальное положение поправит книга, которую я ставлю в один ряд с произведениями откровенно расистскими. И вдобавок придется нацепить маску — стать тем, кого ожидают увидеть в качестве автора этой дряни. В образе пресловутого Стэгга Ли я уже говорил по телефону с редактором, а теперь предстояла встреча с Уайли Моргенстайном. Ничего, справлюсь. Даже интересно. И приятно было получить чек.

Джелли, Джелли
Джелли
До утра.[56]

Узрите незримое![57]

---

[56] Примечания: 56

Припев из популярного блюза 1940-х годов, ставшего классикой и исполнявшегося множеством вокалистов — от Билли Холидей до Нины Симон. Также присутствует в книге Р. Эллисона “Человек-невидимка”.

[57] Примечания: 57

Скрытая цитата из романа Р. Эллисона “Человек-невидимка” (пер. Е. Петровой).

* * *

Билл не ночевал дома и появился только утром. Все время улыбался, говорил быстро и сбивчиво. Я уже сложил в сумку несколько любимых маминых записей и собирался отвезти их ей вместе с CD-плеером. Мне показалось, что Билл ведет себя как человек, употреблявший наркотики, но какие именно, я не знал — никогда не умел определять это по поведению. Я спросил, в порядке ли он.

— Да. А что? — ответил он.

— Не знаю, — сказал я. — Просто ты какой-то… другой.

— Другой? В каком смысле?

— Неважно.

— Нет, объясни, что ты имеешь в виду. — Внезапность реплики лишь подчеркивала ее резкость.

— Ничего, — сказал я. — Просто подумал, что ты ведешь себя как человек, употребляющий наркотики.

— Да? Какие?

— Не знаю. Мне все равно.

— Это потому, что я тебе не помогаю, да?

— Нет.

— Злишься, что ночевать не пришел. Надо было

позвонить?

— Все, я поехал к матери.

— Я ради этого прилетел. — Билл изо всех сил старался не вести себя как человек, употребляющий наркотики. — Но вижу, нужды во мне нет.

— Ты поймал меня на выходе. Я тебя ждал все утро. Только собрался выходить — ты появляешься. Если хочешь поехать к маме со мной, я подожду.

— Мне надо в душ. А где я провел ночь — мое дело.

— Окей, жду.

— Да, ладно, езжай. Она, наверное, уже волнуется, что тебя до сих пор нет.

Я следил за движением его губ и вдруг поймал себя на том, что слышу бессмысленный набор звуков. Билл говорил словно на другом языке. Этот язык подчинялся законам геометрии наречий и вопросов, которая была мне неведома. Я видел очертания смысла, слышал слова и догадывался об их значении, но суть сказанного от меня ускользала. Я кивнул.

— Чего киваешь? — сказал он.

Он издевался надо мной. Точно. Понял мою растерянность и ткнул меня в нее носом. Я снова кивнул.

— Ладно, иди уже, — сказал он. И добавил, когда я подошел к двери: — Зря я надеялся, что ты поймешь. Хотя, если честно, не очень-то и надеялся. Ты такой же, как отец. Всегда таким был и с годами все больше в него превращаешься.

Я кивнул.

— Давай. Езжай к матери без меня. *Время умеет схлопывать цели, превращая их во все то, что центр нашего существа предпочел бы отвергнуть. И все же мой центр куда тверже твоей податливой середины. Я остаюсь верен себе, даже когда сбиваюсь с пути или наталкиваюсь на препятствие далеко за пределами шельфа моего пляжа.*

На этот раз я не кивнул, а ушел.

* * *

Пока сидел в кабинете лечащего врача в ожидании отчета о том, как прошла первая ночь матери на новом месте, я успел изучить содержимое небольшой книжной полки позади письменного стола. Там были Джон Гришэм и Том Клэнси в твердых переплетах, Джон Макдональд в мягкой обложке и все в таком духе. Я ничего против этих книг не имел. Правда, ни одной не осилил до конца, но пролистывал без отвращения. Я не

находил в них ни выдающихся художественных достоинств, ни иронии, ни языковой игры, ни новых идей. На мой вкус, написаны они были добротно, как хорошее техническое описание. *А, ну вот она деталь “А”!* Так почему же Хуанита Мэй Дженкинс вызвала рвотный рефлекс? Дело, очевидно, в том, что Том Клэнси не пытался продать мне свою книгу под расовым соусом. Экипаж его высокотехнологичной подлодки не является воплощением всех белых (допускаю, что метафора не из лучших). И издательство в своей рекламной кампании на это не напирает. Не понравились белые у Клэнси, всегда можно почитать про других.

Куда терь патопаши?

В Мис’исиппи.

Чё так далеко?

Достал меня этот ваш Южный округ Чикаго.

Так ить в Мис’исиппи — свой Южный округ, тока южнее.

(Оба смеются.)

* * *

Врач был полным, нездорового вида, но одет — с иголочки. Начищенные до зеркального блес-

ка броги; вязаная (несмотря на теплую погоду) безрукавка под пиджаком идеально сочеталась с костюмом. Он уселся за стол, и я решил, что этот толстяк похож на Тома Клэнси, хотя понятия не имел, как тот выглядит. Тут же представил, как врач пытается протиснуться в узкий люк подлодки.

— Сегодня у вашей матери, увы, не лучший день. Мы вынуждены были дать ей успокоительное. Сейчас у ее постели дежурит сестра. Честно говоря, даже не знаю, что сказать, мистер Эллисон. Иногда состояние больных меняется стремительно. Возможно, завтра ей будет лучше.

Тут этот толстяк превратился в мою сестру Лизу. Она откинулась на спинку стула, закурила воображаемую сигарету и обратилась ко мне по имени. Я понял, что имею дело с галлюцинацией, а раз понял — значит, не окончательно съехал с катушек. Однако тот факт, что зрительная галлюцинация последовала вскоре после слуховой в разговоре с братом, несколько настораживал.

— Ничего не поделать, Монк, — сказала Лиза. — Езжай домой. Обживайся. Утешайся тем, что мама не страдает. Для нее теперь каждый миг как с чистого листа. Думай об этом так. Знаешь шутку: что хорошо в болезни Альцгеймера? По-

стоянно знакомишься с новыми людьми. — Лиза засмеялась. — Так что занимайся своими делами. И не давай Биллу отравлять тебе жизнь. Он просто ищет свой путь. Родственников не выбирают. Что поделать: его трудно любить. Я вот никогда его особенно не любила.

— Откуда ты знаешь, что мать не страдает? — спросил я.

На столе перед толстяком стояла табличка с надписью “Доктор Х. Бледсоу”.

— Виноват? — сказал он.

— Простите, — сказал я. — Это я не вам.

— Вы хорошо себя чувствуете, мистер Эллисон?

— Да, вполне. Вот — здесь музыка, которую мама любит. — Я поставил на стол сумку с дисками и встал. — Как вы думаете: слушать знакомую музыку помогает?

— Сомневаюсь. Но — возможно.

* * *

Когда я вернулся, Билла дома не было. На столе в столовой лежала записка:

Наверху в кабинете ты найдешь другую записку, которая все объяснит.

Я поднялся в кабинет и нашел на столе конверт. Внутри была записка:

ХУЙСАСИ!
Билл

* * *

Не ты ли Райн удирающий?[58]

Уайли Моргенстайн прилетел в Вашингтон на встречу со Стэггом Ли. Стэгг слегка волновался перед ланчем и поэтому тщательно готовился. Стоял перед зеркалом в ванной и отрабатывал угрюмость, сводя брови к переносице. Сбрил усы, извинившись перед их законным владельцем. Примерил шляпу, но не выдержал и пары секунд — тут же снял.

— Кого ты пытаешься обмануть? — спросил он у зеркала.

Надеть ли туфли с круглыми носами? Кроссовки? Тюремные сланцы? В итоге он остановился на коричневых лоферах, брюках цвета хаки и белой рубашке в синюю полоску с воротником на пуговицах. Все это нашлось в гардеробе.

Встреча с Моргенстайном была назначена в

---

[58] Примечания: 58
Скрытая цитата из романа Р. Эллисона “Человек-невидимка”.

ресторане на крыше гостиницы “Вашингтон”. Стэгг надел темные очки и отправился туда с опозданием.

С открытой террасы ресторана открывался вид на восточную лужайку Белого дома, но Моргенстайн предпочел сесть внутри, заняв кабинку в полутемном углу основного зала. Стэгга проводили к столу продюсера. Он и девушка, сидевшая рядом, поднялись ему навстречу. Мужчины пожали друг другу руки.

— Очень приятно, Стэгг, — сказал Моргенстайн. — Это Синтия — моя ассистентка.

— Какая честь — познакомиться с писателем такого калибра. — Синтия тоненько хихикнула.

— Прошу, присаживайтесь, присаживайтесь.

Стэгг сел и попытался разглядеть своего визави сквозь темные очки, да еще в полумраке. Моргенстайн оказался полнее, чем он представлял, и одет по-простому: футболка под пиджаком. А Синтия, конечно, такая же ассистентка, как Стэгг — реальное лицо. Грудь юной девы (без сомнения, искусственно увеличенная) была едва прикрыта узкой полоской ткани, державшейся на одном честном слове.

— Простите, что сидим в зале, а не на террасе. Но, блин, я толстый, без кондиционера никак, —

засмеялся Моргенстайн.

А Стэгг не засмеялся.

— И совсем ты не толстый, Уайли, — сказала Синтия.

Моргенстайн проигнорировал реплику.

— В издательстве уверяли, что вы не явитесь. Спасибо, что пришли. Выпьете что-нибудь? — Он уже подзывал официанта. — Слушайте, мне чертовски понравился этот роман, убойная вещь. Хохотал до колик. Нет, он, грустный, конечно, не поймите превратно. И правдивый до чертиков. А диалоги какие! Бери как есть — и снимай. — Подошел официант. — Что будете? — спросил Моргенстайн Стэгга.

— Гибсон, — сказал Стэгг.

Угрюмость Стэгга, казалось, сбивала Моргенстайна, но он продолжил.

— Знаете, я бы заплатил за этот чертов роман, даже если бы вы отказались от встречи. Но решил вас выманить. Три ляма — убедительный аргумент, а?

— Безусловно, — сказал Стэгг.

Моргенстайн и девушка переглянулись.

— А знаете, я вас совсем иначе себе представлял.

— Да? Как, интересно?

— Не знаю… Пожестче, что ли. Поуличнее. Более…

— Черным?

— Ага, в точку! Хорошо, что вы это произнесли за меня. Я видел людей, про которых вы пишете, — настоящих, сочных, с характером. В колледже так писать не научат. — Он повернулся к Синтии. — Правда, детка?

Стэгг невозмутимо кивнул.

— Не стесняйтесь, гляньте меню, выберите, на что глаз ляжет, — сказал Моргенстайн. — Здесь нормально, да? Я чуть голову не сломал, выбирая место. Перечитал в самолете книгу и подумал: может, “Попайес”? — Моргенстайн засмеялся. Синтия обвила его руку пальцами и тоже засмеялась. — Нашли что-нибудь?

— Думаю, да.

Официант принес гибсон и застыл, готовясь принять заказ.

— Мне и даме по большому стейку средней прожарки и все, с чем они обычно идут. Только масло на картофель не лейте. К салату — соус “ранч”. Стэгг?

— Я начну с морковного супа с имбирем. Его ведь холодным подают, верно?

— Да, сэр.

— Не нашел этого в меню, но я бы хотел обычные феттучини с оливковым маслом и пармезаном.

— Конечно, сэр. — Официант повернулся к Моргенстайну. — Вино?

Моргенстайн посмотрел на Стэгга.

— Как хотите, — сказал Стэгг.

— Принесите нам красное, — сказал Моргенстайн.

Когда официант собрал меню и ушел, толстый продюсер повернулся к своей спутнице с озабоченным видом. Потом обратился к Стэггу:

— Нет, правда, вы совсем не такой, как я думал.

— Не повторяйтесь. Для чего вы меня позвали? — Жесткость подействовала. Стэгг уловил в глазах Моргенстайна легкий испуг.

— Да так… без особой причины.

Они помолчали. Синтия что-то шепнула Моргенстайну на ухо и снова хихикнула. Она поигрывала прядью своих светлых волос и смотрела на него, чуть склонив голову.

— Вы, значит, отсидели, — сказал Моргенстайн. — Меня тоже чуть было не упекли, но дядюшка Морт отмазал. Липовая статья, бред, нарушение правил межштатной торговли. А вас за что?

Стэгг оказался на распутье. Пока что ему не приходилось врать, разве что откликаться на чужое имя. Даже признаться, что он автор этой “убойной вещи” было по-своему честно.

— Сочли, что убил человека шилом швейцарского ножа.

Ввернуть “сочли” было тонким ходом, и Стэгг улыбнулся самому себе. Улыбка добавила убедительности выдуманному преступлению.

Моргенстайн сначала напрягся, но потом, кажется, выдохнул с облегчением.

— А я уж начал думать, что это все липа.

Он рассмеялся, и Синтия подхватила его смех, хотя теперь смотрела на Стэгга иначе. То как будто пряталась за толстой спиной продюсера, то подавалась вперед, кокетливо улыбаясь и не сводя глаз со своего отражения в темных очках Стэгга.

— Это не липа, — сказал Стэгг. — Вот Синтия знает, что не липа. Да, Синди?

Синтия поерзала.

— Ага, — нервно усмехнулся Моргенстайн.

Принесли салаты и суп Стэгга. Он съел пару ложек и отодвинул тарелку.

— Не нравится? — спросил Моргенстайн.

— Нравится, даже очень. Как раз то, что хо-

тел. — Стэгг снова улыбнулся Синтии, потом повернулся к Моргенстайну. — Боюсь, мне пора. Надо навестить один оздоровительный центр.

— Общественные работы? Проходил, знаю. То еще удовольствие. Засранцы.

— Было очень приятно.

Стэгг протянул руку через стол, потряс толстую пятерню, кивнул Синтии.

— Слушайте, как мне вас найти в этом городе, дайте хоть телефон, — сказал Моргенстайн.

Секунды две Стэгг смотрел на него, потом холодно усмехнулся и пошел к выходу.

* * *

Узрите незримое!

* * *

В лифте Стэгг обнаружил, что, пока ехал вниз, он начал смотреть на мир другими глазами, и уже в лобби его встретил огромный плакат с пестрой надписью из разнокалиберных шрифтов, вопрошавшей:

А был ли Джулиан Шнабель[59]?

За этим плакатом на стенде стоял другой:

В чем суть авангарда?

А за ним третий:

Для одних граффити — каракули, а для других — оракулы

Стэгг растерялся, разозлился. На улице он сорвал с лица темные очки и исчез.

* * *

Днем похолодало, и стал накрапывать дождь. Я сидел у постели матери, наблюдая за входящими в здание людьми. Мать спала. Мы слушали симфонию Брамса, то ли вторую, то ли третью. Ей она всегда нравилась больше, чем мне.

* * *

В детстве я не раз благодарил родителей за то, что меня не растили католиком. Когда мне испол-

---

[59] Примечания: 59

Джулиан Шнабель (род. 1951) — американский художник-неоэкспрессионист и кинорежиссер, известный крупномасштабными полотнами на нестандартных материалах; автор фильма “Скафандр и бабочка”.

нилось тринадцать, они наконец ответили: “Мы не католики, милый”. “Милый” добавила мать.

— Я знаю, — сказал я. Остановился у двери и обернулся. — И благодарен за то, что вы не даете мне религиозного воспитания. Но за то, что не растите католиком, — отдельное спасибо.

— Мы знаем, — сказал отец.

— Почему ты нас за это благодаришь? — спросила мать, оторвавшись от книги.

– *Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point*[60], — сказал отец.

— Я знаю свои *raisons*[61], — сказал я.

— Молодец, — сказал отец.

– *Vive le roi*[62], — сказал я.

Отец засмеялся. Мать уже вернулась к книге.

---

[60] Примечания: 60

“Сердце имеет доводы, которых разум не знает” *(фр.)* — цитата из философского труда Блеза Паскаля “Мысли”.

[61] Примечания: 61

Доводы *(фр.)*.

[62] Примечания: 62

Да здравствует король! *(фр.)*.

15

Я вспомнил глупую ссору с Мэрилин, положившую конец нашим недолгим отношениям (впрочем, они были обречены с первого дня). Дело было не в ее неразборчивости или сомнительном вкусе. Мерзкий роман у изголовья кровати напомнил мне о том, кем я стал, хоть и скрывал это от всех, включая себя. А стал я чуть более иронической, циничной, болезненно зацикленной на себе и все же верной копией Хуаниты Мэй Дженкинс, автора нашумевшего бестселлера “А жывём мы в гетто”, по которому уже снимали голливудский блокбастер.

Не только обстоятельства, в которых я сейчас оказался, но и мой характер делали меня малопригодным даже для самой элементарной дружбы, новой или старой, а романтические отношения казались мне и вовсе нелепостью. Вполне допускаю, что я напустился на Мэрилин в равной мере и как литературный сноб, и как человек, выбравший удачный момент для отступления.

* * *

То, что я потребовал изменить название романа на “Блять”, не столько разозлило, сколько ошеломило моего литературного агента. Он спросил, не сошел ли я с ума. Пришлось напомнить, что он уже задавал мне этот вопрос, когда я просил разослать “Мое изварщение” по издательствам.

— Резонно, — сказал он. — Но тебе не кажется, что тут ты перегибаешь палку?

— Да нет. Это же арт-объект, и он должен делать то, для чего задуман.

— Бред какой-то.

— Возможно.

— Вряд ли они на это пойдут. Почему не “Блин” или “Черт”? Почему “Блять”?

Я прямо услышал, как он мотнул головой.

— Потому что я так хочу.

— А если начнут возражать юристы?

— Не начнут.

И после паузы:

— Что ты сказал Моргенстайну?

— Да, в общем, ничего.

— Он от тебя без ума. Напуган до смерти, но твердит, что ты самородок.

— Он прав.

* * *

ротко: *Как же надоело рисовать эти чертовы прямоугольники!*

рене[63]: *Но ведь ими вы очерчиваете физические пределы живописи. То, что может показаться бедностью выразительных средств, на самом деле — ваше умение устранять все лишнее. Фон и передний план в ваших картинах уравновешивают друг друга, взаимно нейтрализуют, и мы остаемся с деталями, которых, по сути, нет.*

ротко: *А в итоге?*

рене: *Находятся идиоты, которые это покупают.*

ротко: *И все?*

рене: *Боюсь, что да. Мои фильмы никто не смотрит, и, поверьте, мое искусство от этого лучше не становится.*

ротко: *Но и хуже не становится, Ален.*

* * *

юл: *Они говорят, что согласны изменить название. Предлагают “Ёпрст”.*

---

[63] Примечания: 63

Ален Рене (1922–2014) — французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.

я: *Ёпрст? С какой стати?*

юл: *Так будет менее оскорбительно на обложке.*

я: *О том и речь. Или “Блять”, или я разрываю контракт.*

(позднее)

юл: *Они согласны.*

я: *Ну, блять, супер!*

* * *

Первые три недели я навещал мать каждый день. Дорога много времени не занимала и вносила в жизнь хоть какое-то разнообразие. По утрам я просыпался, немного возился в переоборудованном под мастерскую гараже, отправлялся на долгую прогулку, потом просиживал несколько часов за столом, пытаясь сочинять новый роман, который искупил бы мою грешную литературную душу, после чего садился в машину и ехал к матери. По возвращении читал, а потом изводил себя мыслями о работе. Я страдал от одиночества, и в то же время меня душила злоба. Я не злился так уже много лет — пожалуй, с юности. Только тогда я злился от бедности, а теперь — от богатства. Конечно, все это сопровождалось чувством

вины и пониманием того, как глупо чувствовать себя виноватым. Не зря говорят: самоедство — одна из двух наиболее распространенных болезней в среде интеллектуалов; вторая — понос.

В последнее время мать все чаще выпадала из реальности, но находилась под постоянным присмотром, и это создавало у меня иллюзию, что можно не волноваться. Хотя разум ее угасал, тело, наоборот, крепло: она даже немного поправилась, и силы в руках заметно прибавилось. Врач посоветовал не обольщаться. Разумеется, не в таких выражениях. Он просто сказал: “Это ненадолго”. Сказал как бы в утешение, будто несоответствие между ее психическим и физическим состояниями должно было огорчать меня больше, чем ее полный и окончательный распад.

В моменты ясности мы слушали музыку и мечтали выбраться в город на концерт в Кеннеди-центре. Затем она незаметно погружалась в дрему. Это было грустное зрелище, и я не раз садился в машину, опускал голову на руль и плакал.

* * *

Утром мне позвонили и предложили то, в чем я больше всего нуждался, — работу. Карл Брант

был директором Национальной книжной ассоциации (НКА), которая ежегодно вручала премию в области прозы. Премия почему-то считалась “главной” и называлась просто и пафосно: “Книжная премия”.

— Мне рекомендовали включить вас в состав жюри, — сказал Брант.

— Приятно слышать.

— Я, собственно, и сам очень хочу, чтобы вы были одним из судей. В жюри вас будет пятеро. А книг около трехсот — романы и сборники рассказов.

Я не перебивал.

— Платим мы немного. Пару тысяч плюс поездка в Нью-Йорк на церемонию. Зато заметно пополнится ваша библиотека.

— Прекрасно.

— Вы согласны?

Я презирал премии. Но если без конца сетуешь на то, куда катится американская литература, можно ли отказаться от возможности повлиять на направление ее движения? Поэтому я сказал:

— Да.

— Ну вот, даже и уговаривать не пришлось.

— А кто еще в жюри?

— Пока не от всех получил согласие, но пред-

седателем точно будет Уилсон Харнет. Вы его знаете?

— Да. Лучшей кандидатуры не найти.

— Отлично, — сказал Брант. — Рад, что нам предстоит поработать вместе. Единственное: до официального объявления прошу никому ни слова.

— Разумеется.

— Прекрасно.

* * *

Состав жюри

Уилсон Харнет (председатель): автор шести романов. Последний роман — “Время на исходе” — написан в жанре художественного нон-фикшн и посвящен его жене, у которой диагностировали рак. Как выяснилось, жена не умерла, а все раскрытые в книге семейные тайны побудили ее подать на развод. Теперь литературное сообщество с нетерпением ожидает следующую книгу Харнета — “Моя ошибка”. Профессор Алабамского университета.

Айлин Гувер: автор двух романов и сборника рассказов. Удостоена премии ПЕН/Фолкнер за сборник рассказов “Дела житейские”. Ее роман

“Мелочи” поднялся на четвертое место в списке бестселлеров “Нью-Йорк Таймс”. Живет на севере штата Нью-Йорк (очевидно, затерявшись на его бескрайних просторах).

Томас Томад: автор пяти сборников рассказов. Среди них “Ночь, когда они пришли”, “Ночь за решеткой” и “У ночи есть глаза”. Его творчество получило высокую оценку Американской ассоциации узников, пишущих в заключении. Также является ведущим редактором подразделения издательства “Сент-Мартин пресс” “Живая клетка”, специализирующегося на книгах авторов, осужденных на пожизненное заключение. Уроженец Сан-Франциско (штат Калифорния).

Йон Пол Сигмарсен: писатель из Миннесоты. Автор трех романов и трех книг о природе. Лауреат нескольких премий за книгу “Жизнь с маскинонгом[64]». Ведущий ток-шоу о новинках литературы “Столько снега — почему бы не почитать?” на Общественном телевидении в Сент-Поле.

Телониус Эллисон: автор пяти книг экспериментальных рассказов и романов, которые

---

[64] Примечания: 64
Крупная североамериканская щука.

никто в мире не читает. Считается заумным и часто слишком сложным для понимания. Больше всего известен своим романом “Второй провал”. Одинок и, похоже, растерял всех друзей. Каждый день навещает мать, хотя она уже не помнит, кто он. Не может поговорить с братом, потому что брат свихнулся. Не может поговорить с сестрой, потому что сестра умерла. Настолько озадачен происходящим, что ему даже некогда впасть в депрессию. Любит рыбачить и работать с деревом. Ищет незамужнюю женщину со схожими интересами. Живет в столице.

* * *

Члены жюри были представлены друг другу во время конференц-колла и показались мне людьми приличными и разумными, как это обычно бывает при первом знакомстве, особенно по телефону.

Харнет, председатель жюри, звучал так, словно говорил, не вынимая изо рта курительной трубки. На самом деле никакой трубки у него во рту не было — он просто слегка причмокивал, будто обсасывая собственное дыхание.

— Нам предстоит тяжелая и утомительная работа, коллеги, — сказал он. — Мне сказали, что

книг будет не триста, а все четыреста.

— О господи, — вздохнула Айлин Гувер. Голос выдал в ней пожилую женщину. — Я сама как раз заканчиваю книгу.

— Надеюсь, нам не придется читать все от корки до корки, — сказал Томас Томад. — Мы живые люди. Лично я не смогу всю зиму провести дома, как узник в клетке.

— Думаю, множество книг вы сможете отложить после первых же предложений, — сказал Харнет. — Но, конечно, если книга, которую вы отложите, окажется в списке у другого члена жюри, к ней придется вернуться.

— Всю эту экспериментальную чушь я вообще читать не собираюсь, — сказала Гувер.

— Уверен, что мы быстро поймем, кому что нравится, и будем относиться к этому с уважением, — сказал Харнет.

Йон Пол Сигмарсен засмеялся и сказал:

— Я рассчитываю прочесть большую часть книг на подледной рыбалке.

— И много льда вам обычно удается наловить? — сказал Томад.

Томад и Сигмарсен засмеялись.

— Что тут смешного? — спросила Гувер.

— У меня вопрос, — сказал Сигмарсен. — Как

оценивать роман и сборник рассказов? Я вот о чем: если в романе одна глава неудачная, премии ему не видать. А в сборнике один неудачный рассказ не портит всю книгу. Улавливаете мысль?

— Хороший вопрос, — сказал Томад.

— Что мы сейчас обсуждаем? — спросила Гувер.

— Рассказы и романы, — сказал Харнет.

— Ах, это. Очевидно, придется читать и то, и другое, — сказала Гувер.

— Эллисон, вы все молчите, — сказала Гувер. — Эллисон?

— Я здесь.

— Что вы думаете?

— Пока ничего. Я еще ни одной книги не видел. Как часто мы должны созваниваться или встречаться?

— На наше усмотрение, — сказал Харнет. — Но я уже все продумал. Предлагаю созвониться через три недели и сверить первые впечатления.

— Лучше через две: вдруг появится что-то действительно стоящее. Я слышала, вот-вот должна выйти новая книга Райли Такера. И Пинки Тушон.

— Кто-то ее недавно сфотографировал, — сказал Томад.

— Кого? — спросила Гувер.

— Тушон, — сказал Томад. — Фото было в “Кроникл”[65]. Оказывается, Пинки живет здесь, в Сан-Франциско, кто бы мог подумать!

— Говорят, книга довольно значительная, — сказала Гувер.

— Я тоже слышал, — сказал Сигмарсен.

— Значит, недели через две? — сказал я.

* * *

Есть люди, которые хотят, чтобы вы поверили: Дюшан[66] наглядно продемонстрировал, что произведением искусства может быть любой предмет; что в *objet d’art*[67] нет ничего такого, без чего он перестал бы считаться таковым; что все дело в нашей готовности назвать тот или иной предмет произведением искусства. Сказать: “Это произведение искусства”, — значит произнести перформатив: так король посвящает кого-то в

[65] Примечания: 65

“Сан-Франциско кроникл” — американская ежедневная газета с самым большим тиражом в Сан-Франциско и Северной Калифорнии.

[66] Примечания: 66

Марсель Дюшан (1887–1968) — французский и американский художник, шахматист, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма.

[67] Примечания: 67

Художественный объект *(фр.)*.

рыцари или судья провозглашает пару мужем и женой. Но если вдруг оказывается, что брачное свидетельство оформлено неверно, перформатив теряет силу, и мы говорим: “Похоже, вы все-таки не муж и жена”. А вот если из музея выбросить то, что до этого считалось искусством, мы ничего подобного не скажем. Назовем это отвергнутым, презираемым, плохим, непонятным, попранным, эпатажным, утраченным, мертвым, опередившим свое время, бездарным, но по-прежнему будем считать искусством.

Вспоминается история про домашнего попугая, который, услышав стук в дверь, спрашивает: “Кто это?” Мужчина за дверью отвечает: “Сантехник”. Никто не открывает, и он снова стучит. “Кто это?” — спрашивает попугай. “Сантехник”. Тук-тук. “Кто это?” — “Сантехник!” Так продолжается до тех пор, пока обезумевший мужчина не выламывает дверь. Влетев внутрь, он падает на ковер прямо под жердочкой, на которой сидит птица, хватается за сердце и умирает. Когда хозяева возвращаются, они обнаруживают у входа бездыханное тело. “Кто это?” — спрашивает жена. “Сантехник”, — говорит попугай.

Возникает резонный вопрос: отвечает ли попугай хозяйке? И да, и нет. На то он и попугай,

чтобы механически повторять услышанное.

* * *

раушенберг[68]: *Вот тебе лист бумаги, Виллем. Нарисуй что-нибудь. Неважно что и неважно как.*

де кунинг[69]: *Зачем?*

раушенберг: *Я это потом сотру.*

де кунинг: *Зачем?*

раушенберг: *Не вникай. Твое дело нарисовать. А за это я отремонтирую тебе крышу.*

де кунинг: *Хорошо. Возьму карандаш, тушь и восковой карандаш.*

раушенберг: *Как хочешь.*

(спустя 4 *недели)*

раушенберг: *Ну вот: извел сорок ластиков, но все стер.*

де кунинг: *Что стер?*

раушенберг: *Твой рисунок.*

---

[68] Примечания: 68

Роберт Раушенберг (1925–2008) — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а затем концептуального искусства и поп-арта.

[69] Примечания: 69

Виллем де Кунинг (1904–1997) — нидерландско-американский художник и скульптор второй половины XX века, один из лидеров абстрактного экспрессионизма.

де кунинг: *Ты стер мой рисунок?*

раушенберг: *Да.*

де кунинг: *Покажи.*

раушенберг: *Твоего рисунка больше нет. Есть только след от моего ластика и лист бумаги — тоже, кстати, мой.*

(показывает рисунок Де Кунингу)

де кунинг: *Ты на нем расписался.*

раушенберг: *А почему нет? Это моя работа.*

де кунинг: *Твоя работа? Посмотри, что ты сделал с моим рисунком!*

раушенберг: *Неплохо, а? Ты даже не представляешь, сколько было возни: запястье до сих пор ноет. Я назвал эту работу “Стертый рисунок”.*

де кунинг: *Очень остроумно.*

раушенберг: *И уже продал его за десять тысяч.*

де кунинг: *Мой рисунок?*

раушенберг: *Нет, твой рисунок я стер, а лист бумаги со следами моего ластика продал.*

* * *

Книги начали приходить целыми коробками. Поначалу я их даже не открывал — только брал в руки и рассматривал. Обложки — одна

другой краше. Аннотации на суперах называли каждую книгу “блистательной”, а короткие отзывы признанных литературных авторитетов объясняли, почему она непременно должна мне понравиться. Толстые книги хвалили за то, что они толстые, тонкие — за то, что тонкие; маститых писателей ценили за их маститость, молодых — за молодость; и все без исключения были потрясающими, новаторскими, теплыми, леденящими душу, оригинальными, честными и глубоко человечными. Я бы оживился, если бы наткнулся, например, на такое:

В своем новом романе Имя Рек берется за повседневность и оставляет ее как есть. Ясная и до крайности заурядная проза построена на старых как мир приемах. Однако книгу нельзя назвать насквозь фальшивой. Ее герои так же ходульны, как люди, которых мы встречаем в реальной жизни. Читателя ждет мучительное странствие по просторам банальности. Роман посредственный, но не пресный, бесполезный, но не бессмысленный, безвкусный, но съедобный.

Имя Рек — писатель средних лет с семьей, но без каких-либо интересных особенностей. Живет в доме и не умнее того, что написал.

Я открыл первую книгу и взялся за нее с удовольствием. Я просто люблю читать — сама книга никуда не годилась. Но читать было так приятно, что я тут же взялся за следующую, потом еще за одну. Читал всю ночь и почти весь следующий день. Все три книги были бесцветны, хорошо скроены и до тошноты предсказуемы. Я подумал, что, возможно, у меня слишком замылен глаз. Я привык к романам так же, как хирург привыкает к крови. Значит, нужно было заново искать путь к той части своей души, которую еще может поразить скучное и обыденное.

* * *

Телефон зазвонил ровно в тот момент, когда я выходил из дома, чтобы ехать к матери. Женский голос:

— Не хочешь перепихнуться?

— Линда?

— Как ты догадался?

Линда Мэллори. Я повертел в голове ее имя. Пока она говорила (не помню, что именно — не вслушивался), я понял, что для полноты картины мне сейчас не хватает вставной постельной сцены. Нужен был другой источник чувства вины — ведь состояние матери ухудшалось, и это

оправдывало мое решение поместить ее в дом престарелых. Но едва я решил обзавестись этой новой виной, как тут же попытался ее смягчить, подумав, что Линда попросту меня использует. В потоке ее слов я уловил, что она в Вашингтоне.

— Где ты остановилась? — спросил я.

— Что?

— В какой ты гостинице?

— Опять в “Мэйфлауэре”.

— Я буду в семь. Нормально?

— Нормально, — сказала она с сомнением. — Монк? Это Монк Эллисон?

— Да. В семь.

— В семь — идеально!

* * *

У матери участились случаи недержания, и, хотя сил дойти до туалета было у нее достаточно, она предпочитала этого не делать. Когда я вошел, дежурная медсестра и санитар меняли постельное белье. Мать лежала в кровати, обнаженная ниже пояса. Санитар выдергивал из-под нее испачканную простыню, а медсестра вытирала с кожи коричневую жижу. Я отвернулся и вышел в коридор, но и там меня преследовала эта картина: медленно поворачивающаяся в мою сторону

голова и пустой взгляд. В ней нельзя было узнать женщину, которая однажды сказала мне, что, слушая Малера, она видит разноцветные всполохи перед тем, как заплакать. “В Четвертой симфонии — осень, — говорила она. — Поблекшая листва окрашивается красным и желто-коричневым, небо темнеет, и по ночам делается зябко”. Этой женщине сейчас вытирала зад медсестра, которая не знала о существовании Малера.

* * *

Линда Мэллори и в сексе оставалась постмодернистом. Она была сосредоточена исключительно на себе, считала свои оргазмы и ни одного не чувствовала. Ее волновало, как она выглядит во время секса, какое у нее выражение лица, когда она кончает, не слишком ли она узкая, широкая, сухая, влажная, громкая, тихая, — и все это озвучивалось ею прямо в ходе процесса.

— Красиво волосы по подушке разметались? — спросила она.

— Красиво, Линда.

— Двигаюсь нормально? Не слишком быстро, не слишком медленно?

— Двигайся в своем темпе.

Похоже, она так и сделала, и тут же заорала

прямо мне в лицо, отчего я невольно вздрогнул. Видимо, это было заметно, потому что она спросила:

— Оглушила, да? Я безобразная? О господи, зачем я так закричала! Боже мой.

— Все хорошо, Линда. Ты в порядке? — спросил я.

— Почему ты спрашиваешь? Со мной что-то не так? Ты кончил? — Она тут же потянулась ко мне, когда я с нее сполз.

— Нет.

— В жизни так не кричала! — Она повернулась к тумбочке, взяла сигарету, закурила.

— Не переживай. Кончила — и закричала. Это же хорошо, согласись.

— Вроде кончила. Да, наверное, хорошо.

Руку, в которой не было сигареты, она положила мне на член. Он все еще был твердый, но на прикосновение не откликнулся.

— Всегда готов, — сказала она.

И зачем я только поехал к Линде? Я не мог просто одеться и уйти, хотя, как ни стыдно признаться, именно этого мне сейчас и хотелось. Линда не вызывала у меня неприязни, и я достаточно уважал ее, чтобы не жалеть. Странным образом ее тревоги казались мне трогательно

смешными. Но уже тогда, впервые поймав себя на этой неловкой мысли, я понимал, что это не искреннее суждение, а всего лишь самооправдание, попытка поднять в своих глазах не столько ее, сколько себя.

— Посмотрим чего-нибудь? — спросил я.

— Я думала, ты хочешь продолжить.

— Боюсь, ты все соки из меня выжала, — сказал я. — Ты такая неутомимая.

— Правда?

— Правда.

Я нащупал пульт и включил телевизор. Линда пристроилась под бок, положив голову мне на грудь. Я с грустью отметил, что мне неприятен кокосовый запах ее шампуня. На экране возникла рысь, разрывавшая на части кролика. “Переключи”, — сказала Линда, и я переключил. “Переключи”. Я снова переключил. “Переключи”. Я опять переключил и предложил ей пульт. Она отказалась со словами: “Нет, переключай ты”. В конце концов мы остановились на каком-то фильме нуар с неизвестными актерами. Линда игриво поерзала, устраиваясь поудобнее, и тут же захрапела.

16

В тот год редакторы то ли обленились, то ли вовсе исчезли. Большинство романов были неоправданно толстыми. Шесть перевалили за девятьсот страниц, двенадцать — за семьсот, хотя при минимальной редакторской правке любой из них мог бы превратиться в добротный четырехсотстраничный роман. Был один особенно тяжеловесный, перегруженный деталями роман от писателя-затворника, известного тем, что пишет тяжеловесные, перегруженные деталями романы. Был один ловко придуманный и на редкость лаконичный роман от писателя, которому столь же ловко слепили поразительно безупречную репутацию. Был сборник избранных рассказов умершего писателя; целая полка дебютных романов об отце-насильнике и матери-алкоголичке (и наоборот); очередная “новая”, хотя до ужаса старая, версия университетского романа от писателя средней руки; двадцать восемь семейно-бытовых драм о жизни средних американцев, где главное — с кем после развода останутся дети; сорок романов о взрослении;

тридцать пять романов о новой жизни после распавшегося брака; тридцать детективов; сорок романов, которые принято называть “приключенческими”; и шесть романов из серии “да, мы христиане, но и в бубен дать можем”. В большинстве случаев названию явно уделяли больше внимания, чем содержанию или стилю. Но было и тридцать книг, которые я и сам не отказался бы написать. Десять из них — потому что написал бы лучше. Десять — потому что с грустью признавал, что лучше бы не написал. А оставшиеся десять были просто хорошими — добротными, серьезными и продуманными.

На первом обсуждении одна из членов жюри (я не имею права называть имена) сказала:

— Предлагаю включить в шорт-лист роман Риты Тоттен “Только через мой труп”.

На вопрос “почему?” она ответила:

— По двум причинам: во-первых, Рита — моя хорошая подруга, а во-вторых, в “Нью-Йорк Таймс” на роман вышла разгромная рецензия.

Я сказал, что каждая из этих причин с таким же успехом может быть аргументом против включения романа в шорт-лист.

Томас Томад вздохнул:

— Томад на проводе… — Поскольку обсуждение

проходило по телефону, с его стороны было весьма любезно представиться. — По-моему, роман Тоттен — это галиматья. Голимая галиматья и ничего больше.

Еще один член жюри:

— Я бы хотел обратить ваше внимание на книгу Ричарда Словесника.

— Разве вы не вместе работаете? — спросил кто-то.

— Конечно, вместе. И да, это не лучшая его книга, но пусть знает, что я отношусь к его работе серьезно.

— Может быть, стоит подождать, пока придут все книги? — спросил я.

— Разумно, — сказал Уилсон Харнет. — Предлагаю следующее. Каждый из нас составляет список из двадцати пяти книг. Затем мы эти списки сравниваем и находим пересечения. Любая книга, которую выбрали как минимум двое, проходит в следующий раунд. А дальше будем импровизировать.

Томад:

— Отлично. У меня уже есть парочка, за которые я готов биться насмерть. Там попадаются довольно жесткие вещи.

Сигмарсен:

— Согласен. Литературы о природе, на мой вкус, маловато, но кое-что набирается. Книга Тоби Ланкфугена просто шедевр.

Гувер:

— Я не за всем уследила. Да, конечно. Удивляет, сколько среди претендентов громких имен. Может, стоит сразу продвинуть их в следующий раунд?

Эллисон:

— Давайте.

* * *

Наступило и прошло Рождество. Мать еще больше окрепла физически, но с головой стало совсем плохо. Мой редактор позвонил моему литературному агенту с радостной новостью: из-за повышенного интереса “Блять” выйдет раньше намеченного срока. Но даже узнав о выходе книги в марте, я и предположить не мог, что в январе открою пухлый конверт на имя Телониуса Эллисона и обнаружу в нем сброшюрованные гранки “Блять” с просьбой включить роман в число соискателей Книжной премии.

Дилемма: я, Телониус Эллисон, отказываюсь признавать, что я же и есть Стэгг Ли, автор ро-

мана “Блять”. Но вот книга передо мной. Заявив самоотвод, мне придется признаться в авторстве.

Решение: плевать. Кому в здравом уме может прийти в голову дать этому роману премию?

* * *

Ага.

* * *

Я стал затворником. Передо мной лежала стопка писем от друзей — я их даже не распечатал. Рядом лежала стопка конвертов из разных университетов — скорее всего, с просьбами прислать рекомендации для соискателей должностей или от студентов, поступающих в аспирантуру. (Их я тоже не распечатал, поэтому это только предположение.) По поводу второй стопки совесть грызла меньше, чем по поводу первой. Из некоторых мест было по три-четыре письма, и я догадывался, что это приглашения на публичные чтения. Я редко их принимал — что за идиотский обычай! Всякий раз подмывало крикнуть: “А сами, что, не можете прочитать?” Один раз я всерьез подумывал привезти с собой пару коробок

книг и раздать их собравшимся, чтобы все сидели и читали молча. Я тоже буду молча читать, а в конце скажу: “Видите, оказывается, я вам вовсе не нужен”. Приглашали нечасто, что меня нисколько не задевало, но теперь я подозревал, что отсутствие ответа на приглашения сделало меня более желанным.

Я сел на диван в кабинете, закрыл глаза и представил, как могло бы выглядеть публичное выступление Стэгга Ли:

Площадка: Публичная библиотека Ист-Сент-Луиса, или Публичная библиотека Лансинга, или Публичная библиотека Вустера, или книжный магазин “Бордерс” в Филадельфии, Далласе или Джексонвилле, или книжный магазин “Уотерстоунс” в Бостоне, Нью-Йорке или Чикаго.

Прикид Стэгга: Желтые мешковатые брюки из шерсти. Черная шелковая рубашка с широкими рукавами и несколькими пуговицами на манжетах. Серый пиджак из акульей кожи, двубортный, с двумя шлицами; из нагрудного кармана выглядывает желтый платок. Серые носки. Черные лоферы с кисточками.

или

Черные брюки, черная рубашка, черная вяза-

ная шапочка, темные очки, черные армейские ботинки.

или

Пестрая дашики, белые брюки, сандалии, красная феска.

Стэгга должна представить Бекки Унгер — молодая белая женщина, представительница общества “Друзья книги”.

— Я так рада, что вы согласились у нас выступить, — шепчет она ему. — Мы слышали, вы очень… застенчивы. Ой, я не это имела в виду. Хотела сказать — непубличны.

— Есть хорошее слово “затворник”, — едва слышно говорит Стэгг.

— Затворник. Поняла.

Представительница “Друзей книги” встает и подходит к кафедре. Откашливается, и зал постепенно затихает.

— Спасибо всем, кто присоединился сегодня к нам, — говорит она. Снова откашливается. — Для меня большая честь представить нашего гостя, мистера Стэгга Ли. Знаю, всем хочется, чтобы он поскорее перешел к чтению, поэтому буду краткой. Мистер Ли — автор выдающегося дебютного романа… — Она оглядывает зал, собирается с духом, смотрит на свои руки и про-

износит: — “Блять”. — В зале раздаются смешки и приглушенный гул. — Этот дебютный роман стал оглушительным бестселлером и вот уже третью неделю держится на первом месте в списке продаж. Насколько я знаю, мистер Ли живет в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта книга много для меня значит. Когда я ее прочитала, у меня открылись глаза на жизнь чернокожих, и я смогла понять их боль. Давайте же вместе поприветствуем мистера Стэгга Ли.

Стэгг встает, подходит к кафедре, кивает мисс Унгер и поворачивается к залу. В первом ряду сидят две старушки — типичные васпы с голубыми буклями — нервничают, переглядываются. Стэгг говорит: “Спасибо за приглашение”. Голос едва слышен. В зале все как по команде подаются вперед, замирают, ловят каждое слово. Стэгг делает вдох и говорит:

*– **“Блять”**… — Слушатели откидываются на спинки кресел, словно отброшенные взрывной волной. —…основан на реальных событиях. — Голос вновь едва слышен, но зал отзывается одобрительным гулом. — Сама история, конечно, выдуманная, но правдиво показывает, каково быть черным в Америке. Зрелище не из приятных.*

— Так, все так, — доносится с задних рядов голос белого мужчины в бабочке.

— Когда я сидел в тюрьме, — взгляд на старушек с голубыми буклями, — я понял, что слова принадлежат всем и что в этом обанкротившемся обществе я могу отвоевать себе место, пользуясь данным мне Богом даром слова.

Аплодисменты.

*– **“Блять”** — мой вклад в нашу замечательную страну. Где черный, отсидев, может разбогатеть, просто рассказав правду о своем несчастном народе.*

Овация. Овация. Овация.

Стэгг открывает книгу.

*– **“Блять”**. — Слушателей снова отбрасывает назад, но они тут же подаются вперед — внимать. — “Мать вылупилась на меня и Дебеллу и обзывает атребьем…”*

* * *

Несмотря на название, “Блять” была выбрана Кенией Данстон (или тем, кто принимает такие решения за нее) для обсуждения в ее книжном клубе. В издательстве воодушевились: это означало, что нам каким-то образом перепадет крупная сумма. Но одно из условий — участие Стэгга Ли в

шоу Кении Данстон. Это было паршиво, и во мне боролись два чувства: страх и ненависть. Страх, что меня разоблачат. Ненависть — к самому себе. Но деньги были слишком серьезными, почти удваивали мой аванс. *Il faut de l'argent*[70].

— Что ты собираешься делать? — спросил Юл.

— Ты хочешь спросить, что собирается делать Стэгг Ли, — сказал я.

— Пожалуй.

— Думаю, в назначенный час автор явится в студию.

— Господи…

* * *

Я вернулся домой от матери с мыслью о том, что впечатление, будто физически она в порядке, было самообманом. Тело казалось крепким лишь на фоне ее умственной деградации. Мать умирала. Я подумал, что ей, возможно, было бы лучше умереть — и тут же испытал чувство вины, которое счел естественным в такой ситуации. В голове это звучало так же ужасно, как теперь выглядит на бумаге. Откуда мне было знать, что доставляет ей удовольствие в том мире, где она

---

[70] Примечания: 70
Нужны деньги *(фр.)*.

пребывала? Я ведь только видел, что редкие, мимолетные проблески сознания были для нее мучительны и жестоки. В тот вечер я надел кроссовки и отправился на пробежку, решив держать в форме хотя бы свое тело.

* * *

Corpora lente augescunt, cito extinguntur[71].

* * *

Не поехать утром к матери было легко, трудно, мучительно, в чем-то даже приятно и страшно. Я был примерным сыном, порядочным человеком, опорой семьи, но мне нужно было выкроить время, чтобы побыть собой. В каком-то смысле это была репетиция: вскоре мне предстояла поездка в Нью-Йорк на заседание жюри премии и на телезапись с участием Стэгга Ли. Я ходил взад-вперед по дому, убеждая себя, что именно сегодня впервые за последние двенадцать дней мать проснется с ясной головой, грустно взглянет на молодую сестричку, которая придет менять ей подгузник, и скажет: “Где же мой Монкси?” Я

---

[71] Примечания: 71
Жизнь зреет медленно, а гаснет мгновенно *(лат.).*

постарался сбросить груз вины с плеч, если это вообще возможно. Вина как плохой одеколон — пропитывает тебя своим запахом. Я ненавидел в людях три вещи: тяжеловесный юмор общественных деятелей, показную и нарочитую самокритику и выставляемое напоказ чувство вины. Я гордился тем, что сам был виновен лишь в двух последних.

На следующий день я поехал к матери. Она как будто еще больше сдала, уж точно не поправилась, а если вчера у нее и был просвет, сегодня от него не осталось и следа — все было как обычно. Мать сидела на стуле, сцепив узловатые руки на коленях, и смотрела прямо перед собой, в пустоту.

На обратном пути я заехал в магазин за тем, чем привык питаться: йогуртом, фруктами и супами быстрого приготовления в стаканчиках. Из магазина вышел с тремя сумками — дыню положили в отдельную. У края тротуара стоял мужчина примерно моего возраста, но все же старше, побитый жизнью. Он показал на меня пальцем и пропел:

Хлеб и вино,

Хлеб и вино,

Но хотя бы крест твой
Не тянет тебя на дно[72].

Я стоял всего в полутора метрах от него. Чувствовал запах заношенного грязного пальто. Мог пересчитать морщины вокруг глаз. Кажется, я его немного напугал. Он попятился и едва заметно ссутулился, словно готовясь в любой момент пуститься наутек. Я кивнул ему и сказал: “Ты прав”. И протянул сумку с дыней. Он принял от меня мою ношу и пошел прочь, дважды с подозрением оглянувшись. Я полез в карман за ключами от машины, а когда снова бросил взгляд туда, куда он ушел, — его уже не было, как сквозь землю провалился.

* * *

Телониус, Монк и Стэгг Ли летели в Нью-Йорк одним рейсом и, увы, в одном кресле. Я подумал, что этот фарс может плохо кончиться, и у меня действительно произойдет раздвоение личности. Но, потягивая сок, пока самолет преодолевал затянувшуюся зону турбулентности, я сумел убедить себя, что все это всего лишь спектакль.

---

[72] Примечания: 72
Рефрен из афроамериканского спиричуэлса *“Bread and Wine”*.

Я просто играл роль, не больше и не меньше, и за игру мне платили щедро и вполне заслуженно. Все трое, разумеется, прибыли в Нью-Йорк в моем облике — некогда Монкси в глазах матери, некогда художник — в собственных. Я заселился в отель “Алгонкин”, забронированный сотрудниками Национальной книжной ассоциации, занес в номер чемоданы и лег вздремнуть.

Комиссия заседала после обеда, и я сидел между Айлин Гувер, от которой пахло чесноком, и Йоном Полом Сигмарсеном, который почему-то пах рыбой. Мы находились в просторном конференц-зале с окном, выходившим во внутренний двор. Обсуждали по очереди каждую книгу, Сигмарсен и Томад были наиболее эмоциональны в своих оценках, Уилсон Харнет — утомительно дипломатичен, а Айлин Гувер то следила за разговором, то как будто из него выключалась. Возможно, мое участие в обсуждении было самым проблематичным: я внимательно слушал и почти не говорил. Примерно через час случилось нечто ужасное. Словно выскочив из засады, словно она все это заранее спланировала и отрепетировала специально для меня, Айлин Гувер заговорила про “Блять”.

— Ну что, все уже прочитали “Блять”?

Прочитали все, кроме Сигмарсена.

— А вы? — спросил меня Харнет.

— Пролистал, — сказал я. — Меня как-то не зацепило.

— А по-моему, это просто великолепно, — сказала Гувер.

— Смелая вещь, — вставил Томад.

— Соглашусь, — сказал Харнет. — Думаю это самый сильный афроамериканский роман из тех, что я читал за последние годы.

— Прочту сегодня же, — с энтузиазмом сказал Сигмарсен.

— Полагаю, он наверняка окажется в нашей двадцатке лучших, — сказал Харнет.

— Иначе и быть не может, — сказала Гувер.

— Похоже, придется читать, — сказал я.

Все это подействовало на меня удручающе. Ноги налились свинцом, засосало под ложечкой, руки стали холодными. Ничто не могло бы напугать меня сильнее и вызвать больший протест. Я скорее включил бы в “нашу двадцатку” сценарий

фильма “Рождение нации”[73], чем этот роман.

Я вернулся в номер вне себя. Ходил из угла в угол. Потом посмотрел “Подражание жизни”[74]. Потом снова ходил. Заказал ужин, но так к нему и не притронулся.

* * *

Утром после бессонной ночи я принял душ, оделся, взял такси и поехал по адресу, который нашел в отцовских бумагах, в дом, где когда-то жила Тилли Макфадден, сестра Фионы. Под одной из кнопок домофона по-прежнему значилось “Макфадден”, и я нажал на нее. Дверь зажужжала, открываясь, и я оказался у подножия узкой лестницы. Когда-то этот типичный для Нью-Йорка дом из коричневого камня — браунстоун

---

[73] Примечания: 73

“Рождение нации” (1915) — американский немой фильм Дэвида Гриффита по произведениям Томаса Диксона “Пятна на шкуре леопарда”. Фильм называли “самым спорным в истории США” и “самым отвратительно расистским в истории Голливуда”. В фильме афроамериканцы показаны глупыми и сексуально агрессивными по отношению к белым женщинам, Ку-клукс-клан — героической силой, спасающей американские ценности, защищающей белых женщин и поддерживающей превосходство белых.

[74] Примечания: 74

Одноименный роман Фанни Хёрст (1989–1968) экранизировался дважды — в 1934 и в 1959 гг. Несмотря на мелодраматический сюжет, одна из главных тем фильма — взаимоотношения афроамериканцев и белых на примере истории одной семьи.

— выглядел чище и лучше, но и сейчас был еще пригоден для жилья. Я поднялся по лестнице на четвертый этаж и увидел приоткрытую дверь. Постучал.

— Заходи, — донеслось изнутри.

Я вошел и услышал:

— Ты кто такой?

Передо мной был белый лысый бугай без рубашки, с кольцом в губе и огромной татуировкой, закрывавшей все левое плечо и левую половину груди. Туша — килограмм на сто тридцать. Он как раз закончил натягивать один ботинок и теперь мучительно возился со вторым. Честно говоря, мне стало не по себе.

— Меня зовут Телониус Эллисон.

— Ну и что, блять?

— Надеюсь, вы мне поможете, — сказал я и уставился на его татуировку. На ней был изображен лес, посреди которого тигр сражался со змеей.

— Если будешь денег просить, я из тебя отбивную сделаю.

— Ты скинхед? — спросил я. Вопрос сам слетел с языка. Из чистого любопытства.

— Пошел нахуй отсюда, — сказал он, грузно поднимаясь на ноги — одна была в ботинке, другая — в носке.

— Я ищу Тилли Макфадден, — сказал я.

— Опоздал лет на десять, — сказал он. — Умерла она.

— Мои соболезнования.

— Нахуй они мне. — Тут он почему-то опять сел. Возможно, устал стоять.

— Ты ее сын?

— Тебе-то что? — Он уставился на меня, набычившись.

— Вообще-то я ищу ее сестру Фиону.

— И она умерла, — сказал он. — Ты бы еще лет через пять пришел. — Его это, похоже, развеселило. — На кой они тебе вдруг сдались? — Он вел себя так, будто учуял запах денег.

— Я ищу твою двоюродную сестру Гретхен. Она тоже умерла?

Он бросил шнуровать ботинок и выпрямился.

— Не, эта жива-здорова. Зачем она тебе?

Я решил не тянуть резину.

— Похоже, она моя единокровная сестра.

— Так я и знал, — сказал он и слегка покачал головой. — Всегда говорил, что в ней кровь черножопых. Мать отрицала, но я нутром чуял.

— Где она сейчас, знаешь?

— Может, и знаю. Чего она тебе вдруг понадобилась?

Я посмотрел на распятие на стене рядом со свастикой.

— Вообще-то это мое личное дело.

— Ага, только ты не знаешь, где она, а я знаю.

— Может, хоть фамилию назовешь?

Он растянул губы в улыбке, но ничего не ответил.

— Сколько? — спросил я. — Сто? — Я уже достал деньги из кармана. — Двести? — Никакой реакции. — Здесь двести пятьдесят. Если отведешь меня к ней — твои.

— А если я тебе просто дам в бубен?

— Слишком много возни. Проще отвести.

Злобная, подлая усмешка искривила безобразное рыло, и меня захлестнула ненависть. Он опять принялся шнуровать ботинок — неясно зачем: то ли бить меня собирался, то ли вести к Гретхен.

— Пошли, — сказал он.

Мы прошли несколько кварталов от его дома до другого такого же браунстоуна. Он тащил свою тушу довольно бодро, но пыхтел так, что, казалось, вот-вот начнет отдавать концы. Меня передернуло от мысли, что, если он свалится, мне придется его откачивать. Кроме того, я все время ждал, что он вдруг развернется и кинется

на меня с кулаками, или что мы наткнемся на его неонацистских дружков и те просто оставят меня подыхать на тротуаре. Тут стоит отметить, что если раньше у меня на душе было просто темно, то теперь мрак как будто сгустился, стал почти осязаем и угнетал меня не меньше самой ситуации. Этот бугай приходился мне родственником. Он был двоюродным братом моей единокровной сестры, а значит, моим троюродным сводным братом. Родство, прямо скажем, не самое близкое, но достаточное, чтобы меня от этого ощутимо мутило.

— Она на третьем этаже, — сказал скинхед. — Хэнли ее фамилия.

Он выставил руку с красными костяшками, ожидая платы. Я отдал ему деньги и посмотрел, как он уходит. На углу он оглянулся с уже знакомой злобной усмешкой.

Поднявшись на крыльцо, я увидел наклейку “Гретхен Хэнли” под одной из кнопок и позвонил.

— Кто там? — спросил женский голос из домофона.

— Мисс Хэнли?

— Да.

— Меня зовут Телониус Эллисон. Я хотел бы с

вами поговорить.

Повисла долгая пауза, потом дверь, зажужжав, открылась. Я быстро потянул ее и вошел в подъезд, который оказался в еще более плачевном состоянии, чем в доме ее двоюродного брата. Я только теперь заметил, что на улице стало жарко и что я изрядно взмок от ходьбы и карабканья по лестницам. Заправив рубашку и отдышавшись, я постучал.

* * *

Если у нас и было семейное сходство, я его не заметил. Гретхен, безусловно, была привлекательной женщиной: широкие плечи и бедра, довольно высокая, со светло-каштановыми волосами ниже плеч и карими глазами. Где-то в углу заплакал младенец, и, открыв мне дверь, она тут же обернулась к нему.

— Гретхен? — сказал я.

— Она самая. — В голосе слышалось раздражение. — Чем могу помочь? — Я уловил акцент.

— Я сын Бенджамина Эллисона, — сказал я.

Она взяла малыша на руки, прижала головку к своему плечу и подняла на меня глаза. За спиной у нее было окно, и я не мог разглядеть выражения ее лица.

— Вашу мать звали Фиона?

— Да. — Она шагнула вперед и всмотрелась в меня. — Значит, вы мой брат? — Улыбнулась, и в этой улыбке мне почудилось едва уловимое сходство со скинхедом. — А что наш папочка — помер?

— Да.

Ее как будто немного отпустило: она села к столу и стала укачивать младенца.

— Вряд ли это что-то изменит, — сказал я, — но отец не знал, где вы. Скоро уже семь лет, как он умер. Я бы никогда не узнал ни о вас, ни о вашей матери, если бы не нашел его письма.

Гретхен пристально смотрела на меня, и я понял, что она разглядывает мою одежду. Я оглянулся по сторонам и увидел, что живет она тяжело. В комнате было достаточно чисто, но на всем лежала печать нужды. Пластиковый стол, который в светлой загородной кухне мог бы выглядеть даже стильно, здесь был явно не к месту, весь в пятнах и вмятинах — отметинах прожитых лет. Одного взгляда на диван хватало, чтобы понять: с обратной стороны подушки еще сильнее заляпаны.

— Это моя внучка, — сказала Гретхен. — Сижу вот с ней, пока дочь на работе. Потом сама ра-

ботать иду. Завтра будет то же самое. Один день похож на другой. А вы чем занимаетесь, мистер Эллисон?

— Я писатель.

— Как замечательно. — Она посмотрела на лицо малышки, тронула его пальцем. — Писатель. Университет закончили?

— Да.

— Как удачно. Вас там, наверное, многому научили. — Малышка принялась было канючить, и Гретхен довольно резко шикнула на нее. — Всегда говорю: поддерживайте Фонд помощи чернокожим студентам.

Она мне не нравилась, но, с другой стороны, ничего, кроме обиды и язвительности, я и не ждал.

— В общем, — сказал я, — отец перед смертью написал вам письмо. Я недавно его нашел и разыскал вас. — Я положил письмо на стол и пододвинул к ней.

Она смотрела на письмо, но не разворачивала.

Я пододвинул себе стул, сел и стал разглядывать ее лицо. На меня вдруг накатила тоска, чувство жуткого одиночества, и я не мог понять, было ли это отражением того, что чувствует сейчас Гретхен, или моим собственным ощущением. Вдобавок, я почему-то считал себя виноватым за

ту нищету, что нас окружала.

— Значит, вы мой брат.

Я кивнул.

— У меня есть еще братья и сестры?

— Есть еще один брат. А сестра умерла. — Я посмотрел на грязное окно. — Я пришел не для того, чтобы бередить старые раны. Отец, похоже, хотел, чтобы его письма нашли, и нашел их я. Насколько я понял, он очень любил вашу мать. Думаю, он хотел вас разыскать, но не представлял как.

— Вы же разыскали.

Она была права, и возразить было нечего.

— Отец оставил вам деньги. — Я достал чековую книжку и ручку.

— Деньги?

Я не уловил, было ли в ее вопросе больше удивления или негодования. Щелкнул ручкой, выдвинув стержень, и повторил:

— Да, мисс Хэнли, отец оставил вам деньги. — Выписал чек на сто тысяч долларов и без колебаний (что меня самого удивило) протянул ей. Никогда раньше я не выписывал чеков на такую сумму. Ощущение было странное, даже голова немного кружилась.

— Вы подумайте, — сказала она, не глядя на

чек. — И это все искупает, да? — Она обвела взглядом комнату, словно осматривая ее моими глазами. Словно приглашая меня увидеть, в каких условиях она живет.

— Вряд ли, — сказал я, поднимаясь со стула. — Я просто выполнил свой долг. Всего доброго. — Повернулся и вышел на лестничную площадку.

Она подошла к двери и распахнула ее, когда я уже шел вниз по лестнице.

— Это настоящий чек?

— Да.

17

Только распола́жишься на ночь у дороги,
Сразу гонит в шею полицейский строгий.
Вечное вдогонку: “Шевелись быстрей!”
И куда ни ступишь, ничего не смей.[75]

Обратно в гостиницу я решил идти пешком: денег на такси не осталось, а спускаться из своего ада в ад нью-йоркской подземки не хотелось. Прогулка, впрочем, не особенно помогла. На фоне моей внезапно объявившейся родни Стэгг Ли уже не казался просто нелепой выдумкой, а обретал слишком реальные, горько-ироничные очертания. Сидя в квартире Гретхен, я вспомнил клинику моей сестры — женщин, ожидавших приема, детей у них на коленях, младенцев,

[75] Примечания: 75

Куплет из песни “Как выжить, если не скитаться” *(“How Can You Keep Moving (Unless You Migrate Too”)*, написанной Агнес Каннингем в 1948 году и получившей широкую известность после исполнения Пита Сигера и Рая Кудера в 1972 г. Песня перекликается с романом Джона Стейнбека “Гроздья гнева”: бедные рабочие люди вынуждены уезжать с насиженных мест в поисках заработка, но им нигде не рады, и они не могут ни осесть, ни вернуться домой.

ползавших по вытертому ковру. Я остановился у витрины небольшой галереи и стал рассматривать выставленные в ней фотографии — мрачные виды безымянного грузового порта, снятые широкоугольным объективом. Людей ни на одном снимке не было, только корабли, краны, бетон и вода. Фотографом значился некто Броктон, и я задумался, что он сделал с людьми, как ему удалось полностью стереть их со снимков.

Я пошел дальше и над зданием склада увидел рекламный щит, привлекший мое внимание разве что свежестью своей краски:

сохраним америку чистой

* * *

Стэгг Ли выходит из своего гостиничного номера 1369. Одет во все черное: черные туфли, черные брюки, черная водолазка, черный пиджак, черная борода, черная фетровая шляпа. Стэгг Ли черен с головы до пят, вдоль и поперек, отныне и во веки веков. Пружинистым шагом он движется к лифту по ковровой дорожке, как по наклонной плоскости — все быстрее, вниз, в темноту.

precibus infimis[76]

Двери лифта смыкаются — створка к створке. Внутри пожилой чернокожий мужчина в скромном коричневом костюме. Он нажимает кнопку “Лобби” и смотрит на светящуюся панель: на ней в убывающем порядке загораются цифры этажей. Не глядя на Стэгга, он спрашивает:

— Вы инженер?

– *Инженер*?

— Вам что-то непонятно в моем вопросе? — произносит он вызывающе.

— Нет, сэр, я не инженер.

— Жаль, — говорит старик. Двери открываются.

Когда мужчина выходит, Стэгг говорит:

— Хотя в каком-то смысле, да — инженер.

Но старика уже нет.

ridentem dicecre verum quid vetat?[77]

В лифт заходит Айлин Гувер и тычет в кнопку “Лобби”, хотя видно, что она нажата. Айлин не смотрит на Стэгга, но он чувствует, что она заме-

---

[76] Примечания: 76

Наисмиреннейшими мольбами *(лат.)*.

[77] Примечания: 77

Что мешает говорить правду, смеясь? *(лат.)* — фраза из поэмы Горация (“Сатиры” 1.1.24).

тила все — его цвет, его абсолютную черноту, его рост, его длинные пальцы, его большие ступни. От нее слишком сильно пахнет духами с ароматом гардений. Она касается рукой подвески в виде сердечка на шее. Потом поворачивается к Стэггу с настороженной улыбкой и спрашивает:

— Мы знакомы?

— Не думаю.

— Но где-то я вас видела.

— Правда? Наверное, просто лицо такое. Бывают такие лица.

— Да, наверное.

Двери открываются.

medio tutissimus ibis[78]

Стэгг едет в студию на метро. Поезд рокочет, и так же рокочет желудок Стэгга. Он умирает с голоду. Рядом рокочут другие животы. Стэгг зажат в вагоне среди других чернокожих. На улице все залито солнцем, а они плывут под землей, как тени — каждый к своей остановке.

---

[78] Примечания: 78

Держись золотой середины *(лат.)* — строчка из “Метаморфоз” Овидия.

* * *

В студии Стэгга встречает молодой человек по имени Тод Вейсс, одетый с иголочки. Когда они пожимают руки, Стэгг отмечает мягкость его ладоней. Но самоуверенности Вейссу не занимать. Он продюсер, и стоит ему щелкнуть пальцами, как кто-нибудь срывается с места. Он расплывается в широкой улыбке и проводит рукой по волосам.

— Мы вам так рады, так рады! — говорит Вейсс. — Не представляю, что бы мы делали, если бы вы не приехали. Нам сказали, что вы вообще можете не появиться, но, слава богу, вы здесь. Это прекрасно. Книга просто супер. Пойдемте, я отведу вас в гримерную.

— Без грима, — говорит Стэгг, и голос у него ровный, черный.

— Но это же телевидение.

— Какая разница, я буду за ширмой.

— Точно так. Как же я не подумал об этом. — Вейсс хватает пробегающего мимо ассистента. — Найди ширму, *pronto*! — Снова Стэггу: — На мне тут тысяча дел. Препоручаю вас Дане.

До этого момента Даны не было видно. Она моложе Вейсса, чернокожая, хрупкая. Предлагает

проводить Стэгга в комнату ожидания. Вейсс уходит. Дана ведет Стэгга по длинному коридору, каблуки цокают по деревянному полу. Она не упоминает о книге, молча открывает перед ним дверь и закрывает ее, когда он проходит внутрь. Стэгг садится.

Дверь открывается.

* * *

— Монк? — Это оказался Юл. — Ты ли это?

— Заткнись, — сказал я.

Юл сел на диван рядом со мной и уставился на мою бороду.

— Так себе маскировка.

— Сойдет. Я все равно буду за ширмой.

Юл покачал головой.

— Ты ходишь по лезвию ножа, дружище.

Я спрятал лицо в ладонях — борода мешала. Хотелось плакать. Я был так потерян, так одинок. Посмотрел на Юла.

— Кто-нибудь, кроме тебя, знает?

— Никто, даже у меня в офисе. Ну, Изабелла, бухгалтер, в курсе, но она почти не говорит по-английски. Вряд ли она что-нибудь поняла.

— И все это ради денег, — сказал я.

Юл кивнул, усмехнувшись.

— А может, и нет, — добавил я.

Юл помолчал, глядя мне в глаза.

— В смысле?

Я покачал головой:

— Не знаю.

* * *

— Мистер Ли, осталось десять минут, — говорит Дана из-за двери.

* * *

Я повернулся к Юлу и спросил:

— Как думаешь, еще можно нырнуть обратно в нору и затаиться?

— Боюсь, что нет. Потом, когда сбросишь маску, ты оглянешься на этот цирк и будешь смеяться. Но самое забавное — хотя я знаю, как тебе неприятно такое слышать: вся эта история наверняка подстегнет продажи и других твоих книг.

— Сброшу маску? — Я покачал головой. — Никто никогда не узнает, что я автор этого дерьма. Слышишь?

— Слышу, слышу, успокойся. Не выходи из роли.

И Юл был прав: испугавшись разоблачения, я и

не заметил, как Стэгг Ли ускользнул от меня. Пришлось закрыть глаза и заново в него вжиться. Я сунул руку в карман, достал темные очки, надел.

– *Блять*! — сказал я.

* * *

— Прошу тишины! — кричит кто-то.

Дана подводит Стэгга к стулу за ширмой. Подходит Кения Данстон. В жизни она оказывается такой же фальшивой, как на экране. Разве что чуть полнее.

— Стэгг Ли, дружище, я бы тебя из миллиона узнала, — говорит Кения. Она обнимает Стэгга как старого любимого друга. — Ничё так ты книгу накатал. Прямо ух.

— Пора, мисс Данстон, — говорит юная ассистентка.

— Пора, — говорит Кения. — Пора.

И выходит из-за ширмы.

* * *

Не получилось ли так, что, стерев собственную личность, я тем самым утвердил Стэгга Ли как самостоятельную фигуру? Или это все-таки книга вызвала его к жизни? Вот он — у всех на виду, и

публика им восхищается. А что будет, если мне не хватит дыхания, если придется вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха? Убью ли я Стэгга, чтобы заставить его замолчать? И почему я думаю о нем как о человеке, способном на самостоятельные поступки? Почему вообще задаюсь этими вопросами? Что все это значит? А ничего не значит, а значит, это значит все.

* * *

Звучит знакомая музыкальная заставка. Зал подпевает. Представляют Кению Данстон. Зал ревет. Кения буквально светится от восторга. Улыбка во весь рот, глаза сияют.

— Я рада приветствовать в нашей студии Стэгга Ли, автора романа, который вот-вот выйдет в свет. Это будет бестселлер, и, насколько я знаю, права на экранизацию уже проданы. Вы только представьте! Это же его первый роман. Но должна вас предупредить: наш гость страшно застенчив и согласился прийти только при условии, что будет оставаться за ширмой. Так давайте же поприветствуем силуэт Стэгга Ли, автора романа… — Она запинается. — Что мне с этим делать? Ладно, произнесу — и будь что будет. Итак, Стэгг Ли, автор романа “Блять”.

Аплодисменты.

— Как жизнь, Стэгг?

— Нормально.

— Книга прям ух.

— Да.

— Не расскажешь про то, как она родилась?

— Нет.

— Ну все же. Это реальная история? Поделись: было ли в твоей жизни событие, подтолкнувшее тебя к тому, чтобы написать такой захватывающий и до ужаса правдивый роман?

— Не думаю.

— А язык! Я как будто там побывала. А напряжение! Пока читала, сердце так и выпрыгивало.

— Спасибо.

— Персонаж Го Дженкинс с кого-то списан?

— Нет.

— Тебя непросто разговорить, да?

— Да.

— Что ж, может, после рекламной паузы ты ответишь на вопросы из зала.

* * *

— Вот ведь сукин сын, — говорит Кения. — Ни хрена из него не вытянешь. Чего он вообще сюда приперся?

Вейсс опускается на колено рядом со Стэггом.

— Пожалуйста, очень прошу вас, не молчите. Скажите хоть что-нибудь. Предложите покупать книгу, в конце концов. Хоть что-нибудь.

5
4
3
2
1

— Мы снова в эфире. Напоминаю: у нас в гостях Стэгг Ли. Он пришел *поговорить* о своем первом романе “Блять”. Ну, что, Стэгг, освоился немного?

— Не очень.

Общий переполох. Неловкая пауза. Гудение зала. Дана хихикает в кулак. Камера скользит по лицам зрителей и возвращается к Кении.

— Что ж, нас предупреждали про застенчивость нашего гостя. Как видите, это правда. Пожалуй, сейчас самое время прочитать отрывок из его блестящего романа.

Кения открывает “Блять” и читает:

Я люблю Клеону и ненавижу Клеону. У меня в башке два нигга размером с фигу. Нигга А и Нигга Б. Нигга А советует: остынь, бро, че ты ей можиш дать, кроме голой жопы, пусть топает в свою

школу на матиматику, инглиш и соцуху — может, выберица из гетто. Это ее шанс, риал шанс стать медсестрой — она ж, правда, этава хочит. А Нигга Б ржет и подначиваит: да тащи ты эту пи-и-п *домой и всунь пару разиков. Че за дела — с ниггой на джипе у тебя на глазах сюсюкаца. Зарвалась вконец. Она тебя поимела — теперь ты ее поимей. А потом с* пи-и-п *на джипе разберешся. Тащи давалку домой и отдери по полной. Вспомни как тебе с ней зашло, как она верищала ой-ой-ой больно. Взорви ей там все.* Пи-и-п *школу.* Пи-и-п *быть медсестрой. Пусть сдохнет в гетто.*

Тащимся к ней и вижу: пацаны в баскет рубяца. Думаю: я хренову тучу лет не играл. А раньше жог. Вылетал из-за дуги на слэм-данк, нефиг делать. Джампшот тоже был зашибись, но пи-и-п, *как попасть в колледж и накалотить бабок, если ты никто и звать никак, а эти* пи-и-п *тебя еще из школы поперли. А сосать у тренера, чтоб включил в команду, не мое. Нада было ломица, пока был в форме, пробоваца в "Лейкерс". Я б классно вписался. Шоутайм: я и Мэджик. Без всяких там тренировок, я и так всех рвал на паркете.*

Клеона отпирает дверь, мы заходим, она оборачиваица и такая:

— Гони деньги.

— Неспиши, бэби, — мурлычу. — Давай ты мне сначала покажиш, где бэби спит.

— А то ты не знаиш, где бэби спит. Бэби спит в моей комнате, но туда мы точно не пойдем. Гони деньги.

— Налей хоть водички с ледиком, — прашу.

Тяжело вздыхает и шурует своими ножищами на кухню.

Плюхаюсь на диван, гляжу — новье. Лапаю обифку и думаю: вот сука, откуда здесь эта хрень. Тока из магаза.

Клеона возвращаица в комнату, сует мне стакан с водой и стоит как дура. Я такой: "Диваньчик новенький".

А она: "Ну и че?"

— Откуда вы с матерью бабки на него взяли?

— Тебя не касаица.

— Ваще-то, — гаварю, — если мать моего бэби на мебель пи-и-п *зарабатывает, очень даже касаица. Можит, тебе мои бабки больше не нужны.*

— Ты мне раз в месяц на Рексалла давать должен.

— Должен не значит обязан, — гаварю и глазами по комнате шарю. — Пи-и-п *у вас тут добра.*

Отпиваю воды. Теплая.

— А лед где, пи-и-п?

Стоит пялица.

— Сорян, бэби, — гаварю, — С языка сорвалось. Иди ко мне, тут места вагон.

Пялица.

— Сядь уже, — велю.

Бухаица всей пи-и-п *аж диван трищит. Кладу руку ей на плечо — она вся настреме.*

— Да расслабься, Клеона, че ты. Дома ж никаво нет.

Тычу пальцем в ее сисяндру и шептю: “Тут мой бэби ужинает”.

Клеона настреме но хихикаит.

Мну ее буфера.

— Вот это сисяндра, — шептю. — Ну-ка посмотрим, чем ты кормишь маево бэби. Даш попробовать?

Она жмурица и типа такая: да. Оттягиваю ее рубашку, глядю на лошадиный лифан. Пробую сзади расстигнуть, но, пи-и-п, *не подлезиш. Велю: “Помогай давай”.*

Клеона заводит руки назад — одну через голову под воротник, другую сбоку под рубашку — расстегиваит пи-и-п. *Сисяндры вываливаюца, как подушки, как мешки с песком. Хватаю их и давай сосать. Она стонет, а я ей* пи-и-п *всякую шептю, че в голову лезет, а сам тискаю и сосю, тискаю и*

сосю. На стенных часах адин час. Пи-и-п, *у меня же стрелка с Жолтым и Тито в бильярдной, надо ускорица. Валю Клеону наспину и расстегивую ее штаны, про сисяндры не забываю, а она стонет. С такой* пи-и-п *штаны хрен стяниш, но я стягиваю и вгоняю по самые помидоры. Бэм — и я уже в ней! Клеона вижжит, а меня прет неподецки. Долблю как дятел, а она в слезы, глазища на меня выкатила и орет, чтоб слез. Но я уже в полтыке от кайфа, лыблюсь.*

— Прям завораживает, — говорит Кения, качая головой. — И да, я знаю: кто-то из тех, кто смотрит нас дома, сейчас, возможно, думает: ну и язык. Но поверьте, правдивее не бывает. За такой талант, друзья, полагаю, можно простить нашему гостю его застенчивость.

В зале раздаются аплодисменты, возгласы одобрения и поддержки.

Я выглянул из-под маски Стэгга Ли и увидел за кулисами Юла. Он слегка похлопал в ладоши, кивнул мне, чуть пожал плечами, а потом поднял вверх большой палец — от этого мне захотелось провалиться сквозь землю. Я отвел взгляд и уставился на свои ботинки, представив, как отражаюсь в их начищенной до блеска коже. По

другую сторону ширмы что-то тараторила Кения Данстон. Что именно — не имело ровным счетом никакого значения. Я встал и ушел.

Горемыка мокнет под дождем —
Бог не дремлет, да забыл о нем.
И звучит Браунс-Ферри блюз…[79]

[79] Примечания: 79

“Браунс-Ферри блюз” — традиционная американская блюзовая песня, впервые записанная в 1930-х годах братьями Додд. Названа по местности Браунс-Ферри в Теннесси.

18

В Вашингтон я летел сломленным и, пожалуй, еще никогда не был так близок к самоубийству. Представил, как суну голову в духовку, но поскольку мать давно сменила газовую плиту на электрическую, понимал, что в лучшем случае запеку себя заживо. Представил, как пущу в дело отцовский пистолет, но годы чтения научили меня, что в человеке слишком много мест, куда кусок металла может угодить без фатальных последствий — *и что тогда*? *Останусь там же, где и сейчас.* Вдобавок возник страх, что, очнувшись после трехлетней комы, я обнаружу на запястье бирку с надписью “Стэгг Ли”. От этой мысли меня передернуло, а женщина, сидевшая рядом, решила, что я так реагирую на любезно предложенный ею мятный леденец.

— Можно просто вежливо отказаться, мейт[80], — сказала она. Видимо, была из Австралии.

Я извинился:

---

[80] Примечания: 80

Mate (*англ.*) — приятель. Распространенная форма обращения в Австралии.

— Простите, просто задумался.

— Я тоже не люблю летать, — сказала она. — Что-то вид у вас невеселый.

Я кивнул. Разговаривать не хотелось, но один раз я уже проявил невежливость.

— Ох, невеселый. Уж не собираетесь ли сунуть голову в пасть крокодила?

— Надежный способ?

Она засмеялась. Сказала:

— Оттяпает подчистую. — Потом чуть отодвинулась, чтобы получше меня рассмотреть. — Не, мейт, вы норм.

— В каком смысле?

— В прямом: вы мне нравитесь. Но если решите себя прикончить, я буду говорить, что нравились. В прошедшем времени, понимаете?

— Понимаю.

— Вам бы в Австралию съездить, — сказала она. Она не была крупной женщиной, но звучала внушительно. — Есть у нас такие места в пустыне — по сравнению с ними даже ад покажется раем. Вернулись бы сюда и радовались каждому дождичку.

— Вы думаете?

— Отец мой любил повторять: “Когда тебе плохо, найди того, кому хуже, — и станет легче”.

— Просто поэт ваш отец.

— Вообще-то сволочью был порядочной. Зато я жизнь полюбила, пожив с ним рядом. Если понимаете, о чем я.

— Понимаю.

Она снова протянула мне мятный леденец, и на этот раз я взял его, развернул и положил в рот.

— Вообще-то ужасная гадость, — сказала она.

— А по-моему, ничего, — сказал я.

* * *

Телефонное общение с другими членами жюри удручало, раздражало и изнуряло. Все как один они были без ума от романа “Блять” Стэгга Ли.

“Лучший роман афроамериканского автора за многие годы”.

“Настоящая, жесткая, беспощадно правдивая проза”.

“Такая яркая, такая живая”.

“Энергия и дикость этого простого черного парня — как глоток свежего воздуха”.

“Думаю, ее будут изучать в школах, несмотря на мат. Такая в ней силища”.

“Важная книга”.

Хоть и был ты чернокожим,

Но сочтемся, подытожим:

Ты честней меня и лучше, Ганга Дин.[81]

* * *

В доме было холодно. Мать — без изменений. Жизнь — без изменений. У меня вышла новая книга, но, слава богу, никто не знал, что я ее автор. При этом продавалась она хорошо. Очень хорошо. Просто потрясающе. Я прочитал много книг, которые считал достойными, но мои коллеги по жюри и слышать о них не хотели. Короткий список состоял из пяти названий, но лишь потому, что таковы были правила.

Вот эти книги:
(1) “Традиции” Зины Лиснер
(2) “Монте-Кристо” Ж. Тонкина
(3) “Уйти с Луны” Хорхе Каррето
(4) “Счастье воина” Хуя Дуна
(5) “Блять” Стэгга Ли

Мы собирались еще раз обсудить финалистов

---

[81] Примечания: 81

Заключительные строки из знаменитого стихотворения “Ганга Дин” Редьярда Киплинга, впервые опубликованного в 1890 г. Строка “Ты честней меня и лучше, Ганга Дин” позаимствована из перевода Е. Витковского.

и выбрать победителя в феврале — на последнем заседании непосредственно перед церемонией награждения в Нью-Йорке.

* * *

“Das Seitengewehr pflanzt auf!”[82]донеслось до меня. Я вздрогнул, но не проснулся — только понял, что сплю и что вижу сон. То, что за мной явились фашисты, само по себе было страшно, но по-настоящему пугало другое: зная, что сплю, я все равно не мог проснуться. Я прятался в густых зарослях кустарника на закате. Передо мной расстилалось пастбище, за ним стоял французский фермерский дом, а дальше — фруктовый сад. Немцы выходили из сада, следуя команде: штыки примкнуты, винтовки наперевес. Они подожгли дом и пошли через луг, тыкая штыками в стога сена. Из горящего дома выбежала женщина, споткнулась, заплакала. Лица женщины я не видел, только картину в ее руках. Картину видел прекрасно, несмотря на расстояние и сгущавшиеся сумерки.

---

[82] Примечания: 82

Примкнуть штык *(нем.)* — т. е. прикрепить штык к винтовке, приготовиться к штыковому бою.

Это была “Звездная ночь”[83]. Солдаты вырвали у женщины полотно и пронзили его штыками. Я почувствовал резкую боль в животе, схватился за него, взглянул на свои руки и увидел кровь. Но продолжал твердить: “Это все сон. Сон”. За спинами солдат мужской хор пел “Песню Хорста Весселя”[84]. Потом “Звездная ночь” вспыхнула и запылала. Жар, которым меня обдало, был таким настоящим, что я вскрикнул. Солдаты услышали это, поняли, где я прячусь, и двинулись в мою сторону. Тут я обнаружил, что сижу в окопе с пулеметом пятидесятого калибра. Забыв о ранении, забыв про ожог, я начал стрелять и выкашивал солдат пачками. Они падали и катились по лугу, как консервные банки. Один солдат, несмотря на ранение, все же дополз до моего окопа, и в этот момент нацистский гимн сменился песней “Звезды падали на Алабаму”[85]. Солдат посмотрел на меня, на мою залитую кровью рубашку, и сказал:

---

[83] Примечания: 83

“Звездная ночь” — картина Винсента Ван Гога.

[84] Примечания: 84

Официальный гимн нацистской партии (НСДАП), один из самых зловещих символов Третьего рейха.

[85] Примечания: 85

“Звезды падали на Алабаму” (“*Stars Fell on Alabama*”) — название популярной американской песни 1934 года (музыка Фрэнка Перкинса, слова Митчелла Пэриша). Песня сделала выражение культурным клише, часто используемым как поэтический образ.

“Wie heißen Sie?”[86] И я не знал.

* * *

Я позвонил Биллу, но Билла не было дома. Его никогда не было ни дома, ни в офисе, нигде. Он ни разу не перезвонил, не оставил сообщения, не написал. Я подумал: может, он умер? Я подумал: какая разница?

* * *

В один из вторников, перед самым моим уходом, мне показалось, что мать словно вынырнула из забытья. Взглянула на меня из своей тьмы и сказала:

— Люди такие гордецы, Монкси. Тяжелее всего — сознавать, во что я превратилась. На пару секунд как будто что-то понимаю, а потом опять теряюсь. Хотелось бы сказать, что я все еще я — забилась в нору и выглядываю наружу, — но не уверена. В четверг у меня будет хороший день. Обязательно приезжай в четверг.

Когда я уходил, медсестра сказала, что мать навестили две ее подруги.

---

[86] Примечания: 86
Как вас зовут?*(нем.).*

— Постояли в ногах кровати, а она все время смотрела мимо — в окно, — сказала медсестра. — Ну и ушли. Одна из них уже приходила раньше. Было то же самое.

— Мать знает, кто вы?

Медсестра кивнула.

— По большей части. Но это в порядке вещей. Я для нее никто. Мебель.

В четверг, словно помня про обещание, мать улыбнулась мне своей, такой знакомой улыбкой и попросила поставить музыку.

— Что-нибудь мелодичное, — сказала она. — Можно Равеля. — Она поводила руками в воздухе. — Под Равеля так чудесно танцуется. — Я поставил диск, и она закрыла глаза. — Иногда мне кажется, твоему отцу было со мной скучно. Думаю, я его раздражала. Он никогда мне об этом не говорил, не показывал ни лицом, ни голосом, но я догадывалась. По мелочам: по тому, как двигался, как перелистывал страницы. Я знаю, что он меня любил, иначе не стал бы так тщательно прятать свое раздражение. Нам бывало хорошо вместе, Монкси. Мы с твоим отцом прекрасно ладили, но все же временами я себя чувствовала такой… ничтожной. — Она вздохнула, не открывая глаз. — Однажды я спросила, не устал ли он от

меня. Он покачал головой, улыбнулся и говорит: “С чего ты это взяла?” — Она глубоко вздохнула с грустной улыбкой. — Сколько раз себе обещала, что не стану старухой, пахнущей камфорным маслом. А ведь стала, да, Монкси?

— Я не чувствую никакого запаха, мама.

— Какой ты у меня славный. Совсем как твой отец.

— Мы столько всего себе обещаем в жизни, — сказал я.

— А ты что себе обещал?

Я посмотрел на ее спокойное лицо.

— Когда-то я дал себе слово не идти на компромиссы в искусстве.

Мать открыла глаза и сказала:

— Какое прекрасное обещание. Ты уверен, что от меня не пахнет камфорным маслом?

— Да, мама.

Глаза матери снова закрылись.

* * *

Я опять попытался дозвониться до Билла. Оставил сообщение. Без ответа.

* * *

Итак, мне удалось взять себя — писателя, — разобрать на части, пересобрать, а потом стереть в порошок, оставив после себя два творческих наследия, два тела, два образа, незаметно переходящих один в другой, но при этом разделенных высоким забором. Поймав свое отражение в зеркале, я вдруг понял, что мне больше нечего скрывать: то, чего обычно стыдишься, отсутствовало, и именно это заставило отвернуться. Каким-то образом я сам себе оттяпал

пипиську
стручок
хер
дрын
поршень
морковку
перец
жезл
член
писюн
елду
шланг
агрегат

огурец
штуковину
своего маленького друга

и теперь должен был за это расплачиваться. Спасение было в том, чтобы найти себя, но для этого (понимание пришло внезапно, как озарение) надо было окончательно себя потерять.

* * *

Еще один список ключевых слов (фраз):

отголоски
умершие
часы
гром
obstupefactus[87]
не глаза, а яйца-пашот
арабеска
кошмарь
и ты, Бруно?
особи
ночной
хам
$C_5H_{14}N_2$

---

[87] Примечания: 87
Ошеломленный, в состоянии ступора *(лат.).*

моральные скрепы
Лондонский мост падает
Может, у тебя это от жары?
танцующая кукла
линчевать
Хахал шалал хашбаз

* * *

Меня посетила страннейшая мысль. Я рассудил (нелепое слово, но, пожалуй, лучше не подберешь), что если побродить по улицам Вашингтона — скажем, в районе Четырнадцатой улицы и авеню Т, — то с большой вероятностью можно встретить человека, который и внешностью, и манерами был бы неотличим от Стэгга Ли, и тогда я смог бы его убить. Сперва, конечно, привел бы домой и накормил, а потом бы убил. Но как убить того, кто не существует? Вернее, существует — и это я сам? Я не просто сотворил гомункула; я сотворил его настолько качественно, что уже он сам, без моей помощи, явил на свет так называемое произведение искусства. Я чувствовал себя богом, созерцающим Гитлера или любого из множества террористов или конгрессменов. Я решил сделать все, чтобы “Блять” не была удостоена самой престижной книжной

премии Америки. Чтобы спасти себя, свое авторское “я”, надо было с собой разделаться. Вогнать копье в глотку выдуманному мной монстру, заставить его замолчать, прикончить, затолкать поглубже в темную дыру и убедить всех вокруг, что его никогда не существовало.

* * *

Рождество и Новый год прошли так, как я всегда об этом мечтал — незаметно. К середине января “Блять” поднялась на первую строчку в списке бестселлеров по версии “Нью-Йорк Таймс”, и еще два книжных клуба назвали ее книгой месяца.

Я просиживал ночи напролет над заметками для *настоящего* романа, но это была скорее имитация деятельности.

В полубреду от бессонницы я вспомнил миф об Икаре и сказал себе: да, Икар, конечно, рухнул на землю, но Дедал-то, как ни крути, долетел. Я решил, что Зенон чересчур медленно добирается до сути, а в теории Фалеса слишком много воды. Еще я понял, что альтернативы безумию не существует, а если из фиолетового вычесть синий, получится не красный, а лишь то, что кажется красным.

“Нью-Йорк таймс” 17 января

Блять
Стэгг Ли
Издательство “Рэндом хаус”. 110 стр. $ 23.95
Уэйн Ваксен

Новый роман неизвестного автора по фамилии Ли наделал столько шума, что написать на него объективную рецензию крайне сложно. Но, собственно, в этом и дело. Роман настолько честный, оголенный, сырой, грубый, жесткий и грязный, настолько “настоящий”, что нелепо думать об объективности. Подходить к нему с такой меркой — все равно что сравнивать представления о медицине индейцев Амазонии с современной медико-биологической наукой. Роман живет по своим законам: это их, черная тема.

Жизнь Ван Го Дженкинса точнее назвать животным существованием — и оно хорошо нам знакомо. Наш юный герой растет без отца, живет по законам гетто и чурается образования и здравого смысла, как чумы. Для него это естественно, нормально. Он грубый, жесткий, потерянный, и он внушает нам страх — это очевидно. Но он такой настоящий, что его нельзя не жалеть. Это тот самый отморозок, которому Грязный Гар-

ри[88] в конце фильма обязательно всадит пулю в лоб, и мы воскликнем: “Правильно, так ему и надо”, — а потом взгрустнем хотя бы потому, что стали такими черствыми.

Ван Го — отец “четвырёх” детей от четырех разных женщин. Он не платит алименты, нигде не работает и ни к чему не стремится — разве что стать матерым преступником. Его мать, которую он в первой сцене забивает ножом (впрочем, это оказывается сном), пристраивает его на работу в дом состоятельной чернокожей семьи. Красивая дочь хозяев обречена стать жертвой его преступных наклонностей.

Персонажи выписаны настолько ярко, что порой кажется, будто “Блять” — это не роман, а сводка из вечерних новостей. Гетто буквально оживает на его страницах, и за этот редкий шанс заглянуть в подноготную уличной жизни “на раёне” мы в неоплатном долгу перед автором. Роман написан блестяще, диалоги настолько правдивы, насколько вообще могут быть правдивыми диалоги — что называется, все “по чесноку”. “Блять”

[88] Примечания: 88

Культовый персонаж, герой фильма “Грязный Гарри” (1971, бескомпромиссный полицейский из Сан-Франциско, который знаменит тем, что решает все силой, стреляет первым, презирает правила и “мягкость” системы.

— непременно следует прочитать всем людям с ранимой душой, всем, кто хоть раз сталкивался на улице с подозрительным типом и задавался вопросом: “Да что ж это с ним?”

* * *

Считайте это насмешкой судьбы или удобным самооправданием, но от денег я не отказался.

* * *

Нью-Йорк. Обед для членов жюри состоялся в небольшом, но дорогом итальянском ресторане по соседству с гостиницей, где вечером должна была проходить церемония награждения. Я практически ни к чему не притронулся (уже несколько месяцев как не было аппетита), зато остальные были, похоже, особенно благодарны за возможность бесплатно поесть и выпить. Мы непринужденно болтали, и я понял, что все они прибыли на мероприятие в сопровождении жен, подруг и мужей, и на этом фоне я ощущал свое одиночество особенно остро.

Сначала я весьма терпеливо слушал, как мои коллеги выискивают недостатки у четырех финалистов — всех, кроме “Блять”. Потом совсем

пал духом, поняв, что все эти жалкие аргументы преследуют одну-единственную цель: объявить этот омерзительнейший роман победителем. Когда очередь дошла до меня, я начал с того, что подчеркнул достоинства других книг, но вскоре перешел к резкой, прицельной критике их фаворита.

— Дело не в том, что это плохой роман, — сказал я, потягивая вино. Потом поставил бокал на стол. — Это вообще не роман. Это несостоявшееся зачатие, несформировавшийся плод, семя, брошенное в песок, кисть без пальцев, слово без гласных. Это расистская книга: оскорбительная, бездарная и бессмысленная.

Уилсон Харнет, Айлин Гувер, Томас Томад и Йон Пол Сигмарсен смотрели на меня и молчали.

— Это не искусство, — сказал я.

Айлин Гувер сказала:

— По-моему, как афроамериканец, вы должны радоваться, что такую престижную награду присуждают одному из ваших.

Я не знал, что сказать, поэтому сказал:

— Вы в своем уме?

— Давайте воздерживаться от оскорблений, — сказал Уилсон Харнет.

— Я думала, вас обрадует, что кому-то удалось

так ярко рассказать о жизни вашего народа, — сказала Гувер.

— Герои этой книги так же похожи на мой народ, как Эббот и Костелло[89] на ваш, — сказал я и тут же подумал, что сравнение, возможно, не самое удачное.

— Я многое узнал из этой книги, — сказал Йон Пол Сигмарсен. — У меня довольно ограниченный опыт общения с людьми другой расы… с черными. Поэтому “Блять” стала для меня настоящим откровением.

— Я именно об этом и говорю, — сказал я. — Люди будут читать эту дрянь и думать, что так оно все и есть на самом деле.

Томас Томад рассмеялся.

— Это самый правдивый роман, который я когда-либо читал. Его мог написать только человек, отсидевший срок. Такое не подделаешь.

— Согласен, — сказал Харнет.

— О господи, — сказал я. Откинулся на спинку стула и уставился в окно, за которым был ясный день.

---

[89] Примечания: 89

Эбботт и Костелло — американский комедийный дуэт. Бад Эббот (1895–1974) и Лу Костелло (1906–1959) начали сниматься в кино в начале 1940-х годов, много выступали на радио и телевидении в 1940-е и 1950-е гг.

— Предлагаю голосовать, — сказал Сигмарсен.

— Поддерживаю, — отозвалась Гувер.

— Я не хочу голосовать, — сказал я.

— Боюсь, раз хотя бы двое поддерживают, придется голосовать, — сказал Харнет. — Кто за то, чтобы “Блять” стала лауреатом Книжной премии года, прошу поднять руку.

Разумеется, все четверо подняли.

— Похоже, у нас есть победитель.

— Вот она, демократия, — сказал я и попытался изобразить на лице то, что могло бы сойти за улыбку.

Они улыбнулись в ответ и заказали десерт.

* * *

У себя в номере я растянулся на кровати и стал думать, что делать дальше. Стэгг Ли получит Книжную премию, это неотвратимо. Я вспомнил, что побудило меня создать Стэгга, снова испытал злобу и раздражение на весь мир, и план действий постепенно сложился. Я оделся и, одеваясь, тихо напевал. Я не напевал уже очень давно; музыка ушла из моей жизни. Привычка напевать была у меня от матери. Язвительность — от сестры. Напускная заносчивость — от отца. И от брата у меня тоже что-нибудь было. Я знал,

что вечером с меня сорвут маску.

тарский[90]: *Мы ведь знакомы?*
карнап[91]: *Возможно.*

* * *

Церемония

Нас, членов жюри (не только по художественной прозе, но и по поэзии, нон-фикшн и детской литературе), посадили за столики с “важными” гостями. Это было кстати: своих “коллег” я уже видеть не мог. Я оказался в компании председателя совета директоров крупнейшей клинической больницы Бостона “Масс дженерал”, генерального директора “Дженерал миллс”, вице-президента “Дженерал моторс” и начальника отдела маркетинга из “Дженерал электрик”[92], — все с

[90] Примечания: 90
Альфред Тарский (1901–1983) — польско-американский логик и математик, один из основателей семантической теории истины и формальной логической семантики.

[91] Примечания: 91
Рудольф Карнап (1891–1970) — немецко-американский философ, представитель логического позитивизма, автор работ по логике, философии науки и языку.

[92] Примечания: 92
Американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, энергетических установок и газовых турбин.

супругами.

Когда все представились, я сказал:

— Так вот где проходят выездные сессии дженералитета.

Шутку встретили смехом.

Я сидел между женой “Дженерал моторс” и мужем “Дженерал электрик”, и, к моему ужасу, оба пытались вести со мной светскую беседу. Кончилось тем, что “Дженерал миллс” посмотрел через стол и театральным шепотом произнес:

— Ну, нам-то вы можете по секрету сказать, кто получит главный приз?

— Я, — сказал я.

Снова взрыв хохота.

— Надеюсь, работа в жюри не очень утомительна, да?

— Всего каких-то четыреста книг прочесть, — сказал я.

— Уф. Да я за всю свою жизнь не прочел и половины от этого количества.

— Конечно, прочел, дорогой.

— Не уверен.

— Трудно было выбрать победителя?

— Вообще-то нет, — сказал я. — Уже, наверное, месяц, как все стало ясно.

— А я знаю, кого вы выбрали. — Я посмотрел на

жену “Масс дженерал”. — Вы ведь мне скажете, права я или нет?

— Нет, не скажу, — сказал я. — Не имею права.

— Ох уж эта принципиальность художников.

Я усмехнулся, и все головы повернулись ко мне.

— Смешное слово “принципиальность”, — сказал я. — Щекотное.

Все закивали, будто говоря: “Писатель!” Потом беспокойно переглянулись, словно пытаясь найти какое-то иное объяснение моим словам, и успокоились, когда нашли: “черный писатель”. Но, возможно, мне это только почудилось от волнения.

Прошло награждение в других номинациях, зал аплодировал, но, как всегда, по-настоящему всех интересовал только главный приз. Уилсон Харнет поднялся из-за своего столика, вышел на трибуну и улыбнулся.

— Я знаю кое-что, чего вы не знаете, — сказал он.

Общий взрыв смеха.

Я оглядел зал и увидел Юла. Он тоже меня заметил и взглядом спросил, что происходит. Взглядом же я дал ему понять, чтоб не уходил.

— Перед нами стояла непосильная задача, —

сказал Харнет. — Говорят, столько заявок на премию никогда не поступало. Охотно верю. Мы прочли больше пятисот романов и сборников рассказов.

Зал ахнул, как по команде, *tutti*[93].

— Но мы занимались любимым делом. Выбрать победителя было непросто. Надеюсь, вы одобрите наше решение. Все финалисты, безусловно, заслуживают самых высоких похвал. Каждая из этих книг по-своему замечательна. Увы, им противостояла настоящая глыба — одновременно чудовище и красавица, как любим говорить мы, писатели.

— Вы правда так любите говорить? — спросила жена “Дженерал миллс”.

— Очень.

Харнет засмеялся без всякого повода.

— Конечно, я мог бы и дальше томить вас ожиданием, но не буду и просто назову победителя. В этом году жюри Книжной премии посчитало лучшим произведением в прозе роман “Блять” Стэгга Ли.

Свист, одобрительные выкрики, аплодисменты. “Браво! Браво!”

---

[93] Примечания: 93
В унисон *(ит.).*

— Надеюсь, мистер Ли сегодня здесь, среди нас, — сказал Харнет.

Я встал и начал пробираться к трибуне.

Но почему-то пол вдруг превратился в песок…[94]

Каждый шаг давался с трудом, голова кружилась так, будто меня накачали наркотиками. Вспыхивали фотовспышки, гудели голоса, и я не понимал, почему иду по песку — может быть, это сон? Справа были члены общества *“Nouveau Roman”*, рядом с ними Линда Мэллори и, кажется, библиотекарша из моей школы. Слева — отец, стоявший между двух женщин: в одной из них я узнал мать, а в другой угадал Фиону. За ними — брат, сестра и единокровная сестра. Были там и другие люди — лица вроде знакомые, но я их не узнавал. Все они теснились вокруг, подталкивали меня вперед. Вспышки ослепляли, и когда они гасли, зал на мгновение проваливался в темноту.

— А вот и один из моих коллег по жюри, — сказал Харнет. — Возможно, мистер Эллисон слышал что-то о том, где сейчас наш лауреат.

---

[94] Примечания: 94
Скрытая цитата из романа Р. Эллисона “Человек-невидимка”.

До трибуны оставалось еще ползала.

— Может, это их, черная тема, — сказал Харнет.

Смех.

Лица из моей жизни, из моего прошлого, из моего мира стали так же реальны, как нереальные лица Харнета и корпораций с их женами и мужьями. Все они обращались ко мне строками из моих любимых романов, но, когда я пытался повторить эти строки за ними, оказывалось, что не помню ни слова. Потом появился мальчик — возможно, я в детстве. Он поднес ко мне зеркало. В нем было лицо Стэгга Ли.

— Теперь ты свободен от иллюзий, — сказал Стэгг. — Каково это: быть свободным от своих иллюзий?[95]

— Я знаю эти строки, — произнес я вслух, понимая, что говорю в пустоту.

Когда я поднялся на трибуну, Харнет прикрыл рукой микрофон и спросил, что я творю.

— Ответ: “больно и пусто”[96], — сказал я.

---

[95] Примечания: 95
Скрытая цитата из романа Р. Эллисона “Человек-невидимка”.

[96] Примечания: 96
Скрытая цитата из романа Р. Эллисона “Человек-невидимка”.

— Вызовите скорую помощь, — сказал Харнет.

Я скользнул взглядом по лицам из своего настоящего и прошлого, но обратился прежде всего к матери.

— Как хороши, как свежи были розы, — сказал я.

Тут зал озарился нестерпимо ярким светом — это уже были не вспышки, а постоянное ровное свечение. Я посмотрел на телекамеры. Они были направлены на меня.

Посмотрел в зеркало, которое все еще держал мальчик. Он держал его у бедра, и я точно не знал, какое из моих лиц в нем отражается.

Я выбрал одну из камер и уставился прямо в нее. И сказал:

— О боги! Я в телебизоре.

hypotheses non fingo[97] **c**

[97] Примечания: 97
Я не измышляю гипотез *(лат.)* — изречение Исаака Ньютона.